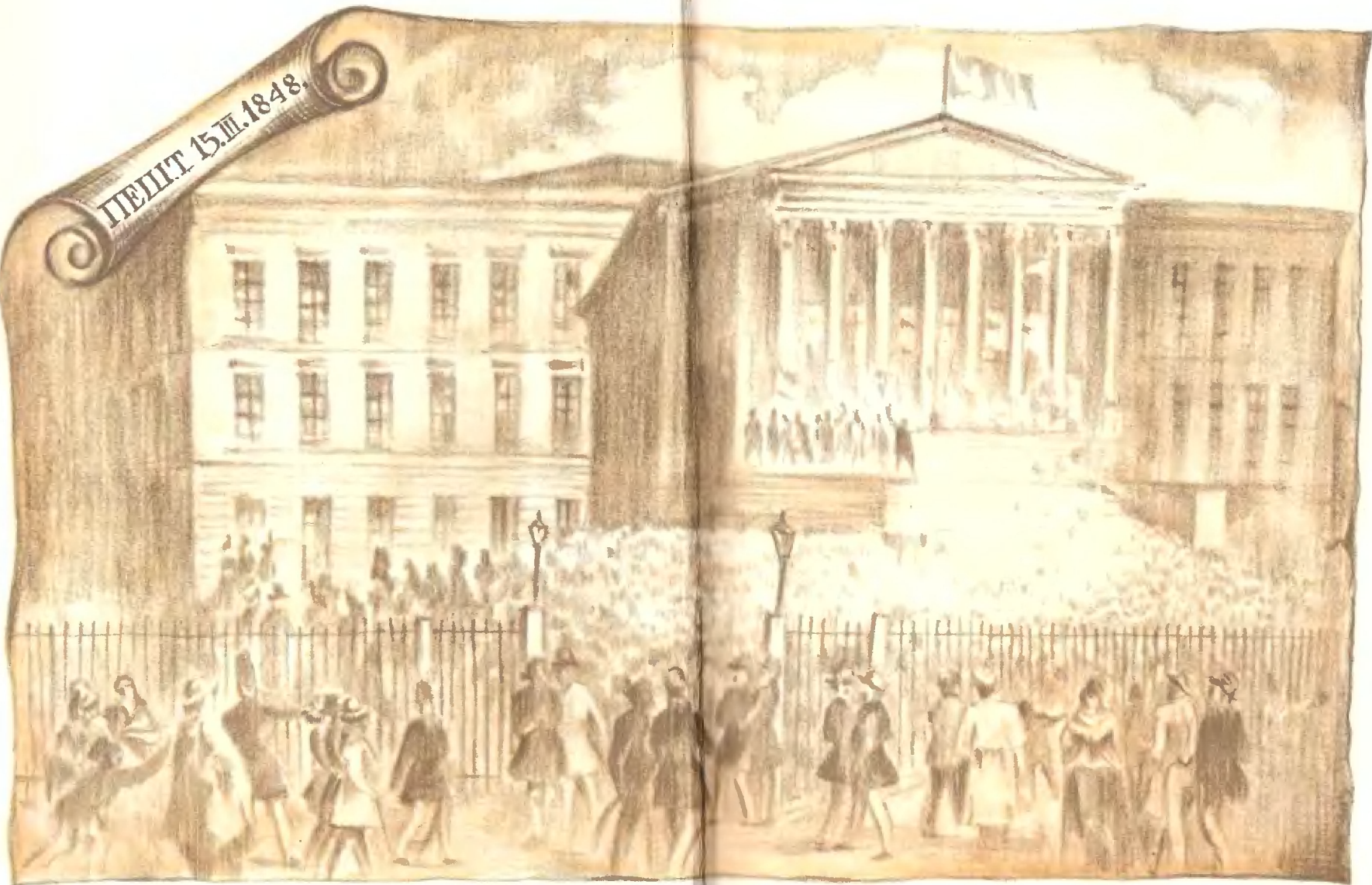


Витязь части  
РДХ ЕРЕМЕЙ ПАРНОВ





ПЕШТ 15. III. 1848.



**Москва**  
**ИЗДАТЕЛЬСТВО**  
**ПОЛИТИЧЕСКОЙ**  
**ЛИТЕРАТУРЫ**  
**1982**



# Petőfi Sándor

Fenyeged a  
Jabban éke  
És mit még  
Ide veted, r  
A magyar  
Esküztél  
Esküztél  
Nem lesz

A mi  
Melli  
Mit r  
Linn  
A mai  
Esküztél  
Esküztél  
Nem lesz

Hol vagunk  
Ehhez a  
Ez a mi  
Mondják a  
A magyarok is  
Esküztél  
Esküztél  
Nem leszünk

Az 1848-  
Esküztél  
Esküztél





РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ •



• СЕРИЯ • ПЛАМЕННЫЕ

*Еремей Парнов*

# ВИТЯЗЬ ЧЕСТИ

ПОВЕСТЬ  
О ШАНДОРЕ ПЕТЕФИ



Проза и публицистика Еремея Парнова хорошо известны читателям. Его научно-фантастические и приключенческие книги, очерки о странах Востока и повести на историко-революционные темы получили широкий отклик. Произведения Е. Парнова изданы во многих странах Европы, Азии, Северной и Южной Америки.

В серии «Пламенные революционеры» двумя изданиями вышла повесть Е. Парнова «Секретный узник» (об Эрнсте Тельмане) и повесть «Посевы бури» (о Яне Райнисе).

Роман «Витязь чести» рассказывает о короткой и яркой жизни великого венгерского поэта Шандора Петефи, целиком отдавшего себя революции. Действие протекает на широком историческом фоне жизни Европы тех лет.



Я посетил внешне ничем не приметный дом, послуживший поэту последним пристанищем, и списал стихи, высеченные на мемориальном камне:

Здесь он был еще человеком,  
Отсюда вышел он в свой великий путь  
И превратился в звезду.  
Свет ее вечен.

Следя за тем, как все выше к зениту, словно неугомонная планета, блуждающая среди неподвижных светил, восходит не известная астрономам слепящая точка, я увидел лицо человека, который рванулся навстречу смерти, не зная, что обратится в звезду.

## **1**

Взметнулся занавес. Рассеялась завеса облаков, запеленавших убеленную снегом Европу.

Только раз в году навещают мертвые своих близких, живущих еще на бренной земле. Зловещей приметой омрачились последние праздники осени: день всех святых и следующий за ним день усопших. По рыжему гало — ореолу вокруг ледяной Луны дебреценские старики



предсказывали долгую, лютую зиму и моровое поветрие весной. О том же судачили и крестьяне из задунайских деревень, где острым клином выпал смешанный со снегом кровавый дождь. Заветрилось и осталось нетронутым угощение, выставленное в домах на потребу душ, покидающих в праздничную ночь кладбищенские селенья, мутной пленкой подернулось налитое в семейные кубки непригубленное вино. И лишь угли поминальных костров обволокла поутру непонятная голубоватая плесень.

Морозы ударили в конце декабря. За две недели в городе сожгли топливо, заготовленное чуть ли не на всю зиму. Цены на дрова и уголь сразу подскочили, а там и свинина подорожала, и зерно, потому как сидели окрестные богатеи у своих очагов, выжидали. Голодная затяжная весна сулила барыш, да и резону не было ломать колеса в заледенелых колдобинах.

Голод на просторах Венгерского Альфёльда — страшный голод. Мадьяр не приучен заготавливать плоды, корнеплоды и прочую снедь. Если ни мяса, ни хлеба нет, то даже в летнюю, изобильную на рыбу и всякую зелень пору терпит он жестокие муки, едва ноги волочит.

Три дня пробавлялся Альберт Пак, полунищий питомец муз, мучной болтанкой, едва сдобренной прогорклым смальцем. Закутавшись в лохмотья, не покидал убогого ложа, лелея призрачное тепло. Оконце, открывавшее прелестный вид на почерневшую от непогоды городскую виселицу, обросло ледяным узором, и в хибарке даже днем плавал седой водянистый сумрак. В пыльных струях кратковременного солнца беспощадно высвечивались язвы стен и убогий скарб. Чаше Пак вовсе не замечал этого жалкого самообнажения, но временами его охватывало такое отчаяние, что не хотелось жить. Лишь вечером, когда, дотянув до крайних пределов зрения, он все-таки запаливал сальный огарок, возникала иллюзия уюта. Оживал ненадолго сырый сверчок, но быстро истратив



Короткий запас сил, забивался в щель, где коченел до следующего вечера.

Когда в дверь постучали, Пак даже ухом не повел. Он никого не ждал, и сама мысль о том, что придется вылезти из-под одеяла, была омерзительна. Но стук повторился, требовательный и нервный. Не раскрывая глаз, хозяин выпростал ногу, затем другую и, все еще находясь под гнетом сомнамбулических грез, ступил в продуваемую всеми ветрами прихожую. Нашарив щеколду, толкнул скрипучую дверь. В черном проеме, где беспощадно и тускло светили зимние звезды и, шурша соломой, завивалась поземка, возникла странная, пугающая фигура. Скуластое осунувшееся лицо гостя подергивалось то ли в судороге, то ли в ухмылке, обнажавшей крупные, торчащие вперед зубы. В белых, наполненных ветром летних штанах, похожих более на исподнее, пришелец казался выходцем с того света. Но откуда бы ни сбежал он — с виселицы, что смутно темнела справа под луной, из тюрьмы или с больничной койки, — его бил озноб, сотрясал задушливый кашель.

— Шандор? — Пак не сразу узнал бездомного поэта, актера и вечного странника, подгоняемого исступленным цыганским бредом, очарованного пыльным маревом пусты. — Что с тобой?

— Я пришел к тебе умереть, — пробормотал Петефи, колени его подогнулись, и он медленно сполз на обледевший порог. Его голова откинулась назад, и длинная худая шея обнажила в лунном сиянии темную впадину и острый кадык. — Будет хоть кому схоронить, — хрипло выдохнул в приступе кашля.

Пак, сам ослабевший и прохваченный стужей, осторожно поднял его и повлек в комнату.

Оставив снежный, долго не тающий след, Петефи опрокинулся на ложе. В последнее мгновение разжались его заочевшие пальцы, выронив узелок, где лежали куку-



рузный хлеб и свернутая в трубку самодельная тетрадь. С каменным стуком упала сухая лепешка на струганный пол.

— Значит, схоронишь меня, друг? — пробормотал он, впадая в забытие.

— Схороню, — пообещал Пак, укутывая больного последним тряпьем. Окинув рассеянным взглядом свою спартанскую обитель: табурет с тазом для умывания, сундучок, полку с книгами, конторку и венский стул, он зачем-то заглянул в ржавый зев печурки. Чихнув от взметнувшейся зольной пудры, захлопнул чугунную дверцу и вновь произвел переоценку ценностей. По всему выходило, что стулом можно было почти безболезненно пожертвовать. И вскоре веселое пламя загудело в давно остывшей топке, роняя на решетку невесомые угольки.

В багровом свете, полыхавшем сквозь щели, Пак раскрыл тетрадь из сложенных вчетверо листов грубой зеленоватой бумаги, сшитую суровой ниткой. Стихи были перебелены без единой пометки, на полях красовались виньетки, затейливый росчерк увенчивал романтический псевдоним: «Пал Киш Пёнёгеи».

Раскрыв наугад, Альберт наткнулся на строчки, отуманенные щемящей тоской: «Я не дерево, расцветшее весной, я лишь ветка, что сломилась под грозой...»

Пак вполголоса задумчиво повторил стихи, и больной вдруг ответил ему нечленораздельным бредом. То ли высветилось в горячем омуте окошко воспоминаний, то ли кошмар, сдавив грудь, рвался излиться в жарком косноязычном бормотании, когда стон и восклицания радости сплетаются воедино, чтобы тут же потонуть в кашле, обогренном пеной примороженных легких. Тропы больного сна подчас мучительней пройденных дорог жизни. Петёфи страдал, и черты его искажала гримаса, но лишь облегчалась боль и счастьем озарялось пылающее лицо. И словно в расплату за столь изнурительную мгновенную



перемену, мехами ходила грудь, сжимались острые кулачки, а обнаженные зубы выстукивали ознобо.

Каким жестоким шаржем оборачивается для романтической натуры достигнутое вожделение. Вот он, актер, рожденный зажигать сердца, трясется на козлах, и январская выюга снегом заледяет лицо. Он вполне достиг того, о чем грезилось в душных гимназических дортуарах. Но разве он счастлив? Не более чем всегда. Едкое, как кислота, ощущение ошибки, и вновь беспокойная жажда иных дорог, и опережающее трезвый рассудок нетерпение, и степная дымка у горизонта, пронизанная дрожащим радужным лучом. Где наваждение, где скалы, о которые вновь разбилась мечта? Неужели банальнейшая из историй, которую так легко пересказать, хоть что-нибудь объясняет? Нет, она ничего не объясняет, наивная сага венгерской пушты, нескончаемая, как глупость людская, и жалкая, как нищета.

Как только сборы упали, актеры перессорились и труппа распалась. Примадонна, вокруг которой постоянно кипели страсти, укатила, обложенная подушками, чтобы, не дай бог, не просквозило, в Кечкемет. За ней последовала карета, где ехал директор с семьей, а следом, подумав о своей неприкаянной доле, двинулись на восьми упряжках оставшиеся после раскола актеры. На горе ящиков и сундуков, запорошенные снегом, они рассаживали локти об острые углы, подскакивая на ухабах, грелись горячим вином со жгучей паприкой. Мыкали горе, мечтая лишь о краюхе хлеба и душистом сеновале, согретом мирным дыханием скота. Ах, больно, нудно и холодно на кожаных козлах, рядом с возницей, пахнущим дегтем и палинкой<sup>1</sup>; задувает под короткую пелеринку, и тающий на волосах снег противной струйкой стекает за шиворот. Но что останется от этого, что останется? Реплика в три слова и ос-

---

<sup>1</sup> Венгерская водка.

вещенная керосином жалкая рампа? Запахи пудры, пота и скверных духов? Больше ничего, если не считать синего фрака с золотыми пуговицами. Он настолько хорош, что не достало сил переодеться в дорожное платье. Так и валит липучий снег на пелеринку и модный фрак.

Нет, не это запомнится, потому что не об этом мечта-лось. Честолюбивая жажда снедала, и верилось, будто она — волшебный огонь. Цель пред очарованным взором маячила, знакомое каждому актеру наваждение, более напускное, чем истинное. Гамлет в черном бархате и с цепью на груди рисовался, монолог его знаменитый уста жег. По сравнению с этим все сном казалось, скучными подробностями пути, который и сам-то едва заслуживает внимания. А между тем это жизнь проходила во сне, драгоценное время жизни бесцельно перетекало в пустоту. Вот и помнится только, что зачем-то хотелось в Гамлете себя попробовать, а еще более — сыграть под гром оваций Кориолана. В ничтожном городишке, при свете керосино-вого фонаря рисовались мировые подмости и Гамлет, и Кориолан... И за все за это, за крушение и вечный само-обман, — тридцать форинтов «в пропорции». В день по-лучки простак узнал, что «пропорция» — это когда есть сборы, когда же их нет — холодная мамалыга и роднико-вая вода...

Ах, нет, все это ложь, все совершенно не так. Ведь были взлеты, было счастье, когда захватывало дух и весь мир переставал существовать! Разве он позабудет когда-нибудь свой бенефис и ту роль, роль шута в «Короле Лире»? Сам Жигмонд Дежи прослезился. Едва задернули занавес, раскрыл объятия и при всех, как был, в одеянии Лира, расцеловал в обе щеки. Пусть бенефис принес лишь десять форинтов и не хватало покрыть долги, по этого не вычеркнешь из жизни. Иллюзия, самообольще-ние — неважно. Ради мига, волшебного мига, когда пове-яло близостью божества, стоило претерпеть все преврат-



ности жалкой, но трижды благословенной актерской судьбы. И неправда, что жизнь утекала меж пальцев. Он ведь жил — полнокровно, кипуче. Едва мелькнула тень влюбленности, и, бросив все, он кинулся за Мими де Ко в Пешт, где вновь предстояло начать жизнь с начала. И кто знает, чем бы закончился этот порыв, если бы не болезнь, свалившаяся на полпути к столице. Он проиграл Мими, пока блуждал по Альфёльду, не имея, чем заплатить за почтовую карету, пока отлеживался в убогой корчме. Но ведь он же горел тогда, страдая, волнуясь, отчетливо ощущая близость вечного озарения и мертвый холод небытия. Жизнь бродяги, глупца и авантюриста? Может быть, но он гордился своей судьбой актера и поэта. Не жалкая банкнота, стыдливо упрятанная в конверте, хоть она и спасла от голодной смерти, грела душу, но сознание, что сам Вёрёшмарти напечатал его стихи. Оно кружило голову радостным хмелем. Это были не деньги, на которые можно поест и снять комнату для ночлега, но гонорар — знак причастия. Дар лучезарного Аноллона и лакейская подачка — гонорар.

Беззаботно и легко переживая житейские тяготы, ибо ни в одной из трупп для него не нашлось места, он ночевал на скамейках городского парка, а в непогоду пробирался в конюшни погреться возле лошадей. Если и сжигал он когда-нибудь время бесцельно, то лишь там, у подножья холма, на котором желтели круглые башни града, в тени каштанов набережной, где под переплеск глинистой дунайской волны пухленькие шлюшки подстерегали господ депутатов. Сословное собрание тем не менее подарило ему кусок хлеба. Став переписчиком «Ведомостей Государственного собрания», он познакомился с шедеврами ораторского искусства и преисполнился неистребимым презрением к политической деятельности. Речи, которые пришлось переписывать, не произвели на него никакого впечатления. Запомнился разве что смелый пас-

саж Эмиля Деже, предложившего отменить крепостное право, но не теперь, а лет эдак через семьдесят, не раньше.

Зато в Пеште мелькнула улыбка удачи. Впервые с ранней юности, когда покинул отчий дом, чтобы стать бродячим актером, солдатом, поэтом и люмпеном, он изведal счастливую полосу сытости и довольства. Случайно подвернувшийся перевод романа Бернара «Сорокалетняя женщина» принес неожиданно высокий гонорар в пятьсот валто-форинтов<sup>1</sup>. На эту сумму, хоть она и составляла всего лишь двести старых и полновесных пенгё, можно было протянуть чуть ли не год. Он мог позволить себе снять приличную комнату с роскошным видом на медно-зеленый купол Музея. Теперь у него была своя деревянная кровать, и к рабочему столу было придвинуто мягкое кресло. Он ежедневно обедал, хоть и за тридцать крейцеров, и даже проводил вечера в кафе. По обычаю артистической богемы, писал стихи на обороте меню и беззаботно болтал с друзьями, смотревшими на него как на метра. С утра усаживаясь за круглый мраморный столик и рассеянно помешивая ложечкой кофе, следил за тем, как прихотливо взвивается табачный дым, туманя звездчатые своды, прислушивался к звону посуды и сухому шелканью бильiardных шаров. Во всем этом слышался свой, неповторимый размер. Не отвлекала голодная пустота, сосущая под ложечкой; теплые волны приятно оведали открытую шею, ибо он после солдатчины навсегда возненавидел застегнутый воротник. Сами собой, казалось, рождались строки: «Душа моя видит в грядущем долину волшебных надежд».

Не смущал даже быстро тающий капиталец. Когда же денег почти не осталось, беззаботно переселился в Гёдёл-

---

<sup>1</sup> На территории Венгерского королевства имели хождение форинты (старые — пенгё, новые — валто), австрийские гульденy и разменная монета: крейцеры, геллеры, филлеры.



лѣ и за три недели сработал перевод толстенного романа в девятьсот с чем-то страниц. За рекордную быстроту получил к условленному гонорару сто флоринтов надбавки. Все улыбалось, и все двери раскрывались, как по мановению волшебной палочки. Оставалось одно: закреплять и наращивать успех.

Но все чаще и чаще вспоминались завораживающие миражи пушты. Горький запах полыни и сладкий дымок придорожных костров кружили голову дурманом воспоминаний. Заглянув в пассаж, чтобы купить несколько смен белья, платки и перчатки, он не удержался и приобрел накладную бороду, парик, два трико и набор грима. Духи дорог уже трубили для него в почтовые рожки, и он выбрал себе крепкий сундучок. Вообразив, что влюблен в Анико Хиватал, которая так хороша была в роли Офелии, решил, что пробил час новых скитаний. Анико была замужем за маститым актером Лендваи, и хотелось поскорее вырвать из сердца трогательный образ очарованной девы с букетиком, забыть навсегда. Вытесняя мечту другой мечтой, он устремился на поиски трупы, чей путь пролегал через далекую Трансильванию. Добравшись до Дебрецена, где его взял на небольшие роли добряк Комлоши, он на какое-то время примолк и, взбодренный пережитым чувством, засел за стихи о любви. Учил роли, старательно играл их и придумывал строки, перекликающиеся друг с другом прихотливой игрой созвучий.

Но стоило приехать в город первому же передвижному театру, как всколыхнулся дурманящий запах ковыльной степи. Опять показалось, что цветные миражи танцуют и переливаются где-то над скрещеньем проселков и руки распятого Христа готовы сомкнуть объятья...

Сквозь бред, сквозь поволоку смерти поэт ощущает биенье своих стихов. Пусть пульс трепещет прерывисто и учащенно, чередование стоп не подвластно метаниям

страдающей плоти. Это высшая сила, которой подчиняется память и даже само всевластное время. Что он помнит, что видит в бреду? Нет слитности в озаряющих мозг пятнах света, и правильного чередования нет, ибо смешалось прошлое с настоящим, была с небылью. Но есть память созданного, единственно верная память. Нить Ариадны, которая не даст запутаться в лабиринте. В Пожони<sup>1</sup> ли, в Дебрецене ли сочинены эти строки, в Диосеге или же Секейхиде, куда его бросала слепая артистическая судьба, он, может, и не запомнит. Может, даже спутает: где, когда, что. В одном лишь не будет обмана. Всегда за строчкою оживет чувство, продиктовавшее однажды образ и ритм. Магия метра — вот она, безошибочная хронология художника, его надмирная реальность.

Пак у печурки, размачивая хлеб, нашептывает поправившиеся строки, а поэт отзывается из тьмы, содрогаюсь от невидимого гальванизма незащищенными нервами.

Мама, милая, добрая мама, безответная мама моя! Жива ли ты? Если жива, не печалься о сыне, не надрывай тоскующее сердце. Не думай дено и ночно о беспутном бродяге, о больном и голодном мытаре, кого гонят по пуште ветра, словно перекасти-поле. «Ей скажите: пусть она не плачет, сыну, мол, сопутствует удача».

Распродавая за бесценок пештские обновы, вкупе с накладной бородой и трико, он где-то отбилсь от трупы и смертельно больной брел от корчмы к корчме. Ночуя на соломе, отлеживаясь в дровяных сараях, вспоминал далекий Эрдей. Добрел ли он туда? Попадет ли хоть когда-нибудь? Бог весть. Как в Дебрецен возвратился, каким чудом, и того не помнит.

---

<sup>1</sup> Братислава. В описываемое время официальная столица Венгрии (Пресбург — нем.). В Буда, где пребывал наместник, находился Наместнический совет. Пешт, являвшийся культурным центром страны, считался неофициальной столицей. Здесь и далее города Габсбургской империи называются по-венгерски.



Стучась отчаянно к Паку, на крайней грани рассудка пребывавал, на последнем дыхании и колотил в дверь, содрогаюсь от кашля, кровавыми звездочками пятная убежденное крыльцо.

— Схорони меня, друг,— просит опаленными, потрепавшимися от сухого жара губами и мечется на постели.

Совсем еще мальчик, думает Пак, грея нечувствительные к жару руки о закопченную стенку печи. Он написал гениальные стихи, и вот он умирает, и ничего не изменится от этого ни в мире людей, ни в плавном ходе светил. Не сорвутся с небес звезды, не завянут цветущие яблони, и даже снег, этот летящий с ослепших высот убийца, не перестанет падать на оцепеневшую, проклятую господом землю. Какая насмешка — дать человеку жизнь и отнять ее. Какая пытка — вложить ему в грудь страдающее сердце поэта.

Зазвонили в бенедиктинском монастыре, отозвался простуженный колокол в соборе богородицы, где в освещенном приделе Христос — младенец, одетый королевичем, улыбался светло и кротко меж скорбящей Марией и святым Иосифом, отгудела печально колоколья реформаторской церкви. Над шшилями, над крышами Дебрецена, над всей Большой низменностью на запад и на восток примиряюще грустно разливалось поминальное эхо.

А за дальними далями, в Приполярном Урале, безмятежно искрилась морозная синь. Под убывающей луной, в лихорадочных вспышках колдовского сияния мерцали застывшие волны сугробов, сровняв речные берега, запеленав медвежьи берлоги.

Хрусталем отливали оленьи рога в почву, стальным воронением лоснился след упряжки, седой пар таял в воздухе за примерещившейся совой.

Утонула в глубоких снегах Северная Сосьва, где-то там, за березовскими острогами, смыкавшаяся с великой Обью — с вещей девой, оборотившейся рекой, с женой и матерью змея, чей крик ужасен, и путь сокрыт.

В деревянной юрте с чувалом, срубленной из нестареющей лиственницы, боролся с недугом очарованный мечтой странник. Как и поэту, умирающему на нищенском ложе в бесконечно далеком отсель Дебрецене, ему тоже ниспослано высшее испытание духа — единоборство со смертью. Обессилен от разрывавшего грудь кашля, прислушивался он к завыванию волков и думал, без особой горечи, что вогулы<sup>1</sup> не станут долбить для него мерзлоту. Быть может, схоронят в тайге, близ священных камней, у той самой пещеры, где приносятся жертвы хранителю рода — Великому Волку, а то в прорубь опустят кормить проходную навагу или просто оставят в сугробе до новой весны.

Страдая от запаха нутряного медвежьего сала, которым старая шаманка натерла его слабогрудое тело, от кислого духа заквашенной на мухоморах морошки, он жалобно постанывал, когда прояснялось сознание. Разметавшись на мягких мехах, лихорадочно щупал сумку у изголовья, где хранил ландкарты и драгоценные тетради с вогульскими словами, легендами, заговорами.

Захлебываясь и проливая питье, больной вертелся, отталкивал берестяной ковшик, но непонятная сила приподнимала его, принуждая сглатывать прохладную, мылкую горечь. Варевое из ивовой коры и ягеля неощутимо разливалось по жилам, прошибал липкий пот, нисходило забытье, застилавшее сумраком память. Он даже имя свое забывал.

А звали странника Анталом Регули, и был он уроженцем дунайского города Пешт. Уверовав с детства в ро-

---

<sup>1</sup> Прежнее название народности манси.



мантическую легенду о праотцах из глухой, заповедной Азии, он поклялся себе, что пройдет по следам их далеких походов. Не в пример иным героическим сказаниям легенда выглядела довольно правдоподобно, и Регули отправился на Восток, искать ветра в поле.

## 2

И снова больная весна поманила поэта в дорогу.

Первозданной мощью волховали мокрые липы, роняя тяжелые яркие капли, и туман шатался над раскисшей дорогой, и, внемля безмолвному повелению вселенского круговорота, рвали цепкие корни оттаявший перегной.

Точно в день святых Фабиана и Себастьяна тронулся сок в деревьях по своим сокровенным путям. И словно лиловое марево отуманило голые рощи. Беспокойный, сладостный дух воспарил над лужами, над бездорожьем, всевластная женская сила земли напружила буйные почки.

Пришли сроки гадать об осеннем урожае. Ведь испокон веков известно, что будут забиты бочками винные погреба, коли случится оттепель в день святого Винце, а если туманным окажется Петрово утро, то не жди хорошего урожая с пшеничного поля.

Легко живется тому, кому не дал бог ни виноградника, ни щедрой нивы. Нет для него тревожной тайны в волнах тумана над тополями, в тяжелом блеске закапанных веток, в разноголосице птиц, обживающих дупла. Голос природы для него беззаботен и чист, исполнен бескорыстного смысла. «Степная даль в пшенице золотой, где марево колдует в летний зной».

Смешав времена, отринув связность причин и следствий, месил упрямый поэт тягучую глину дорог. И промозглый туман, принимаемый за знойное марево, грел из-

зябшую душу. Опять он выкарабкался, не помер, перехитрил безносого спутника в дырявой охотничьей шляпе с немецким пером. Серебряный двадцатикрейцеровик, холщовая сума и рваный контуш<sup>1</sup> — это все, что он нажил в странствиях по родимой земле. Да еще пастушеский посох с оловянным набалдашником, да заветную тетрадку, свернувшуюся трубой.

Обделила его судьба хлебной нивой, а ту, что взрыхлил когда-то отец, давно забрали чужие люди. Но едва очнувшись от смертного забытья, приковылял Петефи к запотевшему окошку взглянуть на белый свет: нет ли тумана в Петров день? Ясным выдалось утро, обещающая золотые снопы и полные амбары. Но не к радости эта примета, к беде. Опять упадут цены на хлеб и потянутся через степь повозки с бедняцким скарбом, с голодной ребятней. Пустеет отчизна, обетованная родина, куда Арпад привел очарованный дальним сиянием народ, изгоняет она своих внуков. Год за годом снижались цены на зерно, а на шерсть росли. Овцы пожирали Венгрию. Пушта съедала изобильные почвы, и пастбища расширялись за счет нив. Лишь немногие пастухи, которые могли прокормить семью, оставались на одичавших просторах, где кружили над диким лугом потерянные журавли.

— Хлеба! — вышел из-за деревьев угрюмый лохматый парень, преградив внезапно Петефи дорогу.

— Просишь или хочешь отнять? — гордо спросил поэт, сжимая неразлучный кизилковый посох.

— Я не нищий...

— Так, значит, бетяр? Но тогда тебе придется дожидаться графской кареты.

— Пожалуй, что так... — Парень потупился и неохотно отступил к озябшим вербам.

---

<sup>1</sup> Верхнее платье.

— Возьми,— поэт достал завернутые в тряпицу кукурузные лепешки.

— Да благословит тебя бог!.. Я ведь поджег амбар графа Коллоредо, и меня, верно, ищут жандармы.

— Лучше б ты сжег сразу замок, несчастный батрак!.. Как тебя звать?

— Лаци Хорват.

— Побереги свою голову до лучших времен...

Никто не знает, когда в мир приходит поэт. Неизвестен и миг, когда раскрывается пред ним роковое предназначение. Одни прочтут повеление в вешем дыме дельфийской сивиллы или в лепете священных миртов; любовное томление или гниlostный ветер преисподней, куда спустился Орфей за своей Эвридикой, погонят к священной жертве других.

Но есть и еще одно благословенное проклятье. Тяжкое наследие, которое, за неимением точных слов, называют в просторечии совестью. Отмеченных ее жгучим клеймом не нужно искать с фонарем Диогена. Это их, как пушечное мясо, загоняет эпоха в кровавое месиво, где в муках терзаемой плоти, в зловонии разложения вызревают хилые побеги грядущего. Ощутить терзания нации, подставить плечо под непосильное бремя века — кому такое дано? Разве что самонадеянному безумцу, который опомнится лишь на Голгофе.

Но с каждым поколением повторяется вызов, и набатно гудит в чьих-то сердцах среди безмятежного, тихого дня. Многие слышат, да не многие откликаются. И это страшно, ибо на бесплодие обречено поле в чересполосице времен, если не родит оно смельчака, способного отозваться. И взять все на себя и собою измерить мирскую радость и скорбь. Тяжкое безвременье станет приговором такой эпохе.

Череп в шляпе с пером еще не раз склонялся над изголовьем поэта. Но не делал рокового движения и в по-



следний момент отступал во тьму, словно знал, что в горниле страдания закаляется гений. Смерть беспощадна, но не злонамеренна. Позвав за собой, порой задолго до урочного часа, она, случается, дарует истинное бессмертье. В его магнетическом свете нет проблеска для ушедшего в небытие, но многим и многим оно останется путеводной звездой.

Змеи и те болеют, меняя кожу. Приобщение юноши к суровому миру мужчин издавна было сопряжено с жестоким испытанием, подобным преодолению смерти.

Петефи выжил, быть может, лишь потому, что изведал уже однажды оцепенение и холод приближающегося конца. Судьба безжалостна к своим любимцам. Проложенный в межзвездных пространствах путь не позволяет плыть по течению.

Нет числа живущим на хлебах у богатых родственников горемыкам. Из них зачастую вырастают прекрасные люди и граждане, но поэты — никогда. Для поэта любая мелочь грозит обернуться крушением. Даже детская влюбленность то возносит его в эмпирей, то бросает к вратам преисподней. Все вехи становятся роковыми на его одинокой стезе.

Шандор мог бы сносно, сытно, во всяком случае, жить под крылышком дяди Петера, ходить вместе с кузенами в шопронскую гимназию. По крайней мере, ничто не мешало вернуться ему под родительский кров и разделить тяготы разоренной семьи. Плохо ли, хорошо ли, а сухарь в родном гнезде слаще, чем пироги на чужбине. Но поэту дано было слышать набат, и он следовал, пока безотчетно, высокому зову. Едва он прочел подброшенное скупыми родичами письмо, изгонявшее его из их филистерского рая, как поспешил навсегда захлопнуть за собою дверь. Пережитое унижение было страшнее неизвестности. Остановиться, оглядеться он был уже не властен. Возмущенная гордость и романтический вечный самооб-

ман толкали к молниеносному разрешению жизненных неурядиц. Не прошло и дня, как записался в сорок восьмой полк Голлнера. Полковой лекарь, ощупавший его хилое тело, лишь плечами пожал. Впервые он видел безумца, пожелавшего добровольно встать под австрийское знамя. Конечно, способный юноша с шестью классами гимназии мог далеко пойти: сдать экзамены, выбиться в офицеры, получить приличное жалованье, увидеть мир. Но протоптанные дорожки заказаны для поэтов.

Надев мундир — зеленые отвороты, латунные пуговицы, сапоги-лодки и байонет на ремне, — Петефи прямоком шагнул в ад. Все, с чем рано или поздно предстоит примириться любому солдату, день за днем убивало его. Тупица капрал, нелепый цыганенок, оказавшийся соседом на нарах, грубость товарищей и даже кандалы, которыми хотели смирить его гордый и вспыльчивый нрав, — все это, в общем, было не столь уж невыносимо. Мог бы и вытерпеть, пообтесаться, привыкнуть. Кто угодно другой, но не он. Для него спасеньем могло явиться только безумие, надлом, душевный распад.

И благосклонная судьба, оберегая душу, обрушилась на тело.

Тиф и лазаретная койка прервали неизбывный кошмар. А там и поход в Хорватию подоспел. Шатаясь от слабости, харкая кровью, двинулся он в походной колонне по весенней распутице. Сердобольные лекари, диагностировав склонность к чахотке и расширение сердца, вновь уложили в госпиталь. Свое восемнадцатилетие поэт встретил на краю могилы. Подписывая заключение: «Полная инвалидность поистине недалеко», полковой врач явно проявил оптимизм. Впрочем, все равно, спасибо ему, ибо не прошло и полутора месяцев, как незадачливый воин отправился в Шопрон. На сей раз не строевым шагом, хоть и пешком, и не в составе роты. Отпускное свидетельство с достойной кладбища эпитафией: «Treu und

redlich gedient»<sup>1</sup> — было наградой за временное помрачение ума.

Безносый в охотничьей шляпе дал ему время оценить подмостки жизни, отсекаемые черно-желтым занавесом императорско-королевских стягов, а затем в небесночном терпении своем вновь развернул перспективу, осененную нищенским одеялом в лачуге Пака.

Выйдя оттуда на свет, как всегда по весне, поэт обрел главное — цель. Теперь он твердо знал, чего хочет. Во всяком случае, впервые в жизни ему было не все равно, куда идти. На сей раз его путь из Дебрецена в Пешт был исполнен глубокого смысла.

Кажется, совсем недавно, примкнув к очередной труппе в Секешфехерваре, он сказал себе: «Решено, я не буду заурядным человеком: «aut Caesar, aut nihil»<sup>2</sup>. Пустая юношеская бравада, нестерпимая потребность самоутверждения. У него было тогда всего две реплики в трехактной пьеске Баяра «Парижский бездельник»: «Но я же сказал ему, что входить нельзя» — одна и «Ха-ха-ха!» — вторая. И все-таки он гордился своей судьбой артиста и поэта. Вернее, принуждал себя испытывать гордость. Что изменилось в нем за этот короткий срок, отмеченный, однако, вторым переходом через смертный рубеж? И многое и ничего, как тому следует быть в обряде инициаций, превращающем мальчика в мужа.

Еще не задумываясь над тем, какими будут новые, выстраданные в горячке стихи, он уже ощущал их взрывчатую силу, упругость и полновесность каждой строфы. Не сомневался, что именно так и выльется, как задумано. А зеленую тетрадку он передаст Вёрёшмарти. Видно, суждено смыкать разбегающуюся спираль вокруг стареющего поэта. Ничего не поделаешь: подмастерье обязан

---

<sup>1</sup> Служил верой и правдой (нем.).

<sup>2</sup> Или Цезарь, или никто (лат.).



найти подходящего мастера. А лучшего, чем Вёрёшмарти, в Венгрии не сыскать. Он по праву наследует Гвадани и Чоконани, боготворимым, неподражаемым.

В сущности, ради Михая Вёрёшмарти упрямый школяр Петефи так рвался в Национальный театр, чем приводил в бешенство отца и гораздых на розги наставников. Не столько чаевые, перепадавшие юному конюху, причисленному, однако, к статистам, сколько близость к недосягаемому кумиру была наградой. Шандор послал Вёрёшмарти по почте и первые свои сочинения. Отец новой венгерской поэзии, чутко следивший за настроением публики, выбрал для своего «Атенеума» «Пьющего». И напечатал в ближайшем номере. «Если есть вино в стакане, значит, легким станет груз».

Не бог весть что, но читатели заметили. Поэту положено было воспевать радости Бахуса, тем более венгерскому поэту. Вёрёшмарти рассчитал верно. И все-таки, явившись к метру с рождественским визитом и новой тетрадью, Петефи, из самолюбия, назвал себя чужим именем. Только после того как добрый и снисходительный Вёрёшмарти одобрил работу, признался, что он и есть тот самый бродячий актер, автор «Пьющего».

— Ночью в артистической уборной написал? — хитро прищурился Вёрёшмарти. — Из пальца высосал?

— Утром в придорожном кабаке, — дерзко соврал начинающий. — С похмелья.

— Что ж, знание материала в стихах присутствует, — пожав плечами, заключил мастер...

И вот опять залитый солнцем Пешт. Лиловая акация буйно цветет на острове Маргит. Упрямый плющ оплетает черепичные скаты. Бусины сушеной паприки рдеют на выбеленной стене.

Пересилив биение сердца, постучался Петефи в заветную дверь с львиной позеленевшей мордой, грызущей кольцо.

— Сервус! — как равного, приветствовал маститый поэт молодого собрата. — Где же тебя носило, сынок? — Не выпуская фарфорового чубука с тонким мундштуком из вишневого корня, он радушным жестом пригласил в кабинет. Сам прошел вперед, развевая полы халата. У дверей остановился, учтиво наклонил голову, приглашая, словно владетельный князь, хоть сдвинутая на бровь феска с кистью придавала ему чудаковатый и несколько затрапезный вид.

Но для Петефи и это было верхом роскоши. Скользя взглядом по золоченым корешкам книг и чеканному оружию, развешанному на ковре, он угрюмо потупился, уставясь на свои разбитые башмаки. Он давно не стыдился бедности, но все еще разделял распространенный предубеждение, что поэт обязан соблюдать элегантную эксцентричность в одежде. На элегантность средств не хватало, зато в потрепанных летних брюках и доломане с чужого плеча все же присутствовал налет эксцентризма.

— Бедствуешь? — Вёрёшмартти смотрел в корень. — Это в порядке вещей. Поэт должен бедствовать.

— Зачем? — горько усмехнулся Петефи. — Чтобы завоевать сомнительное право писать?

— Ну, если ты понял это самостоятельно, то считай, что кое-чему тебя жизнь научила. — Прищурясь, Вёрёшмартти зорко взглянул на юношу, топтавшегося у порога. — Да ты проходи, садись, — пригласил, устраиваясь на покрытой коврами софе, и вновь окинул гостя колючим взглядом.

Природная смуглота скрывала нездоровую синеву под глазами, но от Вёрёшмартти не укрылся ни их сухой, лихорадочный блеск, ни напряженная складка в уголке губ, трогательно затененная пробивающимися усиками. Ему стало вдруг по-настоящему жаль талантливого юношу, выпущенного растрачивать лучшие силы души в свирепой сутолоке мирской.

Если его новые стихи окажутся не хуже прежних, решил он, нужно будет помочь бедному малому. Пусть хоть первые шаги на тернистом пути изящной словесности для него облегчатся. Кажется, он это выстрадал и заслужил.

— Показывай! — требовательно выпростал из-под атласного манжета мясистую, широко растопыренную ладонь.

Петефи вложил в нее замызганный зеленоватый свиток.

— Помню, помню твоего «Пьющего». — Вёрёшмарти рассеянно перелистал тетрадь. — Ты, кажется, в кабаке его сочинил?

— В кабаке? — Шандор хмуро покачал головой. — Я задумал эти стихи, дрожа от холода, корчась от рези в голодном желудке, когда брел под снегом и дождем в Папу, когда добирался из Папы в Пожонь, а в пожоньской больнице для бедняков ко мне и пришел их разудалый напев.

— И тебе сразу стало веселее?

— Да, — почти против воли улыбнулся Петефи. — Я пошел на поправку.

— Значит, ты сделал настоящие стихи. В трудную минуту кто-нибудь найдет в них свое утешение. Словно бокал доброго вина, они облегчат чье-то страдание. Куда, интересно, тебя понесло из Пожони?

— Кажется, в Дьер. А после — в Пешт и Шелмец, Дунавече, куда я заглянул к моим старикам, снова Пешт и уж осенью — Балатонфюред.

— А потом?

— Дальше, через лесистые холмы Бакона, я перебрался в комитат Шомодь. Видел Толну, в общем, брел куда глаза глядят, пока в Озоре не подвернулась труппа Кароя Шенши. Дальнейший путь я проделал уже в двуколке. Там и записал стихи, которые послал вам.



— Ты не поэт,— проворчал Вёрёшмарти, сердито по-  
пыхивая,— ты прирожденный бродяга. Не загляделась ли  
на цыгана твоя уважаемая матушка, находясь в тяже-  
сти? — Он раскатисто захохотал и закашлялся дымом.—  
Черт возьми, что ты забыл в Шелмеце?

— Мне было все равно, идти или ехать. Я поступил в  
трупшу ради куска хлеба,— и тихо добавил: — На сей раз.

— Ага! Наконец-то прозрел! — Вёрёшмарти отшвыр-  
нул чубук и, подсунув под локоть подушку, перевернулся  
на бок.— Понял, что актер из тебя никудышный, вообра-  
зил себя поэтом и накропал стишки? Так-так, поглядим.—  
Он приблизил тетрадку к глазам.— «С отцом мы выпива-  
ли, в ударе был отец»? — прочел первое попавшееся и по-  
качал головой.— По крайней мере, ты верен себе! Может,  
хочешь винца, сынок? — Он потянулся к хрустальному  
графину с остроконечной серебряной крышкой, в котором  
янтарно переливался токай.

— Нет,— преодолев себя, впервые признался Шан-  
дор.— Я не люблю вина. Меня мутит после первого же  
стакана.

— Однако! — протянул Вёрёшмарти и более не загова-  
ривал с гостем, пока не прочитал все с начала и до конца.

— Ну что я могу сказать, сынок? — Он отложил ру-  
копись, распрямил, морщась, отекающую руку.— Терпкая  
кровь самой земли бунтует в твоих жилах. Будь счастлив,  
если сумеешь, и благослови тебя господь.— Он тяжело  
поднялся, держась за поясницу, мимоходом коснулся же-  
стких волос молодого поэта и резким толчком, словно ему  
не хватало воздуха, распахнул окно.

Коричный запах цветущей глицинии ворвался в ком-  
нату. Заполоскала на ветру кружевная гардина, спугнув  
пушистую кошку, дремавшую на скамеечке для ног.

— Ты пробовал обращаться к издателям? — Вёрёш-  
марти плюхнулся в рабочее кресло. Привычно подкрутив  
ус, вновь раскрыл зеленую тетрадку.

— Я был у Ландерера, Хартлебена, Альтенбургера, дважды заходил к Хеккенасту, но он так и не соизволил меня принять.

— Бедная наша литература! Но ты не огорчайся, сынок. Нет в мире стены, которую нельзя обойти. Многие венгерские литераторы опубликовали свои произведения в обход присяжных издателей. Великий Бержени, например, не посчитал для себя зазорным напечатать книгу стихов за собственный счет. Да зачем далеко ходить за примерами? Моя первая поэма «Бегство Залана» тоже увидела свет таким же образом. Можешь не сомневаться: мы издадим твой сборник.

— Но где взять деньги?

— Как — где? А меценаты на что? Подписчики? На издание моей поэмы прислали средства восемьдесят восемь подписчиков со всех концов страны, — не без гордости сообщил Вёрёшмарти.

— Всего восемьдесят восемь? — удивился Петефи.

— Целых восемьдесят восемь!.. Не забудь, что даже на «Атенеум» подписалось всего триста человек. Таков порядок вещей. Мы пишем, коллега, для избранных.

— Я хочу, чтобы мои стихи дошли до каждого венгерского сердца. — Петефи гордо вскинул подбородок. — Иначе не стоит работать. Иначе миссия певца низводится до жалкой роли шута, лизоблюда, лакея пресыщенной публики.

— Bravo, bravo, — насмешливо одобрил Вёрёшмарти. — Запал у тебя есть. Но чем скорее ты порастратишь свой юношеский гонор, тем будет лучше для тебя. Иначе никогда не станешь профессиональным литератором... Кто из нас не мечтал в молодости о венке Торквато Тассо?

— Я не жду лавров от сильных мира сего. Я хочу писать для народа.

— Народ, братец, состоит из людей, — наставительно заметил Вёрёшмарти. — И вообще мне кажется, что ты

слабо представляешь себе состояние литературного рынка. Читающая публика привыкла пробавляться цветочками, ангелочками, пастушками, простушками, овечками, сердечками, а ты хочешь заманить ее в кабаk. Как там у тебя? — Он бегло перелистал страницы. — «Хортобаdьская шинкаpка, ангел мой! Ставь бутылку, выпей, душенька, со мной!..» *Quel style!*<sup>1</sup> Оно, конечно, прелестно, но боюсь, господа подписчики тебя не поймут. Они привыкли к галантному обхождению. Для того чтобы заставить их потряхнуть мощной, нужны совсем иные словесные обороты, *sher ami*<sup>2</sup>. Умные головы это понимают.

— И кто же они?

— А то не знаешь? — Вёрёшмарти схватил со стола еще не разрезанный до конца альманах «Хондерю»<sup>3</sup>. Вот послушай, как надо изъясняться с прекрасным полом: «Лелейте же сей бутон, дайте ему место среди вечнозеленых растений, украшающих ваши чудесные письменные столики; если же он придется вам по сердцу, дозвоьте ему расцвести,— голос постепенно повышался, в нем набирала силу и пела восторженная струя,— стать оч-чаровательным цветком под сладостными лучами ваших прелестных глазок, в драгоценной усладе патриотического вашего дыхания...»

— И кто же сей бутон?

— «Хондерю».

— Омерзительно!

— А по мне так прелестно! Учись, сынок, как вымогать денежки. И это не просто сюсюканье, это патриотическое сюсюканье, так сказать, благонамеренное. И дамам приятно, и эрцгерцог палатин<sup>4</sup> в Будапештской крепости будет спокоен за состояние венгерской словесности. Несча-

---

<sup>1</sup> Какой стиль! (фр.)

<sup>2</sup> Дружок (фр.).

<sup>3</sup> «Свет отечества».

<sup>4</sup> Палатин — наместник (лат.), надор (венг.).



стный народ, несчастная литература... Собирайся, пойдем.— Вёрёшмарти швырнул альманах в угол, откуда прыснула задремавшая на новом месте кошка.

— Куда?

— Ты все еще хочешь податься в поэты? Не передумал?

— Не передумал.

— И тебя не пугает, что поэты у нас чахнут в габсбургской тюрьме, в Куфштейне? Участь Бачани не страшит?

— Меня уже раз заковывали в кандалы, и умирал я дважды.

— Тогда погоди, пока смею халат на аттилу, и в добрый час! Ничто так не радует сердце, как первая книга.

— Мы поедем прямо в типографию? — с недоверчивой надеждой поинтересовался Петефи.— Думаете, что-нибудь выйдет?

— Ничего подобного! Мы пойдем туда, куда стремится твоя бесшабашная муза, хоть это и противопоказано твоему слабому желудку,— в пивную, короче говоря. Как раз сегодня у Ламача собирается весь «Национальный круг». Им сам бог велел поддержать такого поэтического самородка, как ты. Иначе какие они, к дьяволу, националисты? Уж я заставлю этих парней раскошелиться, будь уверен!

Под низкими сводами подвальчика слоистой завесой плавал табачный дым. Застарелый запах свирепого кнастера, которым набивали свои чубуки здешние завсегда-тай, въелся в поры оштукатуренного поздреватого камня, пропитал занавески и всегда влажные, плохо отстиранные салфетки. Он перешибал даже бродильный дух, исходящий от бочек. Лишь когда кельнер в кожаном фартуке

вбивал кран и к потолку рвалась нейстовая струя пены, минутной свежестью ощущалось горьковатое дыхание хмеля. Несмотря на духоту, собравшиеся были в добротных венгерских одеждах, обильно расшитых сутажом. Кое-кто, по старинному обычаю, не постеснялся даже приметать лоскуток собачьего меха, указывающий на дворянство, благо в стране чуть ли не каждый двадцатый мог похвалиться высокородной родословной. Зачастую дворянские грамоты были у ремесленников, кабатчиков, цирюльников и мелких торговцев. Чего-чего, а голубой крови Венгрии было не занимать.

После того как унесли миски из-под свиных ножек и блюдо с поджаренным хлебом, обильно намазанным гусиным жиром и посыпанным крупно нарубленным луком, Вёрёшмарти очистил место для рукописи. Смахнув на пол картонные подставки, велел убрать опустевшие глиняные кружки с оловянными крышечками и локтем отер сбежавшую через край пену.

Для чтения он выбрал всего два стихотворения: про степь и хортобадьскую шинкарку. Однако и их с трудом выслушали осоловевшие националисты. Рюмочка абрикосовой палинки и несколько кружек доброго пива не располагают к молчанию. Языки развязались, тянуло побалагурить, похвастать, а то и затеять жаркий, но бесплодный, так как ни одна сторона не желала уступать, спор. Но сытый желудок и разливающаяся по жилам теплота настраивают также и на лад благодушный, чего и ожидал опытный в такого рода вещах Вёрёшмарти.

— «Степная даль в пшенице золотой...» Как видите, господа, — деловито подытожил он короткую декламацию, — перед вами самобытный венгерский поэт. Национальный поэт! — счел необходимым подчеркнуть. — Воспевший чудесные наши степи меж Дунаем и Тисой. Святая обязанность помочь Шандору Петефи издать первую стихотворную книгу. Предлагаю организовать сбор в его

пользу,— и, усиливая натиск, процедил настоятельно: — Сейчас, немедленно, здесь.

Воцарилось долгое, настороженное молчание. Посапывая и поминутно прикладываясь к кружкам, дабы осадить луковое амбре, собравшиеся обменивались беглыми взглядами.

— Так скоро подобные дела не решаются,— начал было собиратель народных песен Эрдейи, но не договорил и, насупившись, пыхнул трубкой.

— В самом деле,— поддержал его Имре Вахот, редактор известного журнала «Регелё»,— что за спешка? Надо как следует обмозговать, пощупать... Я, например, не почувствовал, собственно, национальной ноты в стихах нашего молодого друга. Он, полагаю, не без способностей, но, как бы это поточнее сказать, его произведения лишены дыхания, что ли, неповторимых веяний родной почвы. Должен ясно ощущаться один какой-то, пусть крохотный, но зато особенный уголок. Патриотизм начинается с малого. Не так ли?.. Вы родом откуда? — наклонился он через стол к Петефи.

— Из Фельэдьхазы,— ответил поэт, хотя увидел свет в Кишкёрёше, но почему-то невзлюбил сей богом забытый уголок.

Вахот, подсознательно уловивший в стихах упрямо звучащую ноту, нахмурился, ибо отрывистый ответ прозвучал, как вызов. Не зная про Кишкёрёш и не находя сколь бы то ни было примечательных качеств в Фельэдьхазе, он тем не менее явственно ощутил дерзость и нервно забарабанил пальцами. В свое время почти так же помрачнел и начал отбивать раздраженную дробь духовник-евангелист Ян Коллар, когда гимназист Шандор ни с того, ни с сего объявил вдруг себя протестантом. Что и говорить, Петефи в совершенстве обладал сомнительным даром восстанавливать против себя людей после первого же слова. И неважно, что словак Коллар был

ярым панславистом, а венгерский ура-патриот Вахот считал словаков и многих прочих людьми не совсем полноценными, оба они прореагировали поразительно единообразно. Петефи был еще слишком молод и не знал, что существуют натуры, прямо противоположные ему по своему психологическому типу. Смягчить остроту такого изначально заложенного противостояния не властны были ни национальная принадлежность, ни уровень культуры, ни даже политические убеждения. Именно они, убеждения, а точнее, просто отношение к авторитету существующей власти нередко даже определялись только нравственным идеалом личности.

Почувствовав, что установилось безмолвное противоборство, Вёрёшмарти встревожился за успех начинания и поспешил разрядить атмосферу. Поднатужив усталые мозговые извилины, не без отсебятины, продекламировал компании «Пьющего». Это пришлось по вкусу, попало в самое яблочко. В награду автору досталось добродушное ворчание и смех. После пива было приятно поговорить о редких достоинствах мадьярских лоз. Только Вахот не присоединился к похвалам.

— Не знаю, не знаю,— неопределенно пробормотал он и отвернулся.

— Значит, так,— первым схватил быка за рога портной Гашпар,— жертвую на книжку тридцать старых пенгё. Еще столько же обязуюсь дать после,— и, окинув торжествующим взглядом собравшихся, тут же отсчитал три полновесных десятки и бросил на уставленный кружками стол. Тогда и остальные полезли за бумажниками и, кто пятерку, кто целую двадцатку, стали наращивать скромную горку. Словно на кон ставили.

В итоге набралось семьдесят пять пенгё.

Вёрёшмарти аккуратно сложил деньги и торжественно вручил их смущенному Петефи.

— Это тебе на сборник, сынок,— сказал тихо и доба-



вил, уже на публику: — А также на жизнь! Не можем же мы допустить, господа, чтобы поэт помер с голоду, так и не увидев своей первой книги. Подумаем, чем можно подействовать ему...

Но тут подоспело свежее пиво из новой бочки, и о Петефи, чему он только обрадовался, на время забыли.

Уже на улице, когда настала пора застегнуть все пуговицы и надеть шляпы, Вахот наклонился к Вёрёшмарти и тихо спросил:

— Ты действительно находишь его талантливym?

— Да он гениален! — воскликнул Вёрёшмарти. — Не знаю, как можно не замечать!

— В самом деле?.. Откровенно говоря, мне тоже показалось, что парень не без таланта. М-да... — Он обернулся, ища Петефи, скромно поджидавшего друга и покровителя возле врытого в землю пушечного ствола, к которому возчик пивных бочек привязывал свою клячу. — Не составите мне компанию, милостивый государь? — церемонно обратился он к Шандору.

— Иди-иди, — Вёрёшмарти подтолкнул набалдашником трости разомлевшего от сытного угощения и такого счастливого, такого влюбленного в мир и в людей поэта.

— У меня есть к вам деловое предложение, — начал Вахот, когда они вышли на роскошную, затененную разноцветными маркизами Ваци. — Мне в «Регелё Пешти диватлап»<sup>1</sup> нужен опытный сотрудник, знающий литературу, современно и широко мыслящий, словом, что называется со вкусом. Мне кажется, что мы сможем договориться. Как полагаете?

— Что я должен буду делать? — спросил Петефи, не веря, что все это не во сне. — В журналах мне еще не приходилось работать.

---

<sup>1</sup> «Сказочник, пештский модный журнал».

— Пустяки, — отмахнулся Вахот. — Были бы знания и вкус, остальное — дело наживное... Вы владеете языками?

— Французским, итальянским, много хуже английским.

— Немецкий, полагаю, само собой разумеется? Потому что нам пишут даже из Вены!

— О да. Я читаю и могу писать по-немецки.

— Прекрасно, господин Петефи. Это больше, чем я мог ожидать. Вы мне подходите. — Стянув перчатку, он стал деловито загибать потные пальцы. — В ваши обязанности будет входить чтение рукописей, верстка, корректура, а также ежедневное посещение типографии, расположенной в Буде... Не подлежит сомнению, что лучшие из ваших стихов украсят страницы... Чьи? — Он расплылся в улыбке и хитро прищурился. — «Регелё»... Вы сами их там и напечатаете. Подходит?

— Еще бы! — восторженно воскликнул поэт.

— За ваши труды будет положено ежемесячное жалованье в пятнадцать валто-форинтов. Я обязуюсь одновременно предоставить вам апартаменты и хороший венгерский стол. Кроме всего, за каждое опубликованное стихотворение вы получите... ну, скажем, восемьдесят крейцеров... По рукам?

— По рукам! — слова Вахота звучали как музыка. Неудержимое воображение поэта, не углубляясь в смысл произнесенного, а лишь отталкиваясь от него для полета, рисовало картины из «Тысячи и одной ночи». В глубине души Петефи остался все тем же гордым, наивным школяром, для которого действительность была только поводом для заманчивых и головокружительных фантазий, кончавшихся обычно неизбежным падением и новыми синяками. Он даже не потрудился пересчитать валто на старые пенгё и едва ли мог сообразить, что за всю редакторскую работу ему положили жалованье кухарки.

Тем паче невдомек было, что величественное понятие «апартаменты» обернется темным чуланом под лестницей.

— В таком случае,— Вахот придержал летевшего как на крыльях поэта,— полагается сырыснуть сделку. Небось хочется лишний разок приложиться к бутылочке? Я, брат, все вижу! Меня, брат, не проведешь...

Вахот был не первый, кто принял лирическое «я» поэта за истинное.

Глоток «бычьей крови», распространявшей железистое благоухание, вызвал у Петефи оскмину. На глиняный кувшин, где по глазури сбегала темно-малиновая капля, он взирал, как Сократ на чашу с едкой цикутой.

Все, что случилось потом, было уже неподвластно его воле и памяти. Но на улице Ваца с того вечера за ним установилась прочная слава отчаянного вышивохи и буяна. Это полностью отвечало представлениям списходительной публики насчет молодых венгерских поэтов.

### 3

У древней крепости Девиш на высокой горе, где стрижи и голуби пухом устилают гнезда, отжимает темные воды Моравы широкий Дунай. Зеркальный трепет пробегает лоском над порослью буков и лип, непроглядная илистая волна играет солнечными веселыми вснышками. Разделяя Буду и Пенш, огибая Пожоньский холм с его цитаделью, торопится коварная и ласковая река верноподданно лизнуть обтесанный гранит имперской столицы.

И Вена, словно стареющий монарх, сентиментальный и бессердечный, подставляет для поцелуя свою шершавую ладонь. Обманутые струи, отсеченные от главной стремнины, не успев опомниться, несет уже Венским каналом, как шеренги в строю. Завивает ветер блестящие

гребешки, точно серебряные крылышки на шишаках, но не разгуляться в прямолинейном створе, не взбрыкнуть. Забудь своенравный извив венгерских, румынских, славянских берегов, усмиренный Дунай, выпрямись на немецком плацу. Не под дробь барабана, не под походную флейту и палку капрала, но повинуюсь изящному взмаху палочки дирижера.

Птичьими голосами перекликаются предгорья Венского леса, скрипичными струнами нежно рыдает Пратер. Во ффраках и кринолинах, в пасторальных передниках терезианских пейзажей чинно и весело гуляет праздничная Вена. При свете солнышка — катания в легких ландо по аллеям цветущего парка и прогулки на пироскафе с вальсом под палубным тентом, а в сумерках — карнавал, фейерверк, игристое кипенье в гранях богемского хрусталя. И костры, костры на берегах, смоляные искры, жарко рассыпающиеся над черным зеркалом бессонной реки. Выше, выше взвивайтесь, жгучие звездочки, кто пожалеет топлива, будет несчастен целый год. Прыгайте через огонь, удалые парни, выкликайте имена суженых, кружитесь, белокурые красотки, быстрее, веселей, да не бойтесь подпалить себе нижние юбки. От одного огня уберегетесь, другого не миновать. Ужо прожжет до нутра, до самого сердца! Белыми колесами раздуваются кружевные оборочки, огненные колеса катятся с горы. Святой Вит просит хвороста, святой Флориан объявляет огонь.

Беззаботной ручонкой проказливой шалуньи разжигает пламя игривая Вена. Того и гляди запылает пожар. Тогда поздно будет, не остановишь, не зальешь вероломной дунайской волной.

Встречают солнцеворот, провожают солнцеворот, торопят вращенье временного круга. Но скрыт от ума человеческого завтрашний день.

Отблестала ночь, отилясала. Погасли головешки по



берегам, невесомой золой рассыпались соломенные чу-  
дища.

Только во дворцах — шедеврах барокко, в Шёнбрунне, в Шварценберге, в Бельведере еще теплятся желтым бессонные окна и возникает порой мимолетный силуэт: то дамы в корсете и блондах, то кавалера в венгерке. Сблизятся тени и разлетятся: развитый локон, задорно выгнутый эполет.

Бессонницей, старческой, правда, страдает уверенно шагнувший в восьмой десяток Клеменс князь Меттерних. А коли он бодрствует, то прикорнуть не смеют и вельможи помельче, назначенные на роли приводных шкивов и передаточных ремней по всем департаментам Габсбургской монархии. Вдруг что понадобится, не дай господь, спросит. Чем дальше в возраст, тем больше чудит, никому не верит, подозревает, кипит, деятельно клокочет.

Но это поверхностное бурление, скрывающее паралич. Скрипит, содрогается, но не двигается государственное кормило. Все силы уходят на противоборство с князем Коловратом, таким же престарелым упрямым, на бессмысленные интриги, которые недостает больше мочи продумать до конца. Семена грядущего сеять рук не хватает и не резон. Одно лишь заботит: любой ценой агонию продлить, задержаться. День прошел, и слава богу. День да ночь — сутки прочь. Не до жиру. Пусть скрипит, пусть шатается, лишь бы не развалилось. На беду внавший в слабоумие монарх отвлекает, Фердинанд Первый. Приходится изыскивать, чем его детский разум занять, как вернее от непосильных вериг державных отвлечь. Господь надоумил на геральдику интересы направить: щиты, трофеи, короны, эмали всевозможные, горностаев мех. Это легко, удобно, но волей-неволей напрягаться приходится, а сил уж нет. Еще удастся в нужный момент то новый девиз подсунуть, то гербовые фигуры переменить или к августейшему тезоименитству орденского ста-

туда реформу произвести. Поле деятельности необозримое. Знак золотого руна высочайший, отнятый Веной у испанских Габсбургов, отныне Бург раздает. Все пока в этих усохших руках, да неизвестно, за что ухватиться. Париж, Россия, Германский союз, турки, поляки, Балканы, Лондон, карбонарии, папа, Мадзини — какая-то дьявольская карусель. Нажимаешь на клавиши вслепую, а мелодии не получается. И летит размалеванный круг под чудовищную какофонию, грозя разлететься на мелкие части. Некогда сосредоточиться, продумать, по полочкам разложить; приходится в бирюльки играть — французский щит, червленое поле, поддакивать слабоумному, соперничать с дураком. Оно и отвлекает, уводит от главного. Порой вообще провал наступает и забывается, что это главное есть. Так и самому недолго обратиться в сенильного чудака. В одного из тех, кто, как сухой бессмертник, трясет головкой в государственном совете и пускает слюни. Собственных годов светлейший князь не считал. Лет эдак в шестьдесят он усох, подобрался и вроде как законсервировался. Полагал, что так надолго останется, что не только плоть, но и судьба духовной силе подчинились. Природе самой свои условия диктовал.

После бессонной ночи Меттерних выпил чашечку крепкого кофе и прилег на кушетку. Заботливый камердинер взбил подушечку на лебяжьем пуху, накрыл пледом. При свете дня, как у совы, стали слипаться глаза. Проглядел, засыпая, сделанные ночью наброски и большую часть смял, обнаружив чреватые опасностью нововведения. Смахнув бумажные комки на пол, поддался сладостной дреме, дал себе такую поблажку. Проснулся после полудня, разбитый и удрученный. Сердце, отравленное сомнением и тоской, сжималось тревожно и билось о ребра, как узник в клетке.

Князь падел очки в тонкой золотой оправе и, разгладив первый попавшийся из отринутых листков, погру-

зился в чтение, но сосредоточиться не мог. Старческое беспокойное стремление куда-то бежать, спрятаться ото всех погоняло. Собственные мысли предстали уже абсолютно лишенными внутренней связности. Стоило ли ради этих жалких клочков — с ненавистью стал рвать бумаги — всю ночь страдать, подвергать изношенный организм опасности перенапрячься? Такие усилия и пропали совершенно зря.

Дернув сонетку звонка, велел позвать парикмахера и массажиста. Пора было готовить себя к поездке в Хофбург, куда пригласил для приватной беседы этих неноседливых венгров...

В кабинет вошел, когда секретарь бережно смахивал пыль с позолоченных фигур на камине, изображавших сцены охоты.

Выгибались прижатые к губам егерей рога, травили оскаленного венря распластанные в полете гончие, падал, закинув в прыжке благородную голову, королевский олень. Горы трофеев венчали удалую забаву: медведи, лисы, косули, цапли, мелкая боровая и болотная дичь. Скульптору с необычной силой удалось передать немую тоску уже тронутых смертной поволокой звериных глаз, боль и ярость оскаленных морд.

Меттерних распахнул тяжелый, оправленный в малахит бювар, подаренный русским царем, и вооружился лорнетом. Придав лицу отсутствующее выражение, словно мысленно общался не иначе как с ангелами господними, выпрямился в высоком кресле.

Первым легкой танцующей походкой в кабинет вбежал венгерский граф Стефан, или Иштван, на мадьярский манер, Сечени. Откинув фалды безупречного английского фрака, стремительно обрушился в кресло и, пренебрегая светской условностью, выналил:

— Я поспешил в Вену, чтобы предостеречь вас, ваша светлость, по велению долга и совести от угрожающей опасности.

— В самом деле? — Меттерних приподнял бровь. — Весьма признателен вам, граф. Итак, что же это за опасность?

— Я не любитель околичностей и, если позволите, буду говорить прямо. В Вене, насколько мне известно, находится сейчас Лайош Кошут, которого, слухом земля полнится, вы, ваша светлость, собираетесь принять.

— Я? — Меттерних искусно разыграл изумление. — Принять Кошута? Возможна ли бóльшая нелепица, граф?

— Вы сняли камень с моей груди. — Сечени, которого несколько не обманули заверения канцлера, благодарно прижал руку к сердцу. — И все же, пользуясь случаем, вновь хочу предостеречь вас от этого человека.

— Я весь внимание, граф. — Меттерних, назначивший аудиенцию Кошуту на сегодняшний день, лишний раз убедился, что действует верно. Никогда не пужно ставить все на одну лошадь. Тем более что Сечени, которого считали чуть ли не опорой династии, несомненно, ведет двойную игру. Мог ли канцлер доверять этому либеральному англоману? Просвещенному барину, пожертвовавшему половину дохода на организацию в Пеште Академии наук? Изначально не мог. Что бы ни плели там, в Наместническом совете, насчет абсолютной благонамеренности господина Сечени, но его явный национализм, да еще вкупе с конституционной закваской, говорит сам за себя.

Меттерних заглянул в бумаги и нашел зафиксированное тайной полицией высказывание Сечени: «Венгерского народа не было, но он будет».

Отъявленная демагогия! Откровенное заискивание перед плебсом. Одно дело — венгерская аристократия — Меттерних и сам был женат на мадьярке, другое — так называемый народ. От народов требуется лишь одно: послушание и верность монархии. Академия наук, судоходство и мост через Дунай — все это прелестно, но при ус-

ловию соблюдения краеугольных основ государственности. Достоинно крайнего сожаления, что культурно-экономические новации Сечени и прочих конституционалистов входят в противоречие с принципом абсолютного повиновения метрополии. Досужие мечты Деака, Пульски и иже с ними об отмене наместнического правления и прямом подчинении трону — не что иное, как пороховой заряд, предназначенный для подрыва монархии. Канцлер давно раскусил сей ловкий трюк либеральных господ. Если они так напуганы деятельностью Кошута, безусловно смутяна и опасного подстрекателя, то не будет ли дальновиднее противопоставить одну силу другой? Натравить партию на партию, свору на свору? Пусть сначала обескровят друг друга в междоусобных схватках, а после всех их можно будет смести с доски, словно отыгранные пешки. Политика не новая, но верная. Враг врага — это друг на какое-то время.

Канцлер перевел глаза с бумаг, которые его отнюдь не занимали, на посетителя и, словно вспомнив о его существовании, прояснил взглядом:

— Прошу прощения, граф, но я невольно задумался... Вы, кажется, хотели что-то сказать?

— Не смея мешать вашей светлости, — потеряв начальный запал, смешался Сечени, но, быстро овладев собой, закончил с достоинством: — Я счел необходимым выждать, пока вы найдете возможным вновь удостоить меня вниманием.

Меттерних, для которого внезапные паузы в беседе, якобы вызванные крайней степенью государственной озабоченности, стали привычкой, обидчиво пожевал губами.

— К вашим услугам, граф, — вымолвил сухо.

— Я обнадежен заверением касательно приема, якобы обещанного господину Кошуту. И все же не могу не высказать упрека правительству... На мой взгляд, в от-



ношении к Кошуту недостает последовательности. Простите за откровенность.

— Напротив, дорогой граф, напротив,— запротестовал Меттерних.— Вы знаете, как я ценю ваше мнение... Итак, в чем же вы усматриваете непоследовательность?

— В том, что правительство допускает ошибку за ошибкой. Сначала Кошута подвергают аресту. Не будем судить, правильно это или же нет, но, как говорится, дело сделано и надо держаться принятого решения. Но проходит сравнительно немного времени, и узник Йожефовых казарм в ореоле мученика выходит на свободу. Более того, ему даже разрешают издание газеты, которая быстро становится рупором радикальных идей. Власти, естественно, пугаются, шарахаются в другую сторону, и газету запрещают. Разумно ли это, дурхлаухт<sup>1</sup>? Не уместнее ли держаться одной линии, все равно какой, но определенной? Покамест каждый шаг добавлял либо новые лавры к ореолу героизма, либо завидно сверкающие тернии в мученический венец. Затрудняюсь сказать, что опаснее, ваша светлость.

— Опаснее? Опасности угрожают человеку со всех сторон. Кстати, граф.— Мстительный канцлер решил преподать Сечени маленький урок.— Что там за история с этим, как его? — Он вновь погрузился в лежащие перед ним бумаги, но уже непритворно, ибо стал слаб памятью на имена.— Ага! — нашел донесение тайной полиции.— Регули! Странная история, знаете...

— Простите, ваша светлость? — выжидательно наклонился Сечени.

— Странная история, говорю. Поехал зачем-то в Россию искать каких-то мифических предков... Не правится мне эта финно-угорская возня... Нет ли тут русских интересов? — Меттерних, подробно осведомленный о гель-

---

<sup>1</sup> Ваша светлость (нем.).

сингфорсских и особенно петербургских похождениях Регули, не кривил душой. Совершенно искренне усматривая в них далеко задуманную интригу русской дипломатии, он подозревал путешественника чуть ли не в шпионаже.— Ваша,— подчеркнул с ехидной усмешкой,— академия и русские службы необыкновенно щедро экипировали новоявленного Марко Поло... Или я ошибаюсь?

— Прикажете дать подробные объяснения? — Сечени укоризненно вздохнул.

— Пустое, граф. Питая к вам лично абсолютное доверие и глубочайшее уважение, я вспомнил об этом несчастном происшествии лишь в связи с Кошутом. Его газета рада случаю любой пустяк представить на антиавстрийский лад... Сознаюсь, меня глубоко пропяла ваша фраза о лаврах и терниях.

— Вы не согласны со мной, ваша светлость?

— Безраздельно согласен! — восторженно воскликнул Меттерних.— Но что вы предлагаете теперь? Как нам следует вести себя с этим Кошутом?

— Решительно и определенно.— Губы Сечени произвольно вытянулись в ниточку.— Если дать этому человеку волю, он погубит Венгрию, а вслед за ней и династию.

— И все же я бы хотел получить от вас более конкретные рекомендации.

Сечени помедлил, словно собираясь с силами, и с присущей немецкому языку беспощадной определенностью отчеканил бестрепетно:

— Entweder aufhängen oder utilizieren<sup>1</sup>.

В альтернативу он не верил и привел ее из одной только вежливости. Иначе почтительный совет уподобился бы грубому армейскому приказу. Светлейший князь мог и обидеться.

---

<sup>1</sup> Повесить или использовать (нем.).

— Интересно,— протянул престарелый канцлер, пристально лорнируя собеседника.— До крайности интересно...

Полтора часа спустя он с той же улыбкой направил лорнет на белый, как мел, лик Лайоша Кошута. До неприличия долго, словно диковину какую, изучал сидящего перед ним противника. Вынужден был признать, что, вопреки репутации чуть ли не разбойника, Кошут производил скорее благоприятное впечатление. Тем печальнее, если человек со столь одухотворенными, можно даже сказать, пророческими чертами посвятил себя разрушению, подстрекательству, мятежу. Трудно не согласиться с Сечени: он действительно опасен, этот фанатик с бледной кожей вампира, с горящими ненавистью глазами.

Кошута, перенесшего недавно очередной приступ жестокой лихорадки, подобное разглядывание сквозь увеличительное стеклышко явно раздражало. Сначала он позволил себе презрительную улыбку, затем не выдержал и, огладив рукой пышные баки и бороду, спросил напрямик:

— Вас что-нибудь не устраивает в моей внешности, господин канцлер? Может быть, я нелепо одет? Дурно причесан? В таком случае прошу проявить снисходительность. В тюремной камере невольно отстаешь от требований моды.

— Мне кажется, нам не следует начинать с препирательств, господин редактор,— примирительно заметил Меттерних, опуская лорнет.— Тем более, что ваши упреки не совсем справедливы. Вы находитесь в центре политической жизни, и вообще пора забыть старые недоразумения. Будем думать о будущем.

— О будущем? — спросил с невинным видом Кошут и улыбкой дал понять, что не признает за всемогущим канцлером права даже думать о будущем. И сам Меттерних, и Габсбургская династия были в его глазах пережитками

прошлого, последними остатками затянувшегося недуга феодализма.

— Я старый человек,— понял Меттерних и снисходительно кивнул.— Поэтому речь пойдет не о моем, а о вашем будущем.— Канцлер увещевал самым искренним тоном, потому что к словам о собственной старости относился как к обычной дипломатической уловке. Не сомневался в глубине души, что лет десять, а то и все пятнадцать ему обеспечены.— Я согласился на беседу с вами лишь в надежде направить ваши незаурядные способности по конструктивному руслу.

— Согласились на беседу? — разрешил себе удивиться Кошут.— Но я не просил об аудиенции! Мой приезд в Вену можно рассматривать как проявление элементарного послушания. Меня вызвали, а я не считал возможным уклониться. Не более того...

— Вы говорите о вызове, словно речь идет о какой-нибудь явке в полицию,— укоризненно попенял Меттерних.— Нехорошо, господин Кошут, некрасиво. Если не уважаете главу кабинета, то хоть сделайте вид, что почтительно относитесь к старости.

— Как вам будет угодно.— Кошут склонил голову и тут же резко вскинул ее, убирая упавшую на высокий лоб прядь.— Готов ответить на все ваши вопросы.

— Повторяю,— уже теряя терпение, назидательно проскрипел канцлер,— что вы не в полиции и приглашены не для допроса. Мне хотелось лично сообщить вам приятную весть, что запрет на издание «Пешти хирлап»<sup>1</sup> аннулирован.

— Только за этим меня и... пригласили? — Он хотел сказать «вызвали», но проглотил раздражавшее канцлера слово.— Только за этим?! — переспросил, пряча за удивленным восклицанием застарелое недоверие.

---

<sup>1</sup> «Пештский вестник».

— Естественно, — пожал плечами Меттерних. — Заодно я хотел взглянуть на вас, познакомиться с вами. Надеюсь, вы оставляете за мной такое право?

— Несомненно, господин канцлер, несомненно... Что ж, позвольте выразить вам признательность за оказанную честь и за приятное известие. — Кошут сделал движение подняться, но Меттерних удержал его нетерпеливым взмахом руки.

— Уделите мне еще несколько минут.

— Весь к вашим услугам.

— Разрешение на возобновление издания не означает одобрения той крайней линии, которую проводит ваша газета.

— Я понимаю это, господин канцлер.

— Видимо, призывать вас отказаться от антиавстрийского курса и занять более умеренные позиции было бы бессмысленной тратой сил и времени? — Меттерних отбросил фальшиво-назидательный тон и заговорил вдруг просто, откровенно, с язвительной и вместе с тем почти добродушной усмешкой.

Кошут принял вызов и ответил канцлеру в том же тоне:

— Боюсь, что так, ваша светлость... Крайне сожалею.

— Вот и прекрасно... Нравится нам это или не нравится, но сложилось новое положение вещей, с которым надобно считаться. Ваша полулегальная оппозиция, скажем именно так: полулегальная, становится отныне легальной.

— До следующего запрещения?

— С этим покончено навсегда, обещаю вам, господин Кошут. Работайте спокойно и старайтесь ладить с цензором.

— «После снятия вычеркнутого может быть отпечатано», — Кошут воспроизвел цензурную формулировку.

— Именно так, — не принимая шутки, прозвучавшей



почти издевательски, подтвердил Меттерних.— От вашего искусства, я не хочу сказать совести, зависит теперь, чтобы вымарывалось как можно меньше. Желаю всяческого успеха.

Кошут встал, все еще недоумевая насчет истинных намерений великого дипломата.

— Надеюсь, легальная возможность выражать свои мысли на родине удержит вас от распространения порочащих империю писаний, издающихся за рубежом? — с улыбкой спросил Меттерних, выходя из-за стола, чтобы проститься.

«Вот оно! — обрадовался Кошут. — Наконец-то, под занавес...» Но ответил с полной невозмутимостью:

— Не совсем понимаю, что имеет в виду ваша светлость.

— Издания, отпечатанные в Женеве, Лондоне и других местах, контрабандно распространяемые в Венгрии.

— Не имею к этому ни малейшего отношения.

— Вот как? — не стал спорить Меттерних, поскольку и не ждал от Кошута иного ответа.— В таком случае вас сознательно оклеветали.

— Не понимаю, кому могло понадобиться возводить на меня клевету! — чуть переигрывая, развел руками Кошут.

— Разве у вас мало врагов? — Меттерних не удержался от сочувственного вздоха.— Не далее как два часа назад, один весьма уважаемый венгерский патриот заклинал меня от встречи с вами... Присядьте, а то мне трудно долго стоять.— Канцлер вернулся в кресло и, не называя имени, обстоятельно и, главное, абсолютно правдиво пересказал имевшую место беседу.

Когда он дошел до рокового: «повесить или использовать», у Кошута еле заметно дрогнули ресницы. Удар явно достиг цели. Сомневаться в правдивости способного на любую ложь гроссмейстера интриги на сей раз, к со-

жалению, не приходилось. Каждый знал об отношении к нему Сечени, холодно оборвавшего первую же попытку объясниться и достичь взаимопонимания.

Едва сдерживая охватившее его бешенство, он заставил себя выслушать до конца ложно сочувственные словизвержения канцлера. Гнев мешал разобраться в истинной причине столь необычной откровенности. Решив, что Меттерних просто вызывает его на враждебные высказывания в адрес Сечени, он не проронил более ни единого слова.

Поблагодарил молчаливым поклоном и поспешил уйти. Проводив его теплым взглядом, канцлер довольно замурлыкал песенку. Вбив окончательно ловким ударом клин между обоими лидерами венгерской нации, он мог торжествовать победу. Операция прошла виртуозно, ибо ослепленный обидой Кошут так и не смог нащупать подлинную пружину аудиенции. Обманутый уклончивыми расспросами насчет зарубежных изданий, он надежно заглотил уготованную приманку.

Тем искренней, непримиримей сделалась его неприязнь к Сечени. Видит бог, не он был виновен в столь недостойном и разрушительном чувстве. Оно было грубо навязано ему. Иштван Сечени сделал все, что только в человеческих силах, чтобы разбудить ненависть. И не вина Кошута, что вместо нее родилась холодная, немного безглиявая нелюбовь.

#### 4

От Дуная до Тисы — всюду, где бьет мадьярское сердце, парни и девушки наряжали веселое майское деревце. Как живые, цвели, сбивая с толку шмелей, разноцветные лоскутки, трепетали и вились по ветру креповые ленты. То ли молодая листва шелестела, то ли женственно шуршали на ветках надушенные цветочным

нектаром шелка. Тонким, кружащим голову хмелем дышали дворики Пешта, а на горе Геллерт, на острове Маргит пели скрипки в тягучей истоме, заглушая поцелуи и смех. Видно, недаром, пророча счастливые свадьбы, к самой земле гнулись ветви покорных березок и тополей под непривычной тяжестью бутылок с добрым винцом прошлого года урожая.

Всевластная языческая закваска бродила в крови. В самый полдень, когда на фешенебельной Вацп чинно прогуливался разодетый бомонд, из какого-то переулочка, где лишь одуванчики жались к оградкам, выкатил тележка, украшенная, как это принято у мусорщиков, веткой черемухи.

Публика на теневой стороне, слышав непривычный в этот час грохот колес, поддавалась невольному любопытству. Торжественный ход из одного конца улицы в другой сам собой нарушился, и в отлаженном механизме взаимных приветствий произошел сбой. Еще приветливо сгибались позвоночника и пальцы в перчатках привычно тянулись к полям обтянутых шелком цилиндров, но глаза уже не замечали встречных, а на губах неуверенно гасли заученные улыбки. И хоть ничего из ряда вон выходящего не произошло, дерзкое нарушение городского распорядка было очевидным.

Какой-то юноша в блузе парижского живописца невозмутимо толкал тележку, где, скорчившись, сидел его приятель, а вернее, сообщник, наряженный в пастушью шапку и бекешу времен поэта Чоконани. Общество было приятно шокировано, но еще не знало, как встретить брошенный вызов. Дамы на всякий случай ахнули, прикрывшись веерами, а их мужья, чтобы лучше видеть, стали приподниматься на носках, растягивая и без того напряженные до предела панталоны со штрипками. Первыми, устав от благовоспитанных приседаний, прыснули барышни в премиленьких чепцах, а там и остальные зали-

лись смехом. Кое-кто дал волю праведному гневу, другие поспешили уйти, возмущенно бурча под нос, но большая часть, сгорая от любопытства, осталась на месте.

Ничего из ряда вон выходящего, однако, не последовало. Парень в меховой шапке лишь однажды взмахнул кизилowym посохом да послал кому-то воздушный поцелуй.

— Да это Шандор! — прозвучало радостное восклицание, и какая-то девица бросила цветок.

Первым, однако, узнал Петефи шваб — молочник, живший по соседству с кабачком, где господин редактор Имре Вахот привык заключать литературные сделки.

— *Er ist der Dichter, der Ungar*<sup>1</sup>. — Он почтительно приподнял цилиндр и, гордо выштитив грудь, огляделся. — Я его хорошо знаю, — объяснил стоявшему рядом мельнику, мадьярскому дворянину. — Он ежедневно бывает либо в «Белой туфле», либо в «Золотом петухе» и надирается до бесчувствия. Потом пишет, не вылезая из-за столика, в мертвецком опьянении. Иначе ничего не выходит. Оттого и пьет. Если случится хоть день не присосаться, то прямо-таки заболевает. Зато питается всякой дрянью, словно француз какой.

— Совершенно справедливо, — вмешался еврей нотариус. — Я сам видел, как господин поэт кушал виноградных улиток. Не знаю, как насчет французов, но думаю, что такая пища напоминает ему любимый папйток. Бывает ведь, что надо и в вине сделать перерыв?

— У него не бывает, — стоял на своем шваб. — С утра накачивается.

— Когда-то и отдыхать приходится, — возразил скептик нотариус. — Без этого человеку нельзя.

— Касательно Франции вы справедливо заметили, — оставив в стороне дородную супругу, внес свою лепту не-

---

<sup>1</sup> Это венгерский поэт (нем.).

разговорчивый мельник.— Эти лягушатники любую пакость съедят.

— Другого,— примкнул к образовавшемуся кружку переплетчик, кивнув в сторону удаляющейся тележки,— и кличут Главный француз. Это Альберт Палфи, тоже поэт.

— Небось не дурак выйти? — подмигнул молочник.

— Так ведь иначе нельзя! — заключил переплетчик.

Добропорядочные господа отнюдь не были настроены против поэтов. Злословя и сочиняя небылицы, они всего лишь тешили сытое, но порой о чем-то тоскующее воображение. Хотелось думать, что есть совсем иные, не похожие на них люди — отверженные, а быть может, и избранные. Им многое дозволено, а жизнь, которую они влечат, до неприличия свободна, неимоверно тяжела. Одним словом, никому не пожелаешь такой жизни.

О том, что все артисты обычно бедны как церковные крысы, почтенные бюргеры, разумеется, догадывались. Но о нищете, как о дурной болезни, не принято говорить в приличной компании. Даже упомянуть про то, что жаренные в подсолнечном масле улитки — самое дешевое блюдо, было невежливо. Жалеть можно вдов и сирот, но не слугителей муз. Их разрешено ненавидеть, высмеивать, проклипать, ими принято восхищаться — только пожалеть их никак нельзя. Сами виноваты, если одержимые гордыней избрали бремя не по плечу. Голод не голод, хворь не хворь: неси добровольный крест и прославляй мýку. Воистину проклятье господне. Не потому ли и на отчаянную гульбу поэту, как какой-нибудь девке, неписаное право даровано? Сыщется ли доля завиднее: глушить вино, любить на глазах полумира и еще громогласно прославлять свой идеал? Молись на нее, как на святую мадонну, тащи за собою в кабацкую грязь, но только не плюй в ухмыляющиеся вокруг похотливые рожи, поэт. Все стерпит почтенная публика: насмешку, глумление



даже, одного презрения не простит. Не возвышайся над толпой. Она смеется над пророчествами, лютой казнью казнит высокомерие. Служи ей, как бездарный актер, вызубривший роль, тогда и будешь счастлив. Кумиру все дозволено, а так — ни жалости, ни помощи, ни пощады не жди. Терновый венок — тебе награда, Голгофа — в конце пути.

У здания почтамта, где медная проволока телеграфа олицетворяла прогресс, Палфи вытряхнул седока из тележки.

— Приехали, ваша милость. Лошадка расковалась, ямщик устал и хочет водки.

— В моем кошельке гуляет ветер. Вчера еле наскреб семь крейцеров за доплатное письмо. Стыдно было перед почтальоном. Ничего себе, поэт!

— А в гости нас никто не ждет? Я уже третий день мечтаю о хорошем куске свинины.

— Увы.— Петефи стащил шапку и отер разгоряченное лицо.— Славно повеселились! Давно не чувствовал себя так легко, так беззаботно... Знаешь что? — Его внезапно осенило.— Может, нагрянем к Вахоту?

— Куда? — удивился Палфи, явно разочарованный тем, что эксцентричный выезд не вызвал скандала.— Да у меня кусок поперек горла застрянет. Терпеть не могу этого литературного дельца.— Он пнул опостылевшую тележку.

— Не бойся, Берци,— засмеялся Петефи.— Я пока не спятил. Я ведь о Шандоре Вахоте говорю, моем тезке и, чего не вытворяет судьба, однофамильце патрона.

— Не родственнике? — подозрительно нахмурился Палфи.

— Можешь быть совершенно спокоен.— Петефи увлек друга к набережной.— Он на ножах с нашим Имре. И у него замечательные стихи.

— Все равно.— Палфи надменно вскинул кудрявую

голову.— Мне едва ли удастся полюбить человека с такой фамилией.

— Брось! Патроп — далеко не идеал, но, право, не хуже многих. С ним можно ладить.

— Неужели ты не видишь, что он систематически грабит тебя, Шандор? Выжимает как губку. Подобно паразиту, питается соком твоей золотой головы.

— Ты преувеличиваешь, Берци.— Петефи был настроен благодушно и не хотел ввязываться в ожесточенный спор с Главным французом и Неподкупным максималистом.

— Сколько он заплатил тебе за «Янчи Кукурузу»?

— Сто форинтов. Я был счастлив послать моим старикам хрустящую кареглазую ассигнацию.

— И ты еще радуешься! Величайшая эпическая поэма Венгрии пошла за гроши с молотка.— Палфи ожесточенно взмахнул рукой.— Твой Вахот заслуживает гильотины.— Он задержал шаг.— Я не пойду туда.

— Куда — туда? — Шандор проявлял сегодня редкостное терпение.— К Имре Вахоту? Я и сам не жажду его увидеть. Пойми, чудак, мой Шандор не имеет к нему ни малейшего отношения... Вчера у нас с патроном вышла очередная стычка.— Петефи доверительно взял друга под руку и, преодолевая упрямое сопротивление, потащил дальше.— В одной статейке, понимаешь, я имел неосторожность назвать «Пешти диватлап» — о ужас! — «моим журналом»! Представляешь себе? Это же надо — настолько обнаглеть! Как только рука у меня не отсохла?..

— И что дальше? — заинтересовался Палфи.— Как на это прореагировал твой Шейлок?

— Совершенно взбесился. Топал ногами, брызгал слюной: «Как вы посмели это напечатать, журнал мой, а не ваш, примите это к сведению et cetera<sup>1</sup>...» Я послал

---

<sup>1</sup> И так далее (лат.).

его к черту и тут же сделал поправку: «В предыдущем номере «Пешти диватлап» я написал в «Примечании редакции»: «В моем журнале», вместо этого следует читать: «В этом журнале».

— Гениально!.. А как Вахот?

— Увидит, когда журнал выйдет в свет. В верстку-то он и не заглядывает.

— Блестящая месть! Достойная поэта. Надеюсь, что теперь-то ты скажешь Вахоту «прощай».

— Эх, Берци, не так оно просто,— вздохнул Петефи.— Другие издатели не лучше. Белая собака и черная собака — все один пес. Да, брат, убогое это ремесло — быть венгерским писателем. Не остается ничего другого, как сказать словами поговорки: «Ешь, голубчик, было б что»... Дали бы мне в год хотя бы восемьсот пенгё, я бы доказал, на что способен.

— Так и будет! — Палфи сжал кулаки.— Революция поставит все на свои места. В ее очистительном вихре нация осознает свой долг по отношению к художнику. Разве поэзия — не живая совесть народа?

— Мне тоже кажется, Берци, что долго так продолжаться не может. Мои нервы улавливают какие-то толчки, потаенные подвижки, но я еще не знаю, что это. Понимаешь?

— Еще бы! Все задыхаются в нашем болоте. Мы устали от запахов разложения, даже от ожидания перемен и то устали. Сколько еще может продлиться подобное безвременье? Год, два года, десять лет? Каждый вечер я ложусь спать с мыслью, что это случится завтра, но просыпаюсь утром и...

— Само собой ничего не приходит. Революцию тоже нужно готовить.

— Где? В «Пильваксе» за чашкой кофе?

— Вспомни Париж, Берци, ты сам говорил о «Пале Рояле».

— Мало ли что я говорил? Мне осточертели бесплодные споры, я больше не верю в лозунги, рожденные между двумя затяжками из глиняной трубки. Революция делается на мостовых. Ты обязательно должен прочитать великолепную повинку — «Histoire des dix ans» Блана<sup>1</sup>. Я тебе дам.

— Спасибо, Берци... Ты знаешь, я все более и более склоняюсь к тому, что революция — это не узкий заговор, а всеобщий порыв. Вода в реке прибывает исподволь, но когда наступает неудержимый разлив, он уже всеохватен. Как солнце! Как природа! Чистота, обновление, открытость — вот так я чувствую справедливость. Поднять ее знамя должны кристальные люди — фанатики чести. Ведь революция — это торжество человеческого достоинства. Когда оно унижено, задавлено, жизнь становится невыносимой. Даже сытая жизнь.

— Откуда ты знаешь, если никогда не ел досыта?

Воспламеняя друг друга, оттачивая мысль, осознавая чувство, они все ускоряли и ускоряли шаг, пока не выскочили на набережную. Они не спорили, а лишь рассуждали вслух о том, что было давно выстрадано, выполнено и обговорено стократно. Но всякий раз возникало ощущение, что родилось нечто новое, необычайно важное, и они стремились поймать нежданную искорку, раздувая с двух сторон загоревшийся трут. Так «высекалась» — любимое слово Петефи — идея, так «вырубались» — любимое слово его — стихи. Готовыми блоками из плотной кремнистой лавы, где не остыл клочок таивший в вулкане огонь. «Я твой и телом и душой, страна родная...»

Падал ограниченный единым ударом брусок и разгорался внутренним светом, не требуя шлифовки, ложился в судьбой назначенный ярус. Ослепительная лестница круто

---

<sup>1</sup> «История десятилетия» Луи Блана.

разворачивала марши, вознося к немыслимым пределам, и не было большего счастья, чем этот грохочущий взлет.

Они почти бежали вдоль подсвеченного ленивым глянцем Дуная, не замечая лодок, кружевных амбrelloк, весенних шляпок, не видя домовых терезианских знаков на свежеевыкрашенных фронтонах красиво изогнутой набережной. Попеременно звучали скрипки, клавесины барокко, бубен бродячего табора. И различались неаполитанские фасады, анапест окон и долгий дольник каминных труб. Лишь резкие переходы окраски выдавали невидимый стык, и крыши с окнами на черепичных скатах, и купоросная зелень плывущих над городом куполов.

— Нам сюда, — остановил Петефи, и смолкла неслышная музыка, и сырая тень узкого переулочка погасила их лица.

Сбивая метр и шаг, вверх вела булыжная мостовая. В темном стекле костела угрюмо теплились свечи. Строгий патер в черной сутане пересек дорогу и скрылся в подворотне коллегиума, напоминавшего казарму двумя рядами занавешенных окон, унылой желтизной аскетических стен.

Жалкая травка сиротливо пробивалась сквозь песок между редкими валунами, и запах цветущих акаций не доносился сюда. Но пыльный голубенький мотылек все же метался над горбатой дорогой, искал здесь тепла и каплю медвяной росы. Но только ржавый ручеек сочился из-под забора красильни.

— Какое унылое место! — пожаловался Палфи.

— А мне оно кажется прекрасным, как, наверное, этому мотыльку.

— Не понимаю, что здесь может радовать глаз.

— Тебе же нравится Вац, а я ничего, кроме неприязни, к нему не питаю. Железная дорога убила этот скверный городишко... Ах, Берца, поезд несется с такой упоительной скоростью! Мне хотелось бы впихнуть в вагоны

всю нашу неповоротливую отчизну, тогда, быть может, за несколько лет она наверстала бы отсталость столетий. Жаль, что железная дорога у нас еще такая короткая. Не успеешь оглянуться, как приходится слазить — прибыли в Вац.

— Дался тебе он! — лениво упрекнул Палфи.

— Бедный друг! — не отставал Шандор. — Всегда мечтал о Париже, а кончишь тем, что поселишься в Ваце. Подумать только: автор «Cartesaux»<sup>1</sup> и житель Ваца. Смешно?

— Ты, часом, не влюбился, Шандор?

— С чего ты взял?

— Классические приметы, дружище. Не идешь, а витаешь над землей, беспричинно хохочешь, вышучиваешь друзей.

— Ничего-то ты не понимаешь, Француз!

— Я не понимаю?.. А куда мы идем, интересно?

— К Шандору Вахоту, моему другу.

— Он живет один?

— Нет, с женой, очаровательной голубоглазой феей шестнадцати лет, которую я чуть было не принял за Илушку из моего «Япчи».

— Мне жаль тебя, поэт, — шумно вздохнул Палфи. — Ты влюблен в жену друга. Что может быть хуже?

— Замолчи, или я вызову тебя на дуэль. — Петефи сделал вид, что разгневан, но не выдержал, улыбнулся чистосердечно и смущенно пролепетал: — У нее есть младшая сестра...

— Что и требовалось доказать, — удовлетворенно заключил Палфи и небрежно бросил: — Теперь рассказывай.

— О чем? Меня представили ей несколько дней назад.

— Но ты уже смертельно влюблен.

---

<sup>1</sup> Название французской деревни (фр.).



— Не знаю, Берци... Как только увидел ее, так сразу понял, что она-то и есть Илушка. Глаза у нее еще голубее, чем у сестры, и волосы совсем золотые...

— Теперь совершенно ясно, почему ты полюбил этот невзрачный лаз, где, пророча несчастье, шляются черные сутаны.

— Вспомни чистилище, которым провел Виргилий божественного Данте... Я с детства грезил о Стране Фей, Берци, где все прекрасны и добры.— Поэт отвернулся, скрывая слезы.— Но жизнь обратилась для меня кругами ада. Все, о чем только мечтал бессонными ночами, корчась от холода, изнывая от зноя, теряя сознание от боли и голода, я отдал подкидышу Янчи. Я не попал в Страну Фей, а он добрался туда. Меня не любила прекрасная добрая девушка, а ему подарила любовь. Когда я закончил поэму и продал ее Вахоту, мне показалось, что случилось непоправимое. Я почувствовал себя опустошенным, ограбленным. Казалось, что мне нечего делать на этой земле. Но феи не оставили меня прозябать без надежды и веры и вновь поманила весна. Рождались новые замыслы, обнаружались неисчерпаемые клады и еще сильнее захотелось отдать в чьи-то добрые руки переполненное любовью сердце.

— И как зовут хозяйку этих рук? — скрывая улыбку, спросил Палфи.

— Этелька.

— Тогда я не удивляюсь. Обладательница столь грозного имени<sup>1</sup> просто обязана была одержать над тобой блистательную победу. Поздравляю, поэт.

— Пока не с чем,— смущенно пролепетал Петефи.— И, ради бога, воздержись от шуточек... Мы пришли.— Он огляделся, взволнованно и бережно, словно собирался погладить ребенка, коснулся ограды.

---

<sup>1</sup> Этелька — женский вариант мужского имени Аттила.

«И эта дверь, и там, во мгле, мелькающее что-то мне были милы, как небес раскрытые ворота».

Никто не знает, как приходит на землю поэт. И как рождается стихотворение, тоже никто не знает. Быть может, оно складывается постепенно — от строчки к строчке, от рифмы к рифме, увеличиваясь, словно жемчужина, наращивающая перламутровые слои в материнской раковине. А что, если оно возникает, как взрыв? Незаметно для самого творца вспыхивает в глубинах сознания ли, подсознания, сверхсознания — бог ведь где? И ждет терпеливо своего часа, чтобы вылиться на бумагу, перестав быть «вещью в себе».

Поэты всего лишь люди, и они не «думают» стихами. Это стихи часто думают за них.

## 5

«Виват Антал Регули!», «Эльсп!» — откуда-то узнала толпа доселе незнакомое мадьярское слово. И правда: трижды виват тому, кто пробудил в наших душах сокровенные струны. Безыскусный мотив, словно зов непонятный, извечный, на мгновение возносит над прозой жизни, отвлекает от суетной гонки, пустого мельтешения, мышинной возни. И куда так спешим мы: поколение за поколением, род за родом, один за другим? Ужель в небытие? Как прост и безнадежен ответ на все наши «почему» и сколь неуютно, пусто становится нам в этом мире бездушных машин и солдатских шеренг, топающих под гром полкового оркестра. О господи, возводим очи к высоким плафонам соборов, без веры в тоскующей душе, и дымные струи лучей, как продолжение горнего сияния иззаоблачного, едва колеблют наши жалкие свечки. Хоть что-нибудь есть ли там, за той неосмыслимой гранью? И ежели ничего, ежели впереди пустота,

то и за спиною у нас все та же глухая бездна. Один только миф, усыпляющий разум, паркоз, облегчающий томление духа. Перспектива Невского, тающего в белой ночи. Зеленоватая немочь воды в Лебяжьей канавке. Видение Петропавловской крепости в летучем дыму облачков. Ах, маета-маета эфемерных, болезненных почек, знобкая сырость болот. Как жадно ловим слухи, что где-то у кого-то что-то там подтверждается, хоть у индусов с их переселением душ, хоть у татар либо китайцев. Значит, не все так просто, значит, есть туманная надежда, что поток нашей жизни не вовсе бесцелен?

И вот, нате вам, неожиданный сюрприз, вроде бы оправдывается романтическая легенда мадьяров. Мы хоть и слыхом о ней не слыхали, а все же приятно, все же щекочет воображение. Бесплотная мечта, можно сказать, голое усилие духа, а торжествует над грубой прямолинейностью бытия.

Восторженно приветствовала северная столица отважного путешественника, рискнувшего в одипочку отправиться в бескрайние, неизведанные просторы чужой страны. Без друзей, без связей и даже, смешно сказать, почти без денег. И странная метаморфоза — как по маговению волшебной палочки появились друзья, нашлись покровители и, хотя выделенные Венгерской академией наук средства почему-то запоздали, даже за деньгами дело не стало. Вера и впрямь творила чудеса. Романтический порыв шутя сметал любые препятствия.

Субтильный молодой человек в застегнутом до самого ворота рединготе выпрыгнул из коляски и, приподняв полуцилиндр, обнажил лысеющую голову. В его быстрых, тронутых чахоточным жаром очах мелькнуло неподдельное изумление. Неужели все эти букеты разноцветных роз для него? И соломенные корзины, явно доставленные из Пармы и Ниццы? И хорошенькие, оживленные улыбкой личики из-под чепцов с рюшами и оперенных, изу-

крашенных самоцветами шляп? А эти сановитые господа в бакенбардах и с крестами на шее, они-то зачем вздымают шелковые цилиндры? «Виват Антал Регули! Эльен! — прокатывается между тактами военного оркестра. — Ура-а!» И офицеры — пальцы к киверам, и бухает турецкий барабан, и пожилой кантонист, раздувая щеки, лобзает медный мундштук геликона. Нет, тут явно какое-то недоразумение! Это ему, скромному лингвисту, одержимому сверхидеей, следует благодарить и кланяться, ибо своим успехом он целиком и полностью обязан гостеприимству и добросердечию приветствующих его людей. Поистине удивительная страна!

Регули различает в пестром мелькании одутловатое старческое лицо Михаила Андреевича Балугьянского. Сенатор и статс-секретарь прибыл при полном параде: в треуголке с плюмажем, со шпагой на боку. Без щедрой помощи этого могущественного старца Регули с его двумястами форинтов в кошельке не добраться бы далее Соликамска. Но Балугьянский хоть родился в венгерской Ольшаве, и его душевный порыв можно объяснить по-стальгическими воспоминаниями. А как быть с академиком Кеппенем, с Бэром? Они буквально горы свернули, чтобы устлать путь молодого ученого не шипами, но по возможности розами... Сколько букетов, Езус-Мария! Мотыльками летят по ветру чайные, алые, снежно-белые лепестки. Трепещут муаровые ленты, колышутся кружевные парасольки, шпоры позвякивают, горят витые императорские вензеля. Какой день! Какой удивительный день! Дыхание перехватывает, глаза туманятся, и все видится расплывчатым и раздробленным, как сквозь подвески из хрусталя.

Регули не помнил, как его подхватила и вынесла на залитый солнцем Невский экзальтированная публика. Очнулся он уже в коляске, катившей мимо затененных полосатыми маркизами модных лавок. Бодрый запах

здорового конского пота и разогретой кожи верха, сложенного гармошкой, перешибал стойкий дух турецкого табака и английских мужских духов.

Увидев рядом сапог со шпорой и ляжку, туго обтянутую лосинами, разомлевший землепроходец поднял голову. Прямо на него глядели веселые-веселые синие смеющиеся глаза.

— Ай-я-яй! — Гусар с удивительно знакомым лицом, не выпуская зажатой перчатки, погрозил пальцем. — Нехорошо забывать друзей, право слово, нехорошо...

— Павлуша! — Вскрик вырвался за мгновение до того, как Регули вспомнил имя юного корнета, нянчившегося с ним все последние месяцы перед отправкой. Павел Воинович Массальский — теперь всплыла и фамилия — не только проводил путешественника до самой Москвы, но и выправил у губернатора чуть ли не фельдъегерскую подорожную. Только потом, добравшись уже до Березова, Регули по достоинству оценил эту поистине княжескую услугу.

Вновь дыхание перехватила жаркая спазма, и Регули, не стыдясь брызнувшей слезы, приник лбом к колющему штыю доломана, ощущая разгоряченным лицом холодок пуговицы, к которой был пристегнут спущенный по плечу мептик.

— Ну, вижу, узнали, — растроганно пробасил Массальский. — А то будто с куклой обнимались. Улыбка ревиновая, взгляд рыбий.

— Это вы верно, очень верно заметили, — горячо зашептал Регули. — Я словно во сне. Где явь, где грезы — не различаю. Может быть, хоть вы мне объясните, что происходит?

— А вы, братец, здорово по-нашему поднаторели, — с юношеской нарочитой грубоватостью одобрил Массальский. — Когда в Москве прощались, вы куда как хуже изъяснялись.

— Три года почти... Не удивительно.

— Все равно молодец! Иной всю жизнь у нас проживет и ни бельмеса. *Mille tonnerres*<sup>1</sup>.

— Я ж не в столичных гостиных обретался, в глубинке, где не то что французский, а и русский язык не очень в ходу.

— И где же успели побывать? У каких инородцев?

— Да мало ли.— Регули на мгновение затуманился.— У черемисов, чувашей, у вотяков, у вогулов<sup>2</sup>.

— А мы и не слыхивали здесь про таких.— Массальский стегнул по колену перчаткой.— Сами о себе от иноземца должны узнавать. Эх!

— А я, представьте, иностранцем себя уже никак не ощущаю. Словно домой в Санкт-Петербург возвратился.

— Это верно, душой вы наш. Я так сразу заметил... Значит, отыскиали в Сибири мадьярских родичей?

— На Северном Урале,— мягко уточнил Регули.

— И в самом деле похожи языки?

— Похожи. Я словари составил. Таблицы сравнительные.

— Поразительно! — Массальский задумался.— А верно, что ваш язык ни на какой другой не похож? От всех соседей коренным образом отличается? — Корпет поклонился к собеседнику. Он и сам не понимал, чем и как пленил обычно холодное и поверхностное общество этот невзрачный, но как-то сразу полюбившийся молодой человек. Конечно же не открытием своим и не словарями неведомых миру народов. Подкрепляется легенда о том, что предки мадьяров — чуть ли не сами гунны — действительно пришли в римскую Паннонию откуда-то из далекой Азии? Ну так что с того? Кому дело есть до неве-

---

<sup>1</sup> Проклятье (*фр.*).

<sup>2</sup> Народности финно-угорской группы, жившие на территории России.



домых гушпов и до венгров самих, хоть и посят все гусары Европы мундир по их образцу. Нет, учеными открытиями свет не удивишь. От науки разве что не зевают.

Массальский затаенно прозревал, что разгадка внезапного, сногшибательного успеха, выпавшего на долю скромного ученого, играючи изучившего столько языков — шведский, финский, лапландский, не говоря уж о русском, — скрывается в глубинах души, ответственных за самое лучшее в человеке: жертвенность, патриотизм, идеальное стремление к высшей цели.

— Позвольте расцеловать вас. — Украдкой метнув взгляд по сторонам — нет ли знакомых поблизости, — Павлуша раскрыл объятия. — Какой вы, однако, молодец!

— Ну почему? Почему молодец?! — вновь запротестовал венгр. — За что меня хвалят и благодарят, если никто толком не знает об истинном значении моих исследований. Ведь в Европе, поверьте, о загадочных вогулах абсолютно ничего неизвестно. И никому дела до них нет! — Бурно жестикулируя, Регули все повышал и повышал голос. — Отчего же тогда все это?

— А вы не задумывайтесь, — посоветовал Массальский. Заметив на углу мальчишку-газетчика, корнет ткнул кучера и бросил медяк. — Прошу вас. — Проглядев «Journal de Saint-Petersbourg», выходящую по-французски, нашел набранные петитом скудные строчки: — «Регули провел около восьми месяцев в краю между Обью и Печорой и, странствуя между тамошними инородцами, коих он изучал язык и нравы, записывая все, что слышал, и отмечая направление рек и гор, он успел приобрести весьма подробные сведения о местной географии...» Однако, — недоуменно развел руками, — не упомяну случая, чтобы ученый муж великосветской хроники удостоился... Трогай!

— Куда мы, собственно, едем? — спохватился Регули.

— К нам, в собрание. — Тронутые пушком щеки кор-

нета горделиво заалели.— Товарищи обед в вашу честь дают.

И все, что Антал Регули пережил на обратном пути в Казани и первопрестольной столице, с устрашающим преувеличением повторилось на берегах Невы: банкеты, сопровождаемые победными залпами посеребренных горлышек, обильные обеды в четырнадцать и более перемени, поначалу невинные фэйф-о-клоки, перетекавшие в дружескую попойку с выездом к цыганам, удалые тройки, лодочные поездки на острова. Неделя пролетела незаметно. В синем пламени жженки, парах токайского и клико бедный Регули окончательно перестал отличать чисто светские увеселения от деловых встреч. Триумфальный доклад в географическом обществе, закончившийся, разумеется, торжественным ужином, и обстоятельная учепная беседа в Академии наук промелькнули как случайные, малозначительные эпизоды.

И, видит бог, все выходило непреднамеренно, а как бы само собой, повинувшись то ли капризу судьбы, то ли стихийному поветрию, захлестнувшему под самый конец того незабвенного лета чуть ли не все европейские столицы.

Не подвернись вовремя Регули, общество изыскало бы иной центр кристаллизации. Да и то сказать: общество! Большая часть его так ничего и не узнала о мадьярском изыскателе. «Журналь»-то о нем петитом дала, а на прочие газеты, где появились подробные отчеты со скучным перечислением географических пунктов, должное внимание обращено не было. Вскоре товарищи по полку уже трунили над Павлушей за его пристрастие к собирателю инородческих языков, но длилось, длилось лихорадочное веселье, словно навязанное извне то ли томительными закатами необычно жаркого августа, то ли опасливым ожиданием подступающих, как вода к мерным вешкам, пикому неведомых перемен.

От столь непривычной жизни венгр скоро устал и пачал чахнуть. Запершись в своем номере на Большой Морской, он махнул на все рукою и залег в постель, решительно отказывал хлебосольным визитерам. Лекарство, выписанное модным лекарем-немцем, помогло слабо. Откашлявшись поутру, Регули опасливо промокал сложенным платочком губы. Крови, как то случилось в Березове, слава богу, не замечалось, но симптомы настораживали: жар ознобом сменялся, а к полудню изнеможение одолевало. Не отпускал Север, мстил за похищенную тайну.

## 6

Под вздохи протяжных органов обращались дуги небесных сфер. Пришел в свой черед Козерог, и виффлеемские звезды запылали на разукрашенных елках. В брызгах бенгальского огня, не щадя ни вины, ни римских свечей, беззаботно плясала Еврона.

Исполнился горделивый и дерзкий завет: «*Austria erit in orbe ultima*»<sup>1</sup>. Императорский и королевский аностолический штандарт, белый, как Христова невеста, отечески осенял веселящиеся столицы. Дули теплые ветры с Атлантики, падал тихий, ласковый снег. Вновь на землю пришла зима, и опять бились в монотонной раскачке колокольные языки, но люди уже прониклись надеждами на лучшее и не хотели помнить о прошлогодних тревогах. В церкви Августинцев, где в проходе меж скамьями красовалась мраморная гробница королевы Христины, изваянная Кановой, служил сам венский архиепископ. Фердинанд с императрицей едва не прослезились. Придворные, не поделившие престижные резные

---

<sup>1</sup> «Австрия будет на краю мира» (лат.).







кресла, больше похожие на готические башни, бросали друг на друга уничижительные взоры. Два врага — Меттерних и Коловрат — рассеянно внимали словам мессы: «Et incaratus est»<sup>1</sup>. Постепенно успокаиваясь после недавней схватки — по роковому недоразумению привилегированных мест оказалось меньше, чем нужно, — мистры, камергеры, генералы и обер-камер-фрейлины настраивались на вечное, непреходящее, утешительное. Не хватало сердца, чтобы вместить всю чистоту и прелесть грядущего таинства. Преодолевая суетное, благодетное эхо ширилось по вселенной. Расходилось триумфальными волнами вокруг Вены, пробуждая ангельские голосочки прилизанных мальчиков в черно-белых нарядах на хорах бесчисленных костелов империи. Перекрывая мирскую неразбериху разноплеменной речи, сопровождала ход светил торжественная латынь. Казалось, незримый ангел циркулировал, как неустанный фельдъегерь, между Хофбургом и Ватиканом, притихшим по случаю болезни великого понтифика. И над пищими полями униженной Галиции, и над Дунаем, меж Будой и Пештом, и даже над Старым мястом богемской столицы тоже витал латиноязычный Серафим. Впрочем, именно там, в изначально крамольной Праге, столь близкой надломленной душе нынешнего монарха, горный зов едва ли звучал достаточно внятно. Город, где в узких улочках гетто запутались тени императора Рудольфа и волшебника Лёва<sup>2</sup>, не сверяясь ни с Римом, ни с Веной, прислушивался к бою собственных часов на ратушной башне. Круг за кругом обходили стрелки зодиакальный диск, вызванивали молоточки, лики апостолов чинно сменяли друг друга, неся неусыпную стражу. А внутри круговрацались зубчатые колесики, соскакивали, срабатывая, хитроумные рычаж-

---

<sup>1</sup> «И вочеловечился» (лат.).

<sup>2</sup> По чешскому преданию, творец глиняного человека Голема.



ки. И вдруг костлявая рука самой смерти — верховной владычицы — принималась трясти неподкупным своим колоколем. Что перед этим свирепым трезвоном рождественский благовест? Ни кирха, ни костел у Лореты, ни колоколья православной церквушки, исчислявшей праздники по византийскому календарю, не смогли заглушить игрушечного с виду звоночка. Толпы пражан и приезжих гостей собирались на площади и, затаив дыхание, устремляли встревоженный взгляд на костяк справа от каббалистического щита циферблата.

Не трубным гласом брал в полон этот город чуткие души, но сокровенным молчанием. Одним оно сулило безотчетный страх и слепую ярость, других зачаровывало вечной скорбью надгробных плит Юзефова. Листами партитуры раскрывались врата и башни. Безмолвно трубили, читая тайные ноты, химеры собора святого Вита. Рядами клавиш мелькали колоннады и лестницы. И были, как скрипки, стрельчатые арки, и были, как флейты, колючие шпильки. Математически чистой, холодной, прозрачной мнилась музыка порталов и площадей. Она длилась веками, как заколдованный сон.

Пусть все это так, но что нам за дело до этого города, опушенного нежным рождественским снегом? Возможно, Пешт рядом с ним простоват и незатейлив, как крестьянин, заглядевшийся на чужую ярмарку. Но наше место именно там, где боль и тревоги мира приютились в убогом чулане под лестницей. Такое бывает на переломе эпох, когда век избирает себе подходящее ложе. Разве хлев, куда за звездой Вифлеема спешили волхвы, не казался убогим? А нимбы горели...

Они и ныне сверкают неистовой позолотой на темных фигурах моста. Но не в Пеште — мост через Дунай еще не построен, и вообще он будет цепным, под стать инженерному гению века — в Праге. Мы не вольны расстаться с ее площадями, с тесно пригнанной серой брусчаткой,

светящейся ночью, как сине-зеленая рыба. Затапулось прощанье. Пора повесить жестяный венок у костра Яна Гуса. Он давно отгорел, и эпоха, корчась, как меняющая кожу змея, намечает новые возлюбленные жертвы.

Века не признают государственных границ, тем более что Прага и Пешт лежат в границах единой империи — под черным двуглавым орлом. И вообще далеко за пределы надменного клича о габсбургском «крае мира» разносится требовательный клетот колокольчика, которому, как послушные школяры, внимают даже великие мира сего: императоры, короли, духовные и светские владельцы князья. Смерть не делится властью ни с кем. Напоминая о неизбежном, призывая задуматься о неминуемом и сберечь до конца человечность, не умолкает колокольчик ни днем, ни ночью, и в радости, и в горе продолжает звенеть в ушах.

Что уготовил Козерог, Зверь двенадцатого часа, великим и малым? По ком пророчески скорбит колокольчик в тисках фаланг? Может быть, в том и заключается сирая радость земной юдоли, что заглянуть в грядущее не дано.

Вся в поминальных камешках гробница рабби Лёва, почерпела амальгама на вещих зеркалах мятежного императора Рудольфа, покровителя тайных наук, и лишь лепеты неразборчивые исходят от стен и мостов. Где теперь они, открыватели судеб, прорицатели, маги, оживлявшие глиняных истуканов, ясновидящие кармелитки, изнемогшие от вериг подневольной девственности? Где все, там и они.

Поэтому не надо ни спрашивать, ни гадать, ни всматриваться. Одному скелет песочные часы перевернет, другому ласково колыбельку покачает. Доверимся же мудрости оставшихся лет, и да будет наградой для нас печальная радость.

Порой даже поэтам, избранникам, отмеченным высшим клеймом страдания, жизнь дарует безмятежные

мгновенья. Страдалец, изгой, замерзающий нищий, капдальник в армейском белье — было ль все это? Память помнит, а душа позабыла. Все плохое подернулось пеленой, заволокло туманом, в радужном луче воспоминания высвечиваются островки радости, а над обыденным сумраком танцует алмазная пыль.

Недаром Петефи родился под Новый год. Для него Сильвестрова ночь — двойной праздник. Душа взрослеет и обновляется, набирается мудрости и молодеет. Воистину баловень случая. Била его жизнь, как могла, мытарила, на обрыв загоняла, а вот, поди же, какой крутой поворот. Разве Петефи не любимец читающей публики? Это имя у всех на устах. Студенты устраивают в честь дорогого поэта факельные шествия, а дамы бросают к ногам цветы. Редактор Вахот, хоть крейцеров за стихи не набавляет, но регулярно помещает в журнале отчеты о том, как чествуют поклонники своего кумира, какие совершают безумства.

Безумств, впрочем, особых не замечено. Десяток факелов и скрипка в ночи — еще не безумство. Всего лишь дань мадьярскому темпераменту. Такая же пештская обыденность, как кошачьи концерты перед окнами Сечени или коленопреклоненная толпа под балконом Кошута. Но так ли? Не обманываешь себя, поэт? Там, у балкона, где стоял бледный, как алебастр, Кошут, венгры, словно целуя край знамени, припали коленом к земле. Это не ночная клака, купленная за бочонок вина редактором Вахотом. Слава Кошута — дань нации своему любимцу, слава поэта — капитал для издателя. Петефи далек от зависти. Он глубоко уважает Кошута, хоть и не одобряет его благоразумной умеренности. Но от сомнений никуда не денешься. Недаром близкие люди, которым нельзя не верить, — Француз, Мор Йокаи, Орлаи, сам Вёрёшмарти, наконец, говорят, что Вахот курит фи-миам только богу наживы. Неумеренной лестью, деше-

выми церемониями он оторвал поэта от искренних почитателей, изолировал от издателей и хочет теперь рассорить с друзьями. Правда ли это?

Если правда, то тогда вся его, Петефи, известность дугая. Она существует лишь в одурманенном воображении да в хронике «Пешти диватлап». Нет, быть того не может. Его песни поют на гуляньях, его озорные стихи читают, надрываясь от хохота, в кабачках Дебрецена, Буды и Пешта. На Тисе, в тихих домиках у Балатона жгут допоздна свечи, читая «Сударя Глотку», «Флакон с чернилами». В университетских коридорах спорят о «Чоконай» и «Дядюшке Пале», распространяют в списках запрещенную цензурой «Легенду». Это ли не признание? Его изданную на пожертвования «Национального круга» первую в жизни книгу Вёрёшмарти причислил к вершинам поэзии. Он в центре жизни, на гребне волны, в гуще схватки... Он не ведает золотой середины. Бросаясь из крайности в крайность, от безысходного отчаянья к ликующей надежде, лихорадочно торопит время, в жарком воображении предвосхищает поступки и чувства.

Благословенный год, стократ благословенны упования. Сплывестрова ночь не обманет, суля высшую радость. Но только не думать об этом, дабы не испугнуть ревнивую удачу, не ограбить реальность слишком пылким воображением.

Горбясь в чулапе с низким косым потолком, он распахивает окошко, остужая распаленную голову. Снежинка — чудо совершенства о шести разветвленных лучах — упала на стопку неразрезанных книг и, долго не тая, мерцала в сумеречной синеве.

Первый сборник! Первая ласточка, улетевшая в вольный полет. А рядом — на венском стуле — и первый в жизни костюм, сшитый добрым пештским мастером Гашнаром Тотом.

Петефи снимает со спинки одежды, раскладывает на постели, заваленной рулонами корректуры, листами с беглыми строчками новых стихов. Руки, которые только что ласкающе коснулись перевязанной бечевой стопки, бережно трогают темно-зеленый ментик, отороченный мехом, расшитый бронзовым сутажом. Впервые в жизни по собственному вкусу, не с чужого плеча, не по милости добрых людей. Бедный поэт, как он еще самоубийственно молод! Не может налюбоваться ни на книжку, ни на свой гардероб. Сам не знает, что его радует больше. Наверное, все же одежды, и именно сегодня, в судьбопосную Сильвестрову ночь.

Стеклянную с узорной решеткой дверь отворила она, его Этелька. Дыхание перехватило, когда он глянул в большие, темные от тревоги глаза. Взмолванная, раскраспевшаяся, в хрустящем баражевом платье, тонко веявшем вербею, она так ждала его пынче, так любила.

Они искали друг друга глазами среди веселых и шумных гостей, светились, сгорали, мучаясь дурными предчувствиями, заранее страдая от неведомых бед. Еще ничего не раскрыв, как они были настороже, как боялись разъединить свои руки в накатившей душевной волне. Била дрожь, тоска сменялась блаженством, и не спасала улыбка от папыва слез.

Что знал о любви молчаливый, ушедший в себя юноша, хмелевший от взгляда, прикосновения, от всевластного запаха свежести и вербены? Что знала о пей эта хрупкая куколка, едва опередившая годами Джульетту, летавшая из кухни в гостиную на подгибающихся ногах?

Они знали все, что нужно для счастья. И не было никаких препятствий, способных им помешать.

Поэт живет, предвосхищая ощущения, в нетерпении любви опережает самое любовь. Стремясь к любви чуть

ли не с детства, за что был пещадно порот отцом, Петефи жадно ждал ее высот и смело откликался на каждый зов. Ни болезненный и нежный вместе с тем опыт первых увлечений, ни случайные ласки, подаренные сердобольной товаркой по актерскому ремеслу, не пресекали его устремлений. Отуманенный непреходящей влюбленностью, он рвался измерить любые высоты и бездны, ибо нет для поэта выше истин, чем смерть и любовь.

Сцена, поэзия, революция и единственная мерцающая в мечтах женщина, способная безоглядно взлететь за тобой в пронизанные стрелами солнца небеса,— что еще нужно поэту? Ради этого стоит жить, с ветром нестись навстречу клубящимся тучам, расколотым извилистой искрой. Ему рисовался туманно прекраснейший облик и душа, способная объять горизонты поэзии — пока только так,— а не жестокие контуры мира. В любой прелестной незнакомке он готов был увидеть ее, единственную. И потому Сильвестрова ночь уготовила ему воистину редчайший дар — прелестную девочку, словно сошедшую со страниц древних сказаний, угаданную им самим в «Витязе Япоше», как с легкой руки патрона стал называться «Янчи Кукуруза».

Неразбуженная, кроткая, нежная, эта девочка и сама по первому зову полетела навстречу мечте. Они оба могли лепить друг друга по своему образу и подобию, слив влюбленность воображений в первой большой любви.

Случай слепо бросает кости, но иногда щедрость его ослепительно беспредельна...

Из кухни долетал умопомрачительный дух запеченного мяса, дичи, паприки, чеснока. Скворчали жирные колбаски на раскаленных противнях, кипели красные от перца гуляши из вепря и балатонской рыбы, булькал в огромной кастрюле сдобренный гвоздикой, ванилью, мускатным орехом опьяляющий глинтвейн.



Разомлев от тепла, от духов, от улыбок милых и близких людей, гости нетерпеливо поглядывали на дверь. Звон посуды, столового серебра и дразнящие ароматы вкусного угощения настраивали на веселый, чуть легкомысленный лад.

Михай Вёрёшмарти, пришедший с женой и перазлучным Байзой, вышучивал молодых поэтов. Но если Шандор Вахот отвечал ему остроумной шуткой или непринужденным смехом, то Петефи большей частью угрюмо молчал. Казалось, он едва замечает происходящее, поглощенный тайной и безысходной бедой. Но все знали, что причин для скорби у него, слава богу, нет, и манера его теряться и уходить в себя в присутствии молодых и красивых женщин тоже была известна. Речь, обычно живая, яркая, становилась в такие минуты скованной и принужденной. Лишь с трудом проникаясь общим настроением, он оттаивал и присоединялся к беседе.

Ныне же он был настолько полон упоительным вихрем, уносившим его и ее, что и вправду не слышал обращенных к нему слов. Не смеялся, не отвечал на вопросы, а если и пытался ответить, то, как правило, невпопад.

Шандор Вахот, догадываясь, что происходит с другом, лишь подмигивал Вёрёшмарти, когда возникала очередная неловкость, и красноречиво кивал на прелестную свояченицу. Великий поэт прятал в усы улыбку и, переглянувшись с женой, ронял, словно невзначай, игривое замечание.

Электрическая аура Сильвестровой ночи пронизывала людей, собравшихся встретить чудеснейший праздник в круговороте года. Одни любили, другие грелись возле чужой любви. И падал снег за вымытыми до блеска окнами, и жарко дышал налитый вишневым накалом изразцовый голландский камин.

Горячий глинтвейн крепко ударил в голову, негой разлился по жилам и развязал языки. Даже Петефи риск-

пул обменяться с Этелькой ничего не значащей фразой о погоде, снежинках и звездочках на небесах.

Рубиновое вино в граненом кубке бросало на фарфоровую глазурь густую прозрачную тень. Шелестело, волнующая, платье Этельки. Рокотал несмолкающий бас Вёрёшмарти, и пламя свечей колыхалось, когда вспыхивал дружный смех. Не верьте блуждающему взгляду любимца муз — он сосредоточен, не верьте его молчанию — оно красноречиво. «Ведь мы с тобою до сих пор так мало говорили, лишь иногда твой быстрый взгляд мои глаза ловили. Когда я дом ваш посещал, ты сразу убегала, но знаю — ты сквозь дверь тайком за мною наблюдала». Она и сейчас следила за ним украдкой, ласкала его быстрыми взглядами растревоженных глаз, потемневших, как небо в преддверии снегопада.

Разговор зашел, по обыкновению, о поэзии, и Петефи, вначале не очень охотно, но все более оживляясь, вовлекся в спор.

— Исконно венгерские стихи и песни силлабичны по самой природе, — говорил Байза, прикладываясь к мундштуку из гусяного пера. — Долгие и краткие гласные позволяют, конечно, вводить метр, но при этом метрическое ударение часто не совпадает с естественным и это, скажу откровенно, немного раздражает меня в новейшей поэзии.

— Силлабизм и ассонансы вам, значит, не нравятся?! — горячо наступал на него Шандор Вахот.

— Я так не говорил! — выставив раскрытую ладонь, отмежевывался от напраслины Байза и сердито попыхивал чубуком. — Но, пусть это старомодно, мне нравятся чистые рифмы.

— Венгерский беден ими сравнительно с другими европейскими языками, — дипломатично заметил Вёрёшмарти.

— На то есть своя причина, — включился в разговор Петефи, овладевший за истекший год еще и англий-

ским.— В других языках слова сохраняют при синтаксических изменениях основную форму, а у нас они обрастают, как снежный ком, флексиями.

— От повтора флексий хорошей рифмы не жди,— заключил Шандор Вахот и торжествующе взглянул на Байзу.— Неужели вам не противны литературные пигмеи, ополчившиеся на Петефи за его ассонансы?

— Дело не только в ассонансах, мой друг,— покачал головой Вёрёшмарти.— Но это особый разговор, не для по pogodного праздника... И дамы, видишь, у нас заскучали. Поговорим лучше о лошадях, о борзых, которых так любят в Венгрии.— Он лукаво прищурился.— Это будет беседа как раз для дам.

Сестры и мадам Вёрёшмарти вежливо посмеялись избитой шутке, но Шандор Вахот, стараясь расшевелить друга, упрямо вернулся к тонкостям венгерской поэзии.

— В последнем выпуске «Хондерю» Кути опять обрушился на ассонансы.

— Салонный шут,— презрительно усмехнулся Петефи.— Эти господа не имеют ни малейшего представления о характере венгерских рифм и размеров. Они ищут в наших стихах латинскую метрику и немецкие каденции, а у меня их нет! Я и не хочу, чтобы они там были!.. Именно там, где я более всего приближаюсь к совершенству, к подлинно народной форме, всякие Кути усматривают пренебрежение размером и рифмой. Заблуждение!

— Скорее злопамеренная ложь,— подлил масла в огонь Шандор Вахот.

— Ну будет вам,— остановила его жена.— Обратите свое внимание на нас... Разве мы его не заслуживаем? — Обняв сестру за плечи, она с шутливым вызовом вскинула головку.

— Ей-богу, она права! — Байза ударил себя по колену.

— За прелестных дам,— поднял кубок Вёрёшмарти.

Незаметно приблизилась полночь, и с последним ударом часов были выпиты последние капли глинтвейна. На счастье, чтобы не изменяла удача в наступившем году.

Затем, по народному обычаю, принялись за гаданье.

Опустили в шляпу вырезанные из бумаги рождественские звезды, на которых были заранее написаны имена всех присутствующих и пожелания на будущее — порой стихотворные строфы, порой крылатые изречения великих людей. Так с давних пор пытали судьбу в венгерских деревнях, так узнавали парни и девушки будущих паренных.

Случай слепо бросает кости, но выдаются часы, когда милость фортуны кажется осмысленной и неистощимой. Побледнев от волнения, Этелька храбро шагнула к столу и, прикусив губку, вытащила свою звезду. Ее тонкие пальчики задрожали, она едва не выронила узорчатую бумажку, но справилась с собой и, залившись румянцем, спрятала предсказание на груди.

Легким пером Петефи там было начертано:

Когда бы буквы те, что здесь тебе пишу я,  
Могли бы стать твоей судьбою роковой,  
Я бросил бы перо, хотя бы целым царством  
Платили щедро мне за каждый росчерк мой.

Пролетела, отблестала колдовская повогодняя ночь. Возвратившись под утро домой, Петефи в чем был, но раздеваясь, рухнул на постель. Потянувшись всем телом, ощутил сладостную, здоровую усталость и задремал, улыбаясь.

Его разбудил встревоженный Шандор Вахот.

— Что случилось? — спросил Петефи, с трудом разлепляя веки.

— Этелька потеряла звезду! — Не зная, горевать ему или смеяться, Шандор Вахот сокрушенно развел рука-

ми.— Она прямо в отчаянии. Обыскали весь дом — и никакого следа. Мы так и не ложились... Ты, случайно, не брал?

— Я? Разумеется нет!.. Но поспешим к вам. Я запишу стихотворение прямо в ее альбом.

— Да, я очень тебя прошу! Девочка слезами залива-ется. Говорит: дурная примета.

## 7

В самый разгар недомогания лакей поднес Анталу Регули на серебряном блюде конверт с имперским орлом. Временный поверенный в делах Австрии барон Мюнхгаузен с казенной вежливостью приглашал на обед в посольство к пяти часам с половиной. Еще раз взглянув на подпись, Регули улыбнулся, готовый принять письмо за остроумный, не слишком, правда, розыгрыш. Но если имя поверенного и настраивало на определенный лад, то сургучная печать и водяной знак на бумаге места для шуток не оставляли.

Не надумав, что ответить, Регули отослал лакея и принялся размышлять. Впервые за все годы, проведенные Анталом в России, посольство удосужилось обратить на него внимание. Очевидно, статьи в печати и толки в обществе дошли наконец и до этого господина со столь компрометантной фамилией. Что ж, Регули знаменит теперь на весь свет и прежде всего на дорогой родине, где соотечественники, чей след во тьме истории он удостоился отыскать, повторяют его имя с благоговением. Но он болен, измотан, разбит и с удовольствием откажет высокомерным и, наверное, пустым господам из посольства. Почему они вспомнили о нем именно теперь, когда он милостью великодушных хозяев ни в чем не нуждается? Не два года назад, когда он метался из банка в

почтамт, напрасно ожидая ассигнованную академией тысячу форинтов. Эти деньги, не окупившие и половины затрат, пришли только теперь, и от них уже практически нету прока. Но ранее посольство почему-то молчало. Венские франты, надо полагать, и слышать не хотели о каком-то там мадьярском докторе, загоревшемся идеей отыскать далеких предков своего гордого и униженного народа.

Остыв от страстей, Регули позвонил в колокольчик и велел срочно отвезти в посольство визитную карточку, затем спросил теплой воды для умывания. Преодолев неверный соблазн первого побуждения, он решился поехать.

— На Дворцовую набережную, — подозвал ямщика, запахивая пелерину. — Но только не шибко, пожалуйста, — добавил и, сунув под мышку трость, вскочил на подножку. — Дом австрийского посла знаешь? — поинтересовался, проезжая по залитой предзакатным огнем Миллионной.

— Кто же его не знает? — отозвался ямщик, прихлопнув ладонью двурогуемую шапку. — Эх, печистая сила! Н-но, залетная!

Бирюзовый особняк с алебастровой лепниной на фронтоне, выходящий парадным подъездом на Дворцовую набережную, слыл в Санкт-Петербурге таинственным. Самое название его — австрийский, или, как выговаривала окрестная дворня, «апстрихский», созвучное с Антихристом, внушало суеверный страх. Недаром в табельные дни, когда брыластый, вечно хмурый швейцар появлялся на улице укрепить на флагштоке желтое полотнище с черным и чуждым каким-то двуглавым орлом, старушки, частя, осеняли себя крестным знаменем, а соседский, принцев Ольденбургских, кучер так откровенно плевался:

— Аки сера адская! Тьфу на них, пакость...



Ветеран Аустерлица, смолоду невзлюбивший цесарцев и их черно-желтый штандарт, пускал витиеватую матерщину и, дыша деликатным букетом хозяйских випных погребов, презрительно отворачивался, замирая на козлах.

Несмотря на экстерриториальность, дом, построенный прославленным Джакомо Кваренги, осенял герб Салтыковых с княжеской короной над трофеем щита. И вообще почти ничего не изменилось во внешнем облике дворца и окружающей его перспективе. Разве что деревья на Марсовом поле стали повыше, да на эполетах парадирующей лейб-гвардии монограмма АІ давно сменилась на НІ. Всего лишь одна литера, а уже другая эпоха, новое поколение, совсем иной дух.

А для глаза дворец был куда как хорош. Открытый балкон с гранитными балясинами и узорной решеткой каслинского литья глядел на Неву, расцвеченную по случаю жаркого, безмятежного лета пестрыми флажками парусников и дымящих высокотрубных пироскафов. Прямо над входом приветливо скалилась львиная морда с кольцом в улыбчивой пасти и весело играли отраженным многоцветьем чистые, разделенные на восемь частей окна. На набережную дом выходил четырьмя этажами, на Марсово поле — тремя, а параллельно дворцу Ольденбургских крыло было всего о двух. Для карет и колясок на узкой мостовой места обычно недоставало, потому со стороны Невы прямо к дому подкатывали лишь особы высокого, порой высочайшего ранга, а все прочие въезжали в ворота и, обогнув двор, останавливались у подъезда. Высадив господ, кучера незамедлительно сворачивали на Марсово поле, где и ожидали, кто в приятной беседе, кто в сонной одуре, разъезда. И никому, кроме бдительного урядника, отмечавшего, на всякий случай, незнакомых визитеров, не было в них нужды. В летнюю пору кучера разогревались водкой, а зимой в добавление жгли костры, бросавшие зловещие отсветы на окна лич-

ного кабинета его превосходительства посла союзной державы.

Вот, собственно, и все касательно особенностей дворца. Остальное — порождение слухов, ибо дома, как и люди, бывают отмечены неизгладимой печатью молвы. Глухие стены, винтовые лестницы и скрипучие половицы словно впитывают в себя шепот, мельканье огней, звон хрусталя или звон оружия, чтобы на века сохранить таинственную эманацию, которой до скончания лет питаются тени. Впрочем, тени — вздор, хоть и кинулась просвещенная Европа в упоительный до жути омут столотворения. Повторялась, по уже как фарс, как пустое недомогание после серьезного недуга, лихорадочная одурь, овладевшая миром в канун великой революции...

Поразительные пророчества, вещие стуки и прочие явления медиумизма — это было уже не для серьезных умов. Сороковые годы девятнадцатого века ознаменовались триумфом разума, бесповоротно сбросившего последние путы феодальных предрассудков. Железнодорожные рельсы и телеграфные провода, побеждая пространство и время, обещали, того и гляди, связать народы и племена в единую семью. Дымящие пароходы бросали вызов океанским течениям и ветрам, а посеребренная пластинка Дагера, запечатлев преходящий облик, остановила — подумать страшно! — в никуда утекающий миг. Вооружившись съёмочной камерой, какой-то смельчак взлетел на монгольфьере над аспидными крышами Парижа и, присвоив себе прерогативы бога-отца, явил изумленной публике застывшее мгновение быстротекущей жизни великого города. Это ли не триумф разума! Взлет гения, пред коим молчаливо отступила пристыженная природа.

И все же, чем ярче свет, тем крошечнее убежище мрака. Неизжитое, смущающее дух почное сознание отступило в сумрак галерей, секретных переходов, уединенных кабинетов с резными попитрами для пожелтевших

фюлиантов. Пыланье стеариновых свечей в золоченых шандалах, кенкетах и бра, хмельные вихри мазурок и вальсов не отняли вѣщей памяти у старых, все видевших стен. Так сохраняет потемневший флакон, сколько ни отмывай, властный аромат давным-давно высохших эссенций, и мимолетное веяние их пробуждает воспомина- ния. О чем, однако? Память памяти рознь. Есть память о бывшем, а есть и о мнимом, наваянном больше злоязы- чием и пустой болтовней. Бирюзовому дворцу в этом от- ношении повезло. Своей таинственной славой он был обя- зан случайному выбору гения. Быть может, капризу.

Едва представил на суд читателя «Пиковую даму» Александр Пушкин, как в обществе стали усиленно искать прототипов. Нащокин, которому читал повесть сам автор, где-то проговорился, будто старая графиня — не кто иная, как Наталья Петровна Голицына, мать Дмитрия Владимировича, московского генерал-губернатора. Внук ее якобы поведал Александру Сергеевичу о том, как про- игрался однажды крупно и бросился к бабке на поклон, но вместо денег получил три верные карты, назначенные ей в Париже де Сен-Жерменом. Так это или не так — многие узнавали в старухе не Голицыну, а Загряж- скую, — но в дневнике Пушкина есть весьма характерная запись: «Моя «Пиковая дама» в большой моде. Игроки понттируют па тройку, семерку и туза».

Не удивительно, что при подобном умонастроении ле- генда пустила цепкие корни и ныне, спустя почти десять лет после трагической смерти поэта, обрела зримые при- меты были.

К ним стали с некоторых пор причислять и дом Сал- тыковых, который еще в двадцатых годах арендовало для себя посольство его апостольского величества Фран- ца, предшественника нынешнего Фердинанда Первого. Расположение покоев, лестницы, переходы в посольском дворце разительно напоминали описанное в «Пиковой

даме». Повторяя на раутах начало пути несчастного Германна, гости посла вновь и вновь убеждались в том, что, по крайней мере, сам Пушкин не раз взбегал по мраморным этим ступеням и стремительно пересекал узпаваемую анфиладу парадных комнат.

Да и не мудрено. С Дарьей Федоровной, женой тогдашнего австрийского посла Фикельмона, поэта связывали узы нежнейшей дружбы. Недаром все еще прекрасная Долли, пережившая и великого друга, и свой судьбоносный расцвет, продолжала, уже вдали от России, хранить благодарную память о родном Петербурге, о приключениях, всегда неожиданных, очаровательных, милых.

Нынешней посольше, будь она не заурядной дурнушкой, а даже красавицей, вроде Долли, и в страшном сне не могло бы привидеться, что русский государь, запахнувшись плащом, проскользнет с внутреннего подъезда прямо в сеамарантовый кабинет. А вот поди, в прежнее царствование подобная *escarade*<sup>1</sup> была возможна. Александр Павлович хаживал к генерал-майорше Хитрово, матушке Долли, и часами засиживался в милом ему семействе. И письма писал нежные, и цветы посылал.

Но бог с ним, со всем прежним. Капули в Лету глухие пересуды о загадочном исчезновении государя-победоносца, забылась и молва о галантных проказах Дарьи Федоровны Фикельмон. А ведь и нынешняя государыня, тогда молодая, проказливая, инкогнито проникала в покои Долли, чтобы, торопливо переодевшись в бальное платье и сорвав полумаску, скользнуть, замирая от тайного наслаждения, в вереницу галопа или какого-нибудь там попури, навстречу удивленному Николаю.

Ах, что было, то забылось, быльем поросло. Иных друзей Дарьи Федоровны уж нет, а те далече: кто в сибирь

---

<sup>1</sup> Проказа, шалость (фр.).

ских острогах, а кто добывает хлеб свой в поте лица своего на чужбине.

Сам Шарль-Луи, или Карл-Людвиг на немецкий лад, граф Фикельмон пребывает в настоящий момент в Риме, святом граде, где собрался конклав кардиналов для выбора нового наместника господ бога на грешной земле. Несмотря на чин фельдмаршал-лейтенанта, старый граф не очень продвинулся в карьере. Помешало неистребимое русофильство и аристократический либерализм. Канцлер Меттерних, хоть и доверил ему однажды замещать себя на время болезни, недолюбливает Фикельмона. А коли так, прощай мечты о канцлерской орленой портфели, а вместо блестящего, первого в мире двора — возвращение на круги своя. Опять кровоточащая, разорванная на куски Италия, интриги, иезуиты, карбонарии, коварство и лицемерие англичан. Добро бы хоть настоящее дело, а то так, второстепенные дипломатические поручения, изматывающие поездки, приевшиеся споры, дебри ватиканской политики.

Собственно, в связи с ней, точнее, с выборами папы, отозвали в Вену для консультаций и нынешнего хозяина салтыковского особняка. Весь штат посольства поэтому составляли барон фон Мюнхгаузен-ауф-Боденвердер и первый секретарь отец Бальдур. Все политические дела вершил, разумеется, секретарь, потому что, в отличие от своего прославленного предка, барон боялся любой инициативы, был начисто лишен воображения и, знай себе, гонял фельдъегерей на согласование в Вену. И мудро поступал, ибо бездеятельность ненаказуема и является лучшим свидетельством благонамеренности.

Барон встречал гостя на площадке, где сходились дуги парадной лестницы. В большом зеркале, обрамленном белым багетом, предательски посверкивала тщательно зачесанная лысина на затылке. Светлый вестибюль с дорическими колоннами повеял на Регули леденящей про-

хладой. Бросив лакею пелерину и трость, Аптал перепроизвольно поежился и с искательной, неосознанной улыбкой стал подниматься.

Барон и шагу навстречу не сделал. Опершись рукой о кованные перила с узорными завитушками, ждал монументом, без малейшего движения и улыбки. Одет был полуофициально: в безукоризненном фраке английского покроя, но без орденов.

Отдавая поклон, Регули неосторожно задел плечом о выступ пилястры, увенчанной коринфским ордером, и окончательно смешался. Лететь на оленях сквозь заснеженную пустыню и полярную ночь он не боялся, а перед начальством робел. Ненавидел себя за это, стыдился, но ничего поделать не мог.

Стол был сервирован на три прибора в угловой гостиной, где два окна гляделись в Неву с Петропавловской крепостью на противоположном берегу, а остальные — на Марсово поле. На подоконниках щедро цвели заведенные еще при Долли камелии, белые и розовые романтические цветы. Горел в последнем огне золоченый шпиль сурового Инженерного замка, беспокойно кружили вороны над кронами деревьев, уже тронутых желтизной.

Бесшумный лакей зажег свечи, поправил орхидеи в хрустальной мисе и, отступив к камину, запустил музыкальную шкатулку. Прерывистый звон бронзовых молоточков сложился в прозрачную мелодию Моцарта.

Барон предложил чубук, подвинул набитую табаком туфлю, но Аптал сослался на нездоровье и поспешил занять указанное кресло. Ощущая бархат спинки и надежную крепость подлокотников, сразу почувствовал себя ловчее.

Открылась неприметная дверь в обитой кретоном стене, и в гостиную проскользнул худощавый и несколько сутуловатый господин в лиловом доломане с нашитым знаком Мальтийского ордена на груди.



Представив первого секретаря, барон пригласил к столу.

Потрескивая и завиваясь копотью, острые язычки огня боролись с багровым сумраком, разливающимся из окон. Тускло мерцали алмазные грани стекла, тяжело блестело старинное серебро. От устриц, обложенных колотым льдом, пахло морем, нежно алели гарнированные перепелиными яйцами раковые шейки, посверкивала слезой вестфальская ветчина.

Отец Бальдур прочел короткую молитву. Лакей, обойдя по кругу, наполнил высокие рюмки рейнским вином.

Обедали молча, лишь изредка перебрасываясь ничего не значащими фразами. Первый тост был предложен für Kaiser<sup>1</sup>, потом подняли бокалы за отважного путешественника, а далее пили, чаще просто пригубливая, а *vousse santé, messieurs*<sup>2</sup>. Перемен было немного. За мейсенской голубой супницей с консоме дворецкий вкатил зажаренную серну и, жестом фокусника сорвав серебряные крышки, разложил по тарелкам дымящиеся каштаны и моченые яблоки. На десерт, по венгерскому распорядку, дали простой салат.

Обмакнув пальцы в розовую воду и смяв салфетки, гости барона проследовали в библиотеку, где уже кипела на спиртовке вода для чая, смешанного в Лондоне с бергамотовой отдушкой.

— Так расскажите нам о своем путешествии, дорогой Регули,— перешел к делу барон.— В самых общих чертах, разумеется,— и замолк, предоставив отцу Бальдуру вести беседу.

— Какова основная цель? — мягко поинтересовался первый секретарь.— Помимо чисто романтической мечты

---

<sup>1</sup> За императора (*нем.*).

<sup>2</sup> Ваше здоровье, господа (*фр.*).

найти гнездо, из которого Арпад увел в Гуннию наших воинственных предков.

Речь отца Бальдура лилась плавно, лицо оставалось безмятежным, и голову он держал прямо, но не заглядывал собеседнику в глаза, сосредоточив взгляд в одной точке, чуть ниже подбородка. Регули окончательно уверился в первоначальной мысли, что видит перед собой достойного ученика иезуитов, воспитанного в правилах скромности Игнация — древнего основателя могущественного тайного ордена. Еще за столом Антал заметил, что руки Бальдура не делают ни одного лишнего движения, и невольно позавидовал его ловкой изящной собранности.

— Задача, которую я поставил перед собой, более лингвистическая, нежели историческая, — тщательно продумав ответ, пояснил Регули. — Иначе я бы сразу нацелился на Монголию.

— Вы кончали, по-моему, по юридическому факультету?

— Так пожелал батюшка, но лингвистикой, историей, географией я занимался куда более прилежно, чем римским правом.

— Такая целеустремленность похвальна... Затем вы, кажется, учились в Германии, Дании, Швеции?

Регули молча поклонился, догадываясь, что неподвижно сидящий насупротив человек со сложенными на груди руками, бледными и тонкими, словно у виртуоза пианиста, успел собрать о нем самые подробные сведения.

— В Петербург прибыли из Финляндии?

— Совершенно справедливо. Я провел там почти два года, изучая язык. Поскольку в высших кругах говорят преимущественно по-шведски, мне пришлось поселиться в Лапландии, на самом севере. Должен признаться, что был поражен сходством венгерского языка с лапландским и финским. Это побудило меня продолжить исследо-

вания и отправиться дальше в Россию. Для выяснения положения венгерского языка в системе языков финно-угорской группы следовало сделать попытку проникнуть на Урал и в Зауралье, к загадочным вогулам.

— И вам это удалось,— констатировал барон.

— Тайнственная Обь,— проникновенно заметил иезуит.— Мистическая река... А скажите, господин Регули, вы советовались с кем-нибудь, я говорю о лицах, паделенных соответствующей властью, относительно ваших планов?

— Программу исследований я имел честь своевременно направить в Венгерскую академию наук, однако ответа долго не поступало. Я был в крайне затруднительном положении, и вообще экспедиция находилась под угрозой. Лишь благодаря материальной помощи она все же состоялась.

— Вам повезло. Сначала Балугьянский, затем господин тайный советник Бэр.— Бальдур на мгновение смежил ресницы.— Очень высокое и своевременное покровительство... Откуда у русских столь очевидный интерес к вашим планам?

— Естественный интерес ученых и патриотов заполнить еще одно белое пятно на карте родины.

— Без вас, господин Регули, это было бы невозможно?

— Возможно, разумеется, но Россия столь велика, а...

— ...а ваш энтузиазм столь неподделен,— подсказал иезуит,— что все устроилось к обоюдному удовольствию.

— Пожалуй, что так,— нехотя согласился Антал, ибо что-то не понравилось ему в словах собеседника.

— Очень интересно и достойно всемерной поддержки. Однако вернемся к сути... Начнем, пожалуй, с Перми.

— Я прибыл туда четырнадцатого ноября сорок третьего года и сразу же начал готовиться к поездке в Соликамск.

— Не проследить ли нам маршрут по карте? Ваше сиятельство,— Бальдур обратился к барону,— не соблаговолите ли послать кого-нибудь из атташе?

Барон отодвинул в сторону ароматно дымящуюся чашку, к которой не прикоснулся, и взял фарфоровый колокольчик.

— К сожалению, это никак невозможно,— остановил Регули.— В настоящий момент я не располагаю картой.

— Однако...— барон удивленно поднял брови.

— Все кроки и черновые наброски, ваше сиятельство,— пояснил Регули,— переданы мной географическому обществу. Работы над составлением подробной карты предположительно начнутся с осени.

— Преданному сыну отечества следовало бы распорядиться иначе,— попенял отец Бальдур.— Да и Рим интересуется новыми путями для распространения среди язычников апостольской веры. Смею надеяться, что вы не замедлите ознакомить нас с результатами своих исследований. Я бы рекомендовал начать составление легенды с собственного маршрута и показать отдельными условными знаками основные исторически сложившиеся пути.— Он выказал отменное знание предмета.— Через Уральские горы, в том числе перевалы Елецкий, Аранецкий, Щугорский и Вишерский. Само собой разумеется, что должно четко отбить и границы, разделяющие области, населенные языческими племенами.

— Почитая первейшим долгом соблюсти интересы отечества, я тем не менее не могу позволить себе и тени целояльности в отношении любезных хозяев.— Регули сознательно подпустил двусмысленности.— Как только карта будет готова, я поспешу представить ее в имперское посольство либо в другие учреждения по месту нахождения.

— Намереваетесь покинуть Петербург? — понял Бальдур.

— Состояние моего здоровья наводит на мысль о легочном курорте.— Регули пригладил виски, зачесанные по моде к уголкам глаз.— Думаю остановиться на Грефенберге.

— Отлично,— одобрил барон и поспешил раскрыть карты.— В Пеште климат для вас не совсем благоприятный. К тому же сепаратистски настроенные круги наверняка попытаются вовлечь вас в свою орбиту, сочтя подтверждение трансазиатской миграции за довод в пользу отторжения от Вены.

— Господин Регули наверняка не сочувствует столь пагубной идее,— с нажимом заметил отец Бальдур.

Антал согласно кивнул, хотя, как всякий венгерский патриот, он, разумеется, идее сочувствовал.

— Вот и превосходно,— отнюдь не заблуждаясь насчет его истинных воззрений, счел нужным покончить с щекотливой темой отец Бальдур и на всякий случай предостерег:— Венгрия нуждается в ответственно мыслящих людях... Что ж, поживите пока в Грефенберге.

Регули понял, что настал час откланяться, и, рассыпая банальные заверения в преданности, стал прощаться.

— *Alászolgá ja*<sup>1</sup>,— на безупречном мадьярском ответил ему Бальдур, давая, быть может, понять, что он тоже венгр и ему можно довериться вполне.

Барон, отличавшийся недалекостью, принял это за немецкое словосочетание *alle sollen geigen*<sup>2</sup>, что никак не вязалось с беседой и потому походило на некий пароль.

Как все-таки надо быть осторожным в разговоре, подумал он, провожая гостя до лестницы. Ученый мадьяр, кажется, путешественник и тот оказался на поверку тайным иезуитом... Неосознанная тревога сжала его пе-

---

<sup>1</sup> Ваш покорный слуга (венг.).

<sup>2</sup> Всем на скрипке играть (нем.).

злое, вечно опасавшееся коварных интриг сердце. А тут еще тень неясная в зеркале мелькнула: то ли старуха какая-то в напудренном парике, то ли безвременно посевшая девица без кровинки в лице.

Выйдя на набережную, Регули был приятно порадован лихо подкатившей коляской.

— Не мог не проститься с вами.— Беспечной улыбкой корнет Массальский поспешил прогнать невольную грусть.— Нынче вечером в дорогу дальнюю.

— И в какие края, если не секрет?

— В царство Польское, к князю Паскевичу...

## 8

В день святого Матьяша тропулся лед на Дунае. Проклюнулись студеные сипие лунки в мятущемся небе, и сырой запах весны ворвался в форточки пештских домов. На улице Зрини, куда переселился Сечени, новоиспеченный граф, вывесили цветные фонарики. Загорелись огоньки и на другом берегу — в Буде, мерцающими точками обозначив вершину Геллерт, башни старой крепости. Мост еще все пребывал в стадии проекта, и ничем не стесненная река медленно ворочала геометрически правильные плиты грязно-желтого льда.

Промозглый ветер обдувал фасады барочных домов на изгибе набережной. Но в заросших прошлогодним бурьяном переулках было тихо. Грустно сочился из занавешенных окошек маслянистый свет, рыдала в подворотне шарманка, заглушая далекие переливы стеклянной гармоник.

Петефи бездумно бродил по городу, настраиваясь на его неотвязный мотив, подстерегая прихотливую пляску вечерних теней. Мерещился прерывистый, ускользающий ритм, обманчивая надежда призывно мигала, дразня ке-



росиновым язычком. Течение воздуха холодком обвевало открытую шею, и влага медленно оседала на жестких взъерошенных волосах.

Мелькнула нескладная фигура в развевающемся плаще и растворилась в тени нависающего старинного бельэтажа, затем опять обозначилась на коротком прострапстве, где озаренное окно захлебывалось в сыворотке подступающей ночи. По тому, как шел человек — то по одной стороне улицы, то по другой, словно отталкиваясь от стен, Петефи узнал Альберта Пака и поспешил нагнать.

Улетучилась безотчетная тоска, и разом забылось навязчивое стремление к призрачной цели. Было так хорошо, так уверенно и покойно идти вдвоем, болтая о том, о сем, вспоминая или тут же придумывая на ходу невероятные истории жизни.

Улицы вливались в улицы, не задевая сознания, мелькали вывески кабачков, костелы и кирхи, редкие прохожие с улыбкой сторонились, пропуская покачивающихся поэтов. Кому же и пить, как не им? Но не терпкое эгерское вино, не токай, не изысканная лоза Бодачопа бросали их от стены к стене. То сплетали узоры мелодия города и ветер, шатающий пламя свечей. Злая, голодная молодость неутоленной жаждой отзывалась в груди.

Петефи и сам не знал, что толкнуло его остановиться под раскрытым окном, прижаться к стене, шелушащейся от зимней сырости. Дернув Пака за руку, он скорчил страшную мину и приложил палец к губам. Не музыка, которой не знал, а только слова, бессознательно проскользнувшие в душу, заставили его прислушаться и замереть.

Женщина со шнуровкой на корсаже, подперев щеку кулачком, тянула задумчиво песню, и красные герани цвели в ее окне. О чем она пела? Петефи еще не понял, о чем, но счастливая боль уже перехватила дыхание и кольнула глаза.

То не в море — в небе месяц плыл блестящий,  
То разбойник плакал, схоронившись в чаще.  
То на темных травах не роса густая —  
То большие слезы падали сияя.

— Ты что? — шепотом спросил Пак.

— Уйдем отсюда, — жарко выдохнул Петефи и, сжав руку товарища, осторожно, на цыпочках потянул его за собой. Завернув за угол, шумно вздохнул и вдруг бросился бежать. Пак едва догнал его.

— Что с тобой, Шандор? — спросил, с тревогой всматриваясь в мокрое от слез лицо.

— Это, — успокаиваясь, но еще прерывисто дыша, объяснил Петефи, — это были мои стихи. Понимаешь? Они... — он замялся и опустил глаза, — ...показались мне прекрасными.

— Но они и в самом деле прекрасны!

— Ах, я вовсе не о том... Разве можно остаться спокойным, если твои строки становятся песней? Ее пела простая мадьярка. Понимаешь? — Петефи вывернул карманы и стал вытряхивать мелочь. — У меня всего тридцать грошей, но я не поменялся бы участью и с герцогом Эстерхази, хоть он и владеет тридцатой частью страны.

— Милый Шандор, ты знаменит! — Пак порывисто обнял его. — Больше того, отныне ты народный поэт... Удивительно!

— Знаешь, я предчувствовал, что так будет однажды. Еще в ту пору, когда кропал стишки для себя и почитал за величайшее счастье увидеть свое имя в печати. Я служил тогда статистом в Национальном театре и бегал для актеров в корчму за колбасой с хреном, за пивом, вином, но я знал, что такое будет со мной. И когда стоял на карауле или варил кукурузные клецки для товарищей по солдатчине, думал об этом. Даже когда мыл котелки в такую стужу, что тряпка примерзала к рукам, а капрал

орал: «Ну-ка, давай!» — и приходилось мчаться сгребать снег с плаца, я грезил о том, как это случится. Так оно и вышло, как приснилось на голых нарах караульни, где, как барону Манксу, подстилкой мне служил один бок, а одеялом — другой.

— Настоящая, большая слава нашла тебя, поздравляю.— Пак стиснул маленькую крепкую руку Шандора.— Ты ее заслужил.

— Но почему так незаметно, так неожиданно быстро?

— Незаметно? — Пак задумался.

Он вспомнил, как прошлой осенью они дурачились в гимнастическом зале. Кажется, Мор Йокаи был там еще и плел свои небылицы, свисая вниз головой со шведской стенки. Потом пришла Эржика или Жужика, бог ее знает, с корзиной свежих булочек. Какую же они затеяли возню! Больше всех суетился, конечно, Шандор. Влюбчивый, загорающийся, он так и прилип к девушке, крепенькой, кругленькой и золотистой, как самая лучшая из ее бесподобных булок. Дурачился, поровил чмокнуть, ловко увертываясь от пощечин; взлетал вверх по стенке, клялся в вечной любви. И как все они были изумлены, когда она вдруг расплакалась и сказала, уходя: «Да разве вам, вертопрахам, понять, какая бывает любовь? «Ведь любовь, любовь упряма, глубока, темна, как яма...» Петефи чуть не сорвался вниз и, пристыженный, забился в угол. Это были его стихи. Простая девушка открыла в них для себя сокровенную тайну жизни. Разве не тогда пришло к нему высшее признание?

— Помнишь ту хорошенькую булочницу, что пела нам про упрямую любовь? — Пак остановился на перекрестке возле покосившегося фонаря, откуда была видна жестяная вывеска «Пильвакса». — Куда не иди, а ноги сами сюда приведут.

Они с улыбкой переглянулись и вошли в свой «Пале Рояль», как метко прозвал скромное артистическое заве-

дение Палфи. Здесь, как и в знаменитом парижском кафе, где в перерывах между рюмкой вина и чашечкой кофе скрипели перья Луи Блана, Ламартина и Берапже, прочно обосновалась литературная молодежь, Петефи не только проводил за столиком почти все свободное время, но правил верстку, делал наброски, писал письма. Вся его почта была адресована на «Пильвакс».

Друзья повесили на вешалку отсыревшие пелерины и пробрались к личному столику Шандора, который по неписаным законам «Пильвакса» никто не смел занимать. Не успели они оглядеться и обменяться шумными приветствиями с многочисленными приятелями, как хозяин водрузил на стол полный кофейник и расставил фаянсовые чашки.

В «Пильваксе» все было на французский манер: анисовая из парижских подвалов Рикара, бильярд в три шара, полка с трубками и бильбоке. Для молодых литераторов слова «Франция» и «Париж» были почти однозначны словам «революция» и «свобода». Главный француз Палфи, законодатель мод, ввел в обиход широкие блузы, замысловатые кепи и банты. Своим рассказам он давал только французские заголовки и вместо дешевого эгерского подчеркнуто заказывал бордо.

В противовес этой откровенно крамольной тенденции члены закрытых аристократических клубов во всем подражали англичанам. Недаром типично британское наименование «джентри» распространилось и на нетитулованную венгерскую знать. И прижилось, стало чуть ли не исконно мадьярским.

В Лондоне шили платье, покупали там баснословно дорогих лошадей, хотя Венгрия экспортировала их табунами, заводили английских гончих и грумов, пили чай Липтона, курили легкий ливерпульский табак. Иштван Сечени, по крайней мере так уверял Петефи, спички и те выписывал из Ливерпуля.

Лишь одна общая черта объединяла оба противоположных лагеря. Несмотря на французские словечки, то и дело проскальзывавшие в речах завсегдатаев «Пильвакса», и на ломаную английскую речь приверженцев «Королевы английской», и здесь, и там читали в основном по-немецки.

Петефи, владевший шестью языками, был редким исключением для своего — и не только своего — времени. Голоса «Молодой Германии», «Молодой Италии», клич «Марсельезы» и полный достоинства трубный зов исконной английской свободы достигали его ушей без искажений перевода и добавлений молвы. Но зато и без иллюзий, вечно туманивших горячие мадьярские головы миражами необыкновенного чьего-то там довольства и процветания. По непреложному праву поэта он думал и говорил от лица поколения, от имени мира. Вдохновение, которым он был обязан богам, и знание, добытое лихорадкой голодных бессонных ночей, поднимали его над полосатыми шлагбаумами захолустной сатрапии многоязыкого габсбургского Вавилона.

Помешивая остывшую гущу, сумрачный, невеселый, он сидел перед Паком, не видя вблизи ничего. «Что ела ты, земля, — ответь на мой вопрос, — что столько крови пьешь и столько пьешь ты слез?..»

Он так и не пригубил свою рюмку.

Тучи клубились в той дальней дали, что пронизал его взор. Пронизанные бичами солнечных лучей, истерзанные трещинами молний, похожих на русла неведомых рек. «Ах, был бы я птицей летучей, я в тучах бы вечно летал, а был бы художником — тучи, одни только тучи писал...»

— Мы с тобой давно не виделись, Берци, не говорили по душам, и ты многого не знаешь обо мне... — обратился он к Паку, не отводя зрачков от брезжащих сквозь своды «Пильвакса» пространств. — Я люблю, впервые в жиз-

ни по-настоящему люблю, и, кажется, меня тоже любят.

— Так поздравляю! — радостно загорелся экспансивный Пак. — Но почему такой миnorный топ?

— Она — совершенство, — не отвечая на вопрос, продолжал меланхолическую исповедь Петефи. — Настоящая фея из той сказочной страны, что примечталась мне когда-то в детстве. Я безумно счастлив, Берци, и глубоко несчастен...

— Но я не совсем понимаю... — неуверенно произнес Пак и умолк, убедившись, что Шандор едва ли ждет от него ответа на свой вопрос.

— Между нами все ясно, хоть я еще не открылся ей. Пусть я нищ и нет особых надежд существенно улучшить положение, меня не это волнует. Я обязательно жепюсь на ней, потому что лучше ее нет и не было на всей земле.

— И превосходно! Верь мне, что все будет у вас хорошо. Как-нибудь нация сумеет поддержать своего поэта и его молодую жену. Кто эта счастливица?

— Сам увидишь. Надеюсь, что сумею представить тебя ей на будущей неделе.

— Зачем ждать так долго? В субботу я намеревался отправиться в Дебрецен... Пстой! — догадался внезапно Пак. — Уж не надумал ли ты...

— Да, я решил объявить о помолвке.

— Бедный Шандор. — Пак укоризненно покачал головой. — Ты кажется, окончательно рехнулся от радости. А ну, немедленно улыбнись!

— Меня не оставляет предвестье беды. Вернее, не беды, — поэт словно прислушивался к себе, — а всеохватного крушения, вселенского катаклизма. Порой кажется, что на меня свалилась непосильная ноша и я упаду, раздавленный ею, моля о смерти, как об избавлении. Но затем нисходит прозрение, и я понимаю, что мы дошли до последнего края и стоим у граи невиданных перемен... Нельзя дальше жить так, как мы жили раньше, Берци, недостойно...

— Не одного тебя терзают сомнения. Это отрывка безвременья, протест против застоя и всеобщего лицемерия.

— Я говорю о большем. Хватит сидеть сложа руки. Откуда мы ждем спасенья? От бога? А где он, наш бог? От возлюбленного короля? Тому в пору кататься на детской лошадке. Нет, друг, я чувствую, что пробил наш час, и не посмею ослушаться совести.

— Ты о революции?

— Опа придвинулась к нам вплотную.

— Но почему ты так уверен?

— В воздухе носится, под землею дрожит... Тут я не сомневаюсь. Где-то должно грянуть, начаться... А у меня будет семья: робкая девочка и дети, наверное, родятся.

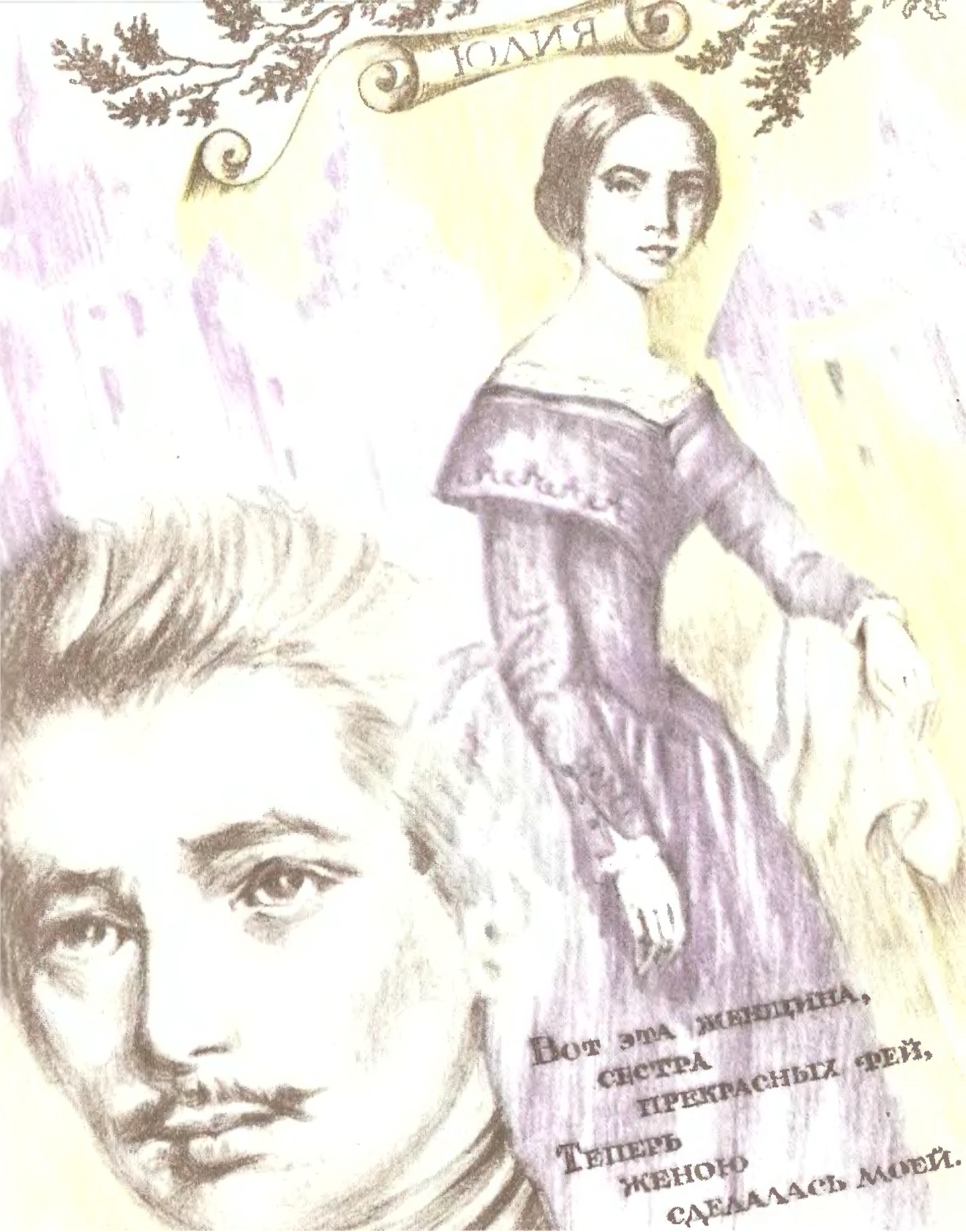
— Как водится... Так ты из-за этого страдаешь? Не надо, отбрось сомнения и не обкрадывай себя. Мы не можем знать, что с нами случится через минуту. Постарайся быть счастливым, Шандор, очень тебя прошу. Ты уже умирал на моих глазах, и мне трудно будет вновь пережить такое. Ты можешь вынести любые физические страдания, только не убивай себя тоской. Она доконает тебя, я знаю. Не поддавайся, и все будет хорошо. Не забудь, что ты больше не принадлежишь себе. У тебя любовь, и твоя поэзия стала общенародной.

— Истинная поэзия всегда народна. Поэтому-то поэзия и революция для меня неразделимы. Если народ будет господствовать в поэзии, он приблизится и к господству в политике, а это стержневая задача века. Кому, как не нам, осуществить ее? Я не знаю цели более возвышенной, более достойной честного человека. Невтерпез смотреть, как страдают миллионы только ради того, чтобы несколько тысяч тунеядцев могли нежиться и наслаждаться жизнью.

— Уж этого мы с тобой хлебнули вволю. Что-что, а покорно страдать нас научили с пеленок. Во имя чего,



ЮЛИЯ



ВОТ ЭТА ЖЕНЩИНА,  
СИСТРА  
ПРЕКРАСНЫХ ДЕЙ,  
ТЕПЕРЬ  
ЖЕНОЮ  
СДЕЛАЛАСЬ МОЕЙ.



спрашивается? Кругом всеобщий распад, деградация, забвение элементарных моральных принципов. Министры берут взятки, генералы обворовывают солдат, все многообразие жизненных связей подменяется куплей-продажей.

— Хорошо, что ты это ясно видишь. Другие притерпелись, не замечают. Мы живем в атмосфере чудовищного гниения, и она отравляет нас, растлевает наши бессмертные души.

— Здесь я не совсем согласен с тобой, Шандор,— с умудренной улыбкой Пак устало махнул рукой.— Ты еще оптимист! Человечество видело и не такое. Как сказано у Экклезиаста, все уже было. И не раз! Но в том-то и заключается трагедия, что каждое новое поколение клюет на затхлую приманку. Люди все же не свиньи вокруг корыта, хоть временами кажется, что за жалкий кусок они готовы перегрызть друг другу глотки. Нельзя загонять человека в хлев, нельзя доводить его до состояния зверя. Это омерзительно.

— Революция все изменит,— сжал зубы Петефи. На его лице резко обозначились скулы.

— Были революции, но ничего не менялось под солнцем.

— Нужна еще одна, всеобщая,— упрямо процедил Петефи.— Она охватит очистительным пламенем земной шар.

— Ты в самом деле веришь в это?

— Не только верю, но знаю, Берци! Я предчувствую революцию, как собака землетрясение. Каждая жилка во мне дрожит от ее нарастающих вздохов.

— И что нам следует делать?

— Сейчас, как никогда, важны идеи. Наши поэтические манифесты станут политической программой. Мы донесем слова правды до каждого честного сердца. Думаешь, одним нам душно и муторно на этой земле? Ошиба-

ешься! Все это чувствуют. Но люди должны понять, в чем причина. И тогда они содрогнутся. Неужели, скажут они, ради каких-то ничтожеств мы губим свои лучшие мечты, гасим свои самые благородные порывы?

— И граждане побегут на баррикады? — поднял брови Пак.

— Во всяком случае, потребуют перемен. Я убежден, что миром правят идеи.

— Какими же высокими идеалами он по-твоему одухотворен? Сейчас, сию минуту?

— Стяжательство, подлость, философия куска. Не ново, скажешь ты, что ж, тем проще будет очистить атмосферу.

— Порой мне стыдно за себя, за всех нас, Шандор.

— И мне стыдно. Унизительно потакать подлости, болтать о добре, а на самом деле служить злу. Постепенно теряешь реальные представления о том, что происходит: то ли ты сумасшедший, то ли остальные потеряли рассудок. Всеобщая пляска безумия. Мудрецы, колеблющиеся от голода, слынут помешанными, потому что отказываются грабить и убивать, а старым солдатам, у которых не хватило в свое время ума отказаться, вместо пенсии вешают на грудь медаль за службу и увечье. Цинизм, граничащий с идиотизмом.

— Ты уверен, что и другие, где-то там, за Тисой, за Моравой, в Карпатах, думают так же?

— Думают? Не знаю... Не уверен.— Петефи озабоченно примолк.— Но чувствуют они так же, как мы. И это главное! Мы, молодые, должны раскрыть им глаза. Жизнь, которую нас принуждают влечь, недостойна человека. Лучше пойти на виселицу, чем служить обществу, для которого малейшая росинка любви убийственнее целого океана яда.

— О чем шепчутся карбонарии? — за столик подсел Себерени, которого Петефи знал с гимназических вре-



мен. Он пробавлялся критическими статьями о поэзии, о театре и в поисках заработка частенько наведывался в «Пильвакс». — Сервус!

— Садись, — запоздало пригласил Петефи и сделал знак принести еще чашку. Его горевшее откровенностью лицо погасло и замкнулось. — Что скажешь?

— Извините, господа, если ненароком помешал. Может быть, у вас секретный разговор? Так вы скажите... — Себерени сделал вид, что хочет встать и уйти.

— Никаких секретов у нас нет и быть не может, — медленно отчеканил осмотрительный Пак. Очень уж не понравилась ему наглая и в то же время заискивающая манера Себерени. Его суетливо гримасничающее лицо.

— Скрывать нам нечего, тем более от тебя, — Петефи многозначительно глянул на Пака. — Когда я родился, судьба постлала мне искренность простышкой в колыбель, и я унесу ее саваном в могилу. Лицемерие — нетрудное ремесло, любой негодяй в нем горазд, но говорить откровенно, искренне, от всей души могут и смеют только благородные натуры. Может быть, мое суждение о себе неверно, но я достоин уважения хоть за то, что смею открыто высказать свои чувства. *A la lanterne les jesuites!*<sup>1</sup> — неожиданно выкрикнул он и стукнул кулаком по столу.

Себерени вспыхнул, его подвижная физиономия искажалась недоброй и жалкой ухмылкой. Он вскочил, неловко смахнув чашку себе на колени, и, отряхивая липкую гущу, метнулся в уборную.

— Кто это? — спросил Пак.

— *Merde*, — назвал по-французски Петефи и сморщил нос, как от злостной вони.

— Тогда ты проявил излишнюю горячность.

— Плевать, — отмахнулся Петефи. — Пусть знают...

---

<sup>1</sup> На фонарь иезуитов! (*фр.*)

Облачным вестником взметнулся дымок из жестяной высокой трубы над Сикстинской капеллой, и белее вознесенных над вечным городом мраморных апостолов, развевающих свитки, виделись в пыльной голубизне его легкие завитки.

— Папа! У нас есть папа! — прокатился ликующий клич, и, словно по волшебству, томительный свет предзакатный сусально вызолотил холмы.

И тотчас же жгучее ожидание, которым жил город все эти дни, сконденсировалось в нетерпеливом вопросе: «Кто?» Ужели мрачный фанатик Ламбрускини, могущественный статс-секретарь, который наверняка станет продолжать политику прежнего понтифика, опасавшегося любых перемен? Римскому плебсу было все безразлично, но патриотам, особенно молодым, хотелось верить, что победителем выйдет Мастай-Ферретти. Недаром ходили слухи, будто Вена всячески противится избранию на святейший престол именно этого кардинала, слывшего либералом и ярким противником австрийского владычества. А что плохо для австрийцев, то хорошо для Италии. Знаток изощренной ватиканской дипломатии уверяли, однако, позволив себе мимолетную ироническую ухмылку, что не пройдет ни тот, ни этот кандидат, а, как всегда, к финишу первой прискачет «серая лошадка». Называлось даже имя терпимого и склонного к умеренным реформам, но бесцветного кардинала Джидзи. Борьба, во всяком случае, велась упорная, и обе главные силы — австрийцы и поборники объединения Италии — сделали все возможное, чтобы повлиять на решение конклава. Разумеется, до той минуты, пока Сикстинская капелла не была замурована свежей кирпичной кладкой и все связи кардиналов-выборщиков с внешним миром не свелись к ежедневной доставке провизии и сигнальному дыму, валившему из

жестяной трубы, когда сжигали после очередного тура избирательные бюллетени. И всякий раз, завидев над папским дворцом черные клубы, римляне озабоченно осеняли себя крестным знамением: «Не выбрали, не сговорились...»

Сырая солома и пакля траурным крепом осеняли притихшую, настороженную столицу. Жирная сажа опадала на бесценный каррарский мрамор, превращая его в жженую кость.

И вот, наконец, счастливый знак. Белая голубка с оливковой веточкой в клюве. Истопник, как видно, не пожалел сухой итальянской соломки, припасенной для столь торжественного момента в большущей корзине с высоким знаком из двух сложенных крест-накрест ключей. Все круче и веселей взвивались белые пряди в предзакатную знойную бездну, очерченную золотистым неровным контуром Семи предвечных холмов.

Заполнив площадь Святого Петра, богомольные горожане и пилигримы со всех концов Европы преклонили колени. Шепча молитвы, сомкнув ладони, ждали оповещения. Бились, пуская пену, кликуши, заливались истерическим плачем дети, не выдерживая давящего ожидания.

Когда ж наконец, отражая багровый свет, вспыхнули зеркалами стеклянные двери, заголосили вдруг и пожилые римлянки, пряча под черными платками заплаканные глаза.

Красные мантии кардиналов, заполнивших балкон Квиринала, казалось, затмили зарю. Все участники конклава, и среди них где-то он, богоравный преемник святого Петра, вышли, по обычаю, явить себя христианскому миру.

Пала на площадь такая мертвая тишина, что даже голуби поспешили прервать беззаботный полет.

— *Nuntio vobis gaudium magnum*, — возвестил кардинал-камерленго традиционную формулу, — *habemus*



Рарам! <sup>1</sup> — И с нарочито римским акцентом назвал вождь-деленное имя: — Пио Ноно!

И сразу красные фигуры на балконе зашевелились, перестроились, образовав посредине пустое пространство, где остался в своем высоком одиночестве избранник.

Крики восторга волнами всплеснули к его ногам, и повсюду стали повторять имя, пока ничего для большинства не раскрывающее: «Пий Девятый!» Но навстречу нараставшему валу ликования понеслось, набирая стоустную мощь, другое имя, исполненное мирского значения и страсти: «Мастай-Ферретти!»

Случилось невозможное. Могущественные старцы отдали святейший престол пятидесятичетырехлетнему претенденту, почти Эфебу по их меркам, а не архонту, стоящему на краю отверстой могилы!

Как? Почему? Отчего?

Господи, на то твоя воля!

Бывший наполеоновский офицер, сторонник просвещения и гуманизма, обрел высшую, после бога, власть на земле. И все кончалось за этой чертой. Тщетные потуги австрийского посла графа Шпаура, запоздавший приезд миланского архиепископа Гайсрука, ожидания Парижа, тревоги Вены. Человека, которому протезировали одни и кого опасались другие, отныне не стало.

Джованни Мария граф Мастай-Ферретти обрел новую сущность под именем Пия Девятого, и с этим приходилось считаться как с непреложной реальностью.

Подойдя к балюстраде, новый понтифик уверенно поднял руку, благословляя «*urbi et orbi*» — «вечный город и мир».

«Черный папа», или генерал могущественного ордена иезуитов отец Ротоан, воспринял весть об избрании Ма-

---

<sup>1</sup> Объявляю вам славную весть — у нас есть папа! (лат.).

стай-Ферретти с достойной сдержанностью. Слишком сильна и незыблема была тысячелетняя иерархия церкви, чтобы на ее политику могла сколь-нибудь существенно повлиять отдельная личность. Папа, кто бы он ни был, в конце концов, всего лишь человек и, следовательно, четко означены пределы, которые ему дано перейти.

В тот же вечер отец Ротоан принял у себя в резиденции на виа Санто Спирито Борга вызванного из Петербурга отца Бальдура.

Серое массивное здание с колоннами и портиками было построено так, что уличный шум разбивался о его строгий фронтон, не достигая отдаленных покоев.

Пусть хмельная студенческая ватага тянет «Gaudeamus igitur»<sup>1</sup>, а из ближайшей траптории долетают пленительные рулады «Cazza larda»<sup>2</sup>, в холодных коридорах и гулких мраморных залах Общества Иисуса, словно в ракушке, шуршит чуткая, настороженная тишина. Неясным шелестом отзывается она на тревожнения суетных улиц, долгим замирающим стоном встречает бронзовый бой старинных часов, когда скелет с косою начинает трясти свой колокольчик. «Memento mori» — «думай о смерти». Вслушивайся в зов вечности, презрев пляску раскрашенных кукол. Все нити, приводящие в движение коронованных паяцев и увешанных орденовыми лентами дураков, сходятся у не приметных дверей генеральского кабинета. Здесь, а не в расположенном поблизости Ватикане решаются судьбы народов и государств.

По крайней мере, так мнилось отцу-основателю святому Игнацию и поколениям его преемников.

Ротоан, улыбчивый, мягкий, спокойный, полагает немного иначе. Он трезво смотрит на жизнь и знает, что всякая власть на земле имеет границы. Есть они и у не-

---

<sup>1</sup> «Будем веселиться» (лат.).

<sup>2</sup> «Сорока-воровка» (ит.).

видимой власти. Отсюда и принцип нынешнего генерала: силу черпать из осознания слабости. Если на трон святого Петра сел не тот человек, отчего бы не попытаться сделать из него достойного папу? Коли и это не удастся, то почти наверняка заявит о себе провидение господне. Люди, во-первых, смертны, да и случайности, которые ежечасно посылает небо, при умелом направлении слагаются в целенаправленный императив.

Ощутив чужое присутствие, генерал поднял веки. Бальдур вошел неслышно и, скрестив руки, замер, почти незаметный на фоне лиловой бархатной драпировки. Как и надлежало, был он безмятежен лицом, голову держал прямо, лишь слегка наклонив вперед, и умело избегал мягкого, ласкающего взгляда могущественнейшего из владык.

— Я вызвал вас, мой друг, из русского далека, чтобы предложить на ваше усмотрение новый пост.— Ротоан чуть расслабился в своем резном эбеновом кресле с высокой прямой спинкой и глазами указал на запечатанный сургучом конверт, придавленный к столешнице разрезным массивным ножом.

Бальдур приблизился и, осторожно сдвинув изукрашенную эмалью рукоять, принял пакет с назначением. Затем встал на колени и коснулся губами генеральского перстня. Гематитовый камень, разрезанный вдоль оптической оси так, что преломленные лучи слагались крестом, показался ему холодным, как лед. Приветливые слова Ротоана насчет предложенного поста были лишь данью вежливости. Правила орденской скромности предписывали безоглядное повиновение на все случаи жизни. В пакете мог лежать и приказ отправиться к самоедам, и повеление умереть.

— Я посылаю вас в Венгрию, мой друг,— сказал генерал, пожевав губами.— Да, Hongrie,— задумчиво повторил он.— Надеюсь, вы довольны?

— Благодарю, падре,— безучастно промолвил Бальдур.

— Ведь вы, насколько я знаю, венгерец? Наверное, соскучились по отечеству там, в снегах Московии?

— Мое отечество — святая церковь, падре,— вновь уставно отвечивал Бальдур.

— Само собой,— генерал одобрительно кивнул.— Но я предпочитаю, чтобы провинцией управлял человек, знающий обычаи и, главное, душу местных жителей. Особенно в нынешние трудные времена. Орден оказывает вам высокое доверие, друг мой, отдавая на попечение именно эту, столь сложную в управлении провинцию. Надеюсь, вы справитесь. Я прочитал ваш доклад об этом венгерском путешественнике. Ясно, умно, со знанием дела. Не сомневаюсь, что в Пеште вы будете как нельзя более на месте.

— Повинуюсь, падре.— Бальдур почтительно склонился под благословляющим жестом.

— Итак, *placet*<sup>1</sup>,— генерал словом высшей власти окончательно скрепил назначение.— Отныне вы генеральный викарий королевства Hongrie, друг мой, к вящей славе господней... Я усматриваю знамение в том, что ваша номинация состоялась именно в этот трижды радостный для всех католиков день. Эйкумена получила папу.— Ротоан позволил себе мимолетную улыбку.— Hongrie обрела тайного отца-провинциала. Все идет своим чередом!

Еле слышно звякнули невидимые колокольцы. Ротоан повернул к себе медную разговорную трубку и вынул заглушку.

— Граф Фикельмон,— доложил некто потусторонний,— и граф Шпаур.

— Оба вместе? — несколько удивился генерал ордена.

---

<sup>1</sup> Угодно (лат.).

— Австрийский посол прибыл на пять минут раньше господина министра Фикельмона.

— Тогда просите первым министра.— Ротоан глазами указал Бальдуру зашторенную нишу.

Это было как нельзя более кстати, ибо в тайнике новоиспеченный викарий, целый день пребывавший на ногах, нашел удобную козетку и графин. Прислушиваясь к голосам за портьерой, тянул неторопливыми глотками упоительно вкусную воду.

— Счел своим долгом отдать вам прощальный визит, отец-генерал.— Фикельмон явился в дорожном платье, но в парике, тщательно завитом и напудренном.

— Уезжаете? — Ротоан сделал удивленный вид, хотя прекрасно понимал, что посланнику кайзера Фердинанда после поражения на конклаве остается только одно: как можно быстрее вернуться в Вену. Таковы условия игры, ибо человек, против которого интриговал австрийский двор, стал нынче папой. Орден иное дело, орден иезуитов всегда в тени.

— Мое правительство ожидает меня.— Фикельмон тонко дал понять, что лично ничуть не огорчен провалом порученной миссии. Видимо, так оно и было на самом деле. Неисправимый либерал не мог не симпатизировать напе-прогрессисту.

— В таком случае, всяческого вам счастья, граф,— генерал радушно протянул для прощания обе руки.— А это,— он извлек из ящичка ампирной конторки сафьяновую коробочку,— прошу передать ее сиятельству на память от старого друга.

Обнаружив внутри красную, с голубиное яйцо, жемчужину, Фикельмон удивленно поднял брови.

— Сию диковину извлекли из слонового бивня,— пояснил Ротоан.— Миссионер, привезший ее с Цейлона, говорит, что не только в морских раковинах, но и в кокосовых орехах и даже в бивнях слонов изредка зарождает-

ся жемчуг. У туземцев он ценится чрезвычайно высоко. Надеюсь, что графине Фикельмон понравится... Поверьте, граф, я грущу, расставаясь с вами. Невольно вспоминается Неаполь, молодость, наши долгие беседы в виноградной ротонде над вечереющим заливом...

— Все проходит, отец-генерал.

— Да, все проходит, а жаль...

Зная о неприязни к графу Меттерниха, Ротоан проводил неудачливого посланника с печальной торжественностью.

— Отец Бальдур, — окликнул генерал, проводив визитера, — надеюсь, вы все поняли? — и закончил жестко: — Очень порядочный человек, благородный, но абсолютно чужой.

Австрийского посла и тайного осведомителя ордена генерал принял уже совершенно иначе. Углубившись в чтение бумаг, заставил потоптаться у дверей и, лишь невзначай бросив взгляд, допустил к перстню.

— Садитесь, милый граф, — ласково кивнул Ротоан. — Вы представляете священную особу его апостольского величества, и вам негоже стоять перед кем бы то ни было... За исключением папы, разумеется, — добавил вскользь. — Прошлое исчезает вместе с дымом сожженных бумажек для голосования, и вы это знаете, граф. Наконец, четвертый параграф устава, составленного блаженным Игнатием, предписывает всем членам Общества Иисуса особое послушание папе. Теперь, слава богу, у нас он есть.

— Но, падре! — запротестовал Шпаур. — Новый понтифик настроен крайне антиавстрийски. Сторонники отторжения Италии ликуют. Что будет с империей? Ведь это как лесной пожар. Стоит отпасть Италии, пламя сепаратизма перекинется на Венгрию, на Балканы, а там, глядишь, и поляки пожелают выделиться в независимое государство... Помяните мое слово, падре, но боюсь, что дело закончится революцией...

— Дипломат высшего ранга в роли Кассандры? Едва ли ваши пророчества сулят лавры.— Ротоан доверительно склонился к послу.— Посоветуйте императору усилить гарнизоны в Хорватии, Славонии и Далмации. Кстати, такая мера произведет должное впечатление и на венгров. Даже самый ярый мадьярский националист едва ли захочет, чтобы столь лакомые кусочки отпали от короны святого Стефана.

— А как же Италия? Ввести новые батальоны в Неаполитанское королевство? В Ломбардию?

— Не следует раздражать итальянцев без особой надобности. Тем более сейчас, когда они охвачены ликованием. Пусть перебесятся. Это большие дети.

— И такой совет я должен дать государю? Да Меттерних вышвырнет меня на улицу, и будет прав!

— Он не сделает этого, граф. Напротив, ваш совет придется как нельзя более кстати...

Шпаур поспешил встать и откланяться. Дурные предчувствия не оставляли его, и походка была неверной.

— Преданный, но слабый человек,— констатировал генерал, вновь призвав Бальдура.— И никудышный политик... Я оставил вас, мой друг, послушать, чтобы вы лучше познакомились с людьми, которые вам, возможно, понадобятся.

— Я уже имел честь встречаться с графом Фикельмоном.

— Как же, как же... Русский департамент и все такое прочее. Вы были на месте в Петербурге, ничего не скажешь. Но, как говорят москвиты, два медведя в одной берлоге не уживаются. Вы с отцом-провинциалом порядком мешали друг другу. Пришлось вас разнять.

— Волей-неволей. Ведь помимо орденских обязанностей, я был вынужден блюсти интересы Габсбургов.

— Теперь представляется случай удвоить рвение на этом поприще, мой друг.— Ротоан держался доверитель-



но, почти сердечно, но стула так и не предложил. — Интересы ордена неотделимы от судьбы династии. Помните об этом дено и ношно. Ваша задача — не допустить отдаления Венгрии... Личный секретарь его высочества императорского наместника в Буде получит приказ ознакомить вас с секретными досье. Каждого мало-мальски заметного мадьяра будете держать под постоянным прицелом. Только без глупостей! Время плаща и кинжала безвозвратно миновало. И вообще избегайте личного вмешательства в местную политику. Вам надлежит лишь балансировать на коромысле весов, влиять, искусно направлять, осторожно подталкивать в желательном направлении. Ни одна партия не должна получить существенного перевеса.

— Значит ли это, падре, что в чрезвычайных обстоятельствах я могу поддержать, скажем, Кошута против Сечени?

— Отчего бы и нет? Пусть расходуют силы в междоусобной грызне. И все же не слишком влезайте в такую политику. Кошут, Сечени, Деак, Баттяни — предоставьте этих господ князю Меттерниху. Он хоть и лишен надлежащей гибкости, но сумеет защитить немецкие, а следовательно, и династические интересы. От вас же, мой друг, я ожидаю иного... Вы читали Гейне? Ламартина? Людвиг Берне, наконец?

— Не читал, падре, — без ложного смущения твердо отвечивал Бальдур.

— И совершенно напрасно. В лице поэтов-поджигателей и подстрекателей-газетеров толпа обрела одухотворяющее начало. Понимаете? Если недалекий Шпаур ищет источник революции в ватиканском либерализме, то мне он видится в организации пролетарских банд. Надеюсь, вы не забыли тридцатый год? Так вот, это была лишь проба сил. Сейчас, если мы только допустим, будет похуже. Фабричные рабочие упорно стремятся к наднацио-

нальным объединениям, ибо в косную глину вдохнули огненное начало.

С трудом улавливая темный смысл обычно четкой и сдержанной речи отца — генерала, Бальдур машинально отер выступивший на лбу пот.

— Присядьте, друг мой, — последовало запоздалое приглашение. — Вы хоть не забыли венгерский язык? Следите за литературой? Читаете стихи?

— У меня были другие обязанности, падре, — несколько промедлив, ответил новый провинциал. — Притом Венгрия слишком далека от Санкт-Петербурга... — Он выжидательно примолк.

— Я так и думал, — удовлетворенно кивнул Ротоан. — И все же ваш подробный и обстоятельный доклад об этом Регули убеждает меня в том, что вам дано ощущение пульса времени. Вот вас встревожила национальная идея, сказка, в сущности, но способная при определенных обстоятельствах стать центром конденсации. И вы правы. Неожиданный взрыв национальных чувств может подтолкнуть толпу на буйство, а неуклюжие полицейские репрессии вызовут уже настоящий бунт. Притом с политической и национальной окраской... Кого из мадьярских поэтов вы знаете?

— Ну, Вёрёшмарти, — тяготясь вынужденной ролью перадивого школяра, Бальдур пребывал в затруднении. — Еще у господина Кути есть премиленькие стишки...

— Листа вам приходилось слышать? — последовал быстрый вопрос.

— Как же, — оживился Бальдур. — Он дал у нас в Петербурге несколько концертов и совершенно покориł свет.

— Он продолжает гастролировать по европейским столицам и садится за рояль не иначе как с венгерской саблей на трехцветной портупее... Пустяк, бравада, но в сумме все это очень серьезно. Вам надлежит воспри-

нимать картину целостной, не в отдельных фрагментах. Вы первым должны обнаруживать связи, установившиеся вдруг между разнородными явлениями жизни. И бить тревогу. Но вернемся к поэтам и газетерам. Не спускайте с них глаз. Если кто вдруг возвысится и начнет приобретать вес, купите его с потрохами. Дайте ему все, к чему он тайно стремится, и... ославьте в глазах преданных дураков. Покупайте бунтарей, не стойте за ценой, не ждите, пока они вырастут в национальных героев.

— Его высочество палатин, тайная полиция, наконец, позволяют мне это? — осторожно осведомился Бальдур.

— Карт-бланш у меня для вас, к сожалению, не готова, — генерал подавил накатившее раздражение. — Ведите себя тонко и дальновидно. Если почувствуете, что власти действуют неразумно, попытайтесь исправить дело. Даже спасите, коль представится случай, явного, быть может, врага.

— Спасти? — Бальдур с трудом скрыл изумление. — От тюрьмы? От эшафота?

— От голодной смерти, — отрезал генерал, — и загробных лавров великомученика, — и жестом небрежным отпустил своего наместника в Паннонию, в Гуннию, на задворки Европы.

— Да помните, — напутствовал уже у дверей, — что в Пеште, как и в Париже, революции вызревают в артистических кабаках.

## 10

Забудьте про скелет, трясущий колокольцем, забудьте про безногого господина в немецкой охотничьей шляпе. Проще, сдержанней, незаметней являет себя великая утешительница на путях челове-

ческих. Пугающими пустяками, едва уловимыми отступлениями от заведенного распорядка обозначен ее невидимый след. Уши оглохли, а сердце рвется под нарастающими аккордами и летит навстречу неотвратимому.

Бессонная ночь, стихи, печальные, простые, и тяжкий наплыв безысходной тоски. То ли случайное совпадение, весьма характерное для романтической музыки и романтических веяний века, то ли, воистину, роковое предчувствие даровано было поэту. Но если леденящее кровь дуновение потустороннего ветра и впрямь коснулось его, то зачем он, едва забрезжило утро, перебелил строчки, рожденные в душном бреду? «Желтый месяц через ветви смотрит голые. Что-то бледные с тобой мы, невеселые! Бог с тобою, любушка, бог с тобой, голубушка, бог с тобой!..»

Для живой писал, не для мертвой, для живой бережно посыпал песочком лист и в трубку скатал.

Весеннее утро не успокоило, лишь светом пахнуло в глаза. Охваченные зарей облака неподвижными казались, и небо дымилось густой синевой. На мраморных колоннах каждый резной листик аканта отчетливо вырисовываясь, и тени прямые наискось пересекали плотно пригнанные плиты. Дальним эхом чьи-то шаги торопливые звучали, сопровождаемые как будто легким звоном шпор. Ленивые голуби тяжело вспархивали, чтобы опуститься поблизости и снова взлететь. Качался в немыслимой вышине почти невидимый коршун. Гудело раздуваемое пламя в кузнечном горне. Увешанная кувшинами молочница, как в омут, ныряла в прохладную мглу подъездов. Но не первой она была в то утро озноба и гула, утро предчувствий и длинных теней.

Признаки гостыи иной нарастали крещендо. Сами по себе ничего быть может не значащие, они дополнялись, усиливались и вдруг начинали кричать. Рыдала непритворенная калитка, плакали чьи-то следы на влажном с

ночи песке, и огоньки, мерещившиеся в сумраке окон, стонали, словно заблудшие души.

Петефи ворвался в дом Вахотов, готовый ко всему. Глаза Марии, черные, а не голубые, как всегда, поставили для него последнюю точку. Она едва заметно качнула головой и поманила его странной улыбкой, не предназначенной для живых. Ввела в неузнаваемую комнату, где свечи горели и два господина неловко переминались в углу. Кожаного дивана, где Этелька тихо спала, он поначалу как бы и не заметил, все на господ в визитках поглядывал, с трудом догадываясь, кто они и что делают здесь в этот ранний час. Затем докторский саквояж с серебряной табличкой, изящно загнутой с уголка, властно приковал его внимание, и он взирал на него удивленно, пока не заслезились глаза. Потом иная пища для взгляда обнаружилась: белый кафель печи и стены, обитые материей, где бесконечно повторялся один и тот же узор. Только туда, где свечи горели, он, пока мог, смотреть не решался. Но не надолго его хватило, не надолго. Попытившись от шушукавшихся докторов, как от нечистой силы, он упал у ее изголовья и, губами ловя невозвратное, забился в рыданиях. Может быть, так показалось ему или слезы согрели остывшее тело, но руки и плечи ее отвечали податливой теплотой, и румянились щеки, и до безумия отчетливо подрагивали ресницы.

— Она спит? — он умоляюще простер руку к врачам.

Сочувственно и безнадежно кивнув, они, однако, не двинулись с места. И только Мария, одарив его той же странной улыбкой, бережно положила на белый атлас зеркальце. Он схватил его, едва не выронив, и дрожащими руками приблизил к приоткрытым губам своей златовласой Илушки. Не затуманилось округлое стекло, не помутнела его равнодушная глубина, отразившая попеременно потолок, белый кафель и красные от слез, неузнаваемые глаза поэта. И по тому как никто не сдвинулся с места:

ни Мария, ни муж ее Шандор, ни светила науки, Петефи понял, что невозмутимое зеркальце не раз уже касалось этих приоткрытых и все еще розовых губ.

— Как это случилось? — спросил, трудно ворочая распухшим языком.

— Она встала с зарей, — из дальнего далека отозвалась Мария, — вышла в кухню встретить молочницу, но вдруг ахнула, схватилась за сердце и очень медленно опустилась на пол.

— Но вы уверены, что это не летаргический сон? — в который раз воззвал Вахот. — Она не проснется там, в гробу, в темноте? — голос его упал, и глаза расширились, замороженные навязчивым видением.

— Уверены совершенно, — кланяясь, отвечали с привычной грустью медики. — Благоволите послать за священником. А мы здесь, к сожалению, бессильны.

— Она умерла не одна, — покачал головой Петефи. — Вместе с ней отлетела и моя жизнь... Все пусто, бессмысленно...

Потом, стоя над холмиком белой сухой земли, усыпанном цветами и кипарисовыми ветками, он дал себе клятву, что станет приходить сюда ежедневно, что отныне эта скромная могилка на лютеранском кладбище станет его домом, куда он будет приносить, без надежды на утешение, неизбежную свою печаль, свое безответное горе. Впрочем, кто знает, быть может, в шелесте ветра, завившегося на пригорке, в падении осеннего листа или в шуме дождя, подмывающего старые склепы, он и услышит какой-то ответ? Различит слабое дуновение той невыразимой экзальтации, которую порождает любовь? Особенно такая, угасшая на пути к зениту, не успевшая разгореться.

С запоздалым упорством он убеждал себя в том, что с этой нерасцветшей любовью для него кончается все. Словно стремился возместить обделенной тени то, что

было предназначено для живой. И такова была сила самовнушения, что верность мертвой заслонила память живой. Робкая, нерешительная влюбленность обернулась вдруг изнурительной, иступленной страстью без утolenия и исхода. Любому другому это бы грозило безумием, распадом и смертью души. Но участь поэта — особая участь. Как Орфею, как Данте, суждено ему ожечь душу не только звездным, но и подземным огнем. В иные времена это понимали метафорически, в романтические сороковые годы — буквально.

Муза протаскивала избранника через ад, и он покорно следовал своему высокому и мучительному предназначению.

Ежедневно пештские обыватели встречали похудевшего, осунувшегося поэта бредущим по Вацкой дороге по направлению к кладбищу. Вначале столь трогательная верность усопшей возлюбленной вызывала слезу умиления, затем начала раздражать.

— Он совсем помешался, бедный Dichter<sup>1</sup>, — качал головой молочник-шваб. — Нарочно убивает себя.

— Поэтические фантазии, — отмахивался нотариус.

— Рисовка, — снисходительно бросал коллега-пиит. — Ведь он почти не знал эту Этельку Чапо, они были знакомы слишком недолго для столь роковой страсти.

Что ж, каждый из этих добрых филистеров был по-своему прав. Но безумие поэзии, фантастическая мечта и презрение к привычным меркам творили иную, высшую реальность. В кругу ее видений и обретался поэт.

Он сторонился друзей, избегал душевспасительных разговоров, день ото дня худел. И все же та опасная грань, о которой упомянул сердобольный молочник, была

---

<sup>1</sup> Поэт (нем.).



далека от него и постепенно отдалялась в недостижимые пределы. Дар Аполлона насылал болезнь, но он же давал от нее исцеление.

Ночью, в холодной каморке, куда Петефи перебрался после того, как оставил редактора Вахота и его модный журнал, наступало преображение. В ярком свете новенькой керосиновой лампы совершалось прекраснейшее таинство душ. Высшей на земле властью поэта мог Шандор Петефи вновь и вновь возвратить из небытия ушедший образ или исчезнувший миг. И хоть знал в тайне сердца, что ничего изменить, ничего исправить нельзя, все же стремился многое изменить и исправить. И жил ощущением этой упоительной власти. Поддаваясь собственным чарам, на краткий миг проникался невероятным. Переставал отличать сон от яви, бывшее от мечты. Даже дурное предзнаменование — пропажа той рождественской звезды — исполнилось для него высшим, космическим смыслом. Силой одной лишь любви он, подобно Великому Архитектору, творил миры. Но любовь его выходила по-человечески хрупкой и преходящей, а потому вечная соль человеческих слез плодотворила холодную космическую пыль. «Падают с небес на землю звезды. Падают из глаз на землю слезы. Отчего, не знаю, льются звезды. Над могилой, знаю, льются слезы. Тихо слезы падают и звезды, словно лепестки увядшей розы».

Он не искал утешения в стихах, но переполнявшая его тяжесть сама отливалась в кристаллических гранях строф. Мысль о том, что они когда-нибудь будут напечатаны, он считал бы тогда нелепой, почти кощунственной, но из строф вырастал постепенно щемящий до сладостной боли лирический цикл «Кипарисовый венок на могилу Этельки». Законченный цикл, живущий независимой от воли творца жизнью. Этельке он подарил бессмертие, поэту — неосознанное освобождение.

Вначале Шандор противился непрощеным переменам. Насильно старался удержать мысль возле белого холмика и чугунной ограды, вновь и вновь воскрешал в памяти свечи и застланный белым диван, незамутненное зеркало и странную, как во сне, улыбку Марии. Но час от часу это давалось труднее. Образы расплывались, отступали в туман, все реже трогая болезненные струны.

И даже там, на лютеранском кладбище, не достигал он необходимого сосредоточения. То его отвлекали гудящие бархатные шмели, колышущие мохнатым брюшком над скромным цветком крапивы, то он заслушивался соловьиным упоительным свистом или следил, как жирная кладбищенская улитка скользит по мрамору, оставляя блестящий слизистый след.

Жизнь вновь требовательно и властно звала поэта тысячекратными проявлениями своей бесконечно изменчивой сути. Нет, он не забывал свою Этельку. Она лишь покинула темные кладовые его исстрадавшейся памяти и растворилась в бескрайнем мире. Стала проблеском синего неба в тучах, золотой искоркой в тугой косе бегущего ручья, медовой жилкой листика, пронзенного солнечной стрелой.

Это нужно было понять, с этим следовало сжиться, это искало особых, никем не найденных слов.

— Где ты? — беззвучно звал он ее, щурясь на яркий свет.

— Здесь, — отвечала она, ласково касаясь лица паутинкой. — И здесь, — звенела ключом в известковой стене. — И здесь, — стрекозиными крылышками реяла у самого уха.

— Где ты?! — кричал он в лесную чащу, сомкнув пальцы у рта.

— Ты, ты, — угасало протяжное эхо.

Она была везде и нигде. А это значит, что не было ее на земле больше.

Однажды, возвращаясь, как обычно, с кладбища, он увидел хорошенькую мордашку и задержал шаг. А потом оглянулся и долго глядел вслед. И вдруг засмеялся, легко и благодарно.

## 11

Даже загадочный, из неведомых далей пришедший народ, чей язык непонятен соседям, перенимает чужие обычаи, вбирает и долго хранит слова незнакомой речи. Так случилось и с племенами, которые вывел Арпад на просторы римской Паннонии. Кто только не прошел до них по степным дорогам к западу от Дуная: остготы, лангобарды, авары, славянские племена. Славяне как раз и дали название самому обширному озеру в западной и центральной Европе. Наверное, спокойной, ленивой предстала перед ними зеленоватая гладь, густо заросшая камышом, коль нарекли они озеро словом «болото». Скуластые; раскосые куны, к которым так хотел принадлежать Петефи, сохранили название, слегка переиначив его на собственный лад. И стало озеро Балатон вождеденной отрадой венгерского сердца.

Все богатые люди, если дела не позволяли далеко удаляться от Пешта, пережидали жаркую пору на балатонских виллах. В тенистых двориках, увитых виноградом, где драгоценный мрамор Каррары и демократическая черепица равно покрыты пятнами раздавленных шелковичных ягод, до поздней ночи пылали костры и вкусно шипели на углях добрые куски рыжей от паприки свинины. От «цыганского жаркого» горело во рту, и руки сами собой тянулись к оплетенным соломой бутылкам и глиняным кувшинам, украшенным нехитрой желто-зеленой поливой.

Разводить виноград на склонах прибалатонских гор начали еще римляне. Здесь царил культ веселого и мсти-

тельного бога Диониса, о чем напоминают укромные гроты и каменные гробницы, отмеченные бессмертным знаком лозы. Красная почва выветренных пермских песчаников дарила местным винам зеленоватое мертвенное свечение, аромат резеды и неповторимый привкус горького миндаля. Сей букет был подобен поцелую смерти, после которого возбуждающе дрожала каждая жилка, а буйная прелесть бытия обретала обновленную ценность.

Особую славу снискал себе «Серый монах», который готовили по старым монастырским рецептам из гроздей редкого сорта *Auvergnat gris*, произраставших на выкрошенном базальте Бадачони.

Именно здесь, у подножия давным-давно уснувшего вулкана, названного, несмотря на сглаженную вершину, Острой иглой, приютилось ленное владение, отданное кем-то из Габсбургов мальтийским рыцарям, а затем отошедшее к отцам-иезуитам. Кроме скалы, украшенной загадочными гунно-секейскими рунами, которые никто не мог прочесть, да руин готической церкви, это прелестное местечко особыми достопримечательностями не отличалось. Если, конечно, не считать гигантского винного погреба, туннелем уходящего в недра горы, и порядком обветшавшего особняка с двухконными фронтонами в стиле Луи Шестнадцатого, где поселился на лето отец Бальдур, наделенный тайной властью провинциал.

Жил он тихо, достойно, но славился отменным гостеприимством. В его загородном доме подолгу гостили не только светские и духовные князья, но и люди военные, питомцы муз, финансисты, помещики и, разумеется, виноторговцы, ибо с воцарением отца Бальдура на щедрых землях венгерской провинции торговля бадачоньскими винами заметно оживилась.

Ныне гостевые апартаменты в бельэтаже занимали пештские литераторы: широко известный в аристократических салонах поэт Лайош Кути и молодой начинающий

критик Себерени. После верховой прогулки по окрестным долинам и в предвкушении трапезы небольшое общество расположилось на лужайке вокруг плетеного столика, затененного красно-бело-голубым тентом.

— Во вкусе французской революции, — как пронизательно заметил Себерени, наливая себе вина.

Осушив бокал, он тут же наполнил его, брезгливо сдув с пальцев двадцатилетнюю плесень, налипшую на узкогорлую, без этикетки, бутылъ.

У Кути это вызвало легкую досадливую гримасу, и он отставил едва пригубленное вино. Но хозяин, потягивавший одну только кипяченую воду, и бровью не повел. Остался таким же внимательным и радушным, готовым в любую минуту услужить. Стихи Кути были известны ему довольно давно, и после приезда в Пешт он поспешил завязать с поэтом знакомство. О существовании же на литературных подмостках Себерени до сего дня не знал ровным счетом ничего. Критика привез Кути на свой страх и риск, но после первых же ничего не значащих фраз знаток человеческих душ отец Бальдур мог поздравить себя с удачным приобретением.

— В «Пильваксе», значит, все на манер «Пале Рояля», — одобрительно кивнул он, как бы связывая воедино последнее замечание Себерени с теми отрывочными сведениями, которые молодой, но уже все понимающий литератор успел обронить за утренней беседой. — И дух, и внешнее обрамление.

— Как ни прискорбно. — Себерени пил жадно, не смакуя, не вдыхая букет. — Тем более, это не присуще венгерской нации. Кучка неистовых якобинцев буквально терроризирует вялое и потому послушное большинство, навязывая свои вульгарные вкусы, бездушный рационализм, циничное отношение к святыням. Все это чуждое, внушающее отвращение и брезгливость... Не наше, словом.

— Вполне разделяю ваши чувства,— поддакнул Бальдур, не столько соглашаясь, сколько надеясь на еще большую откровенность. — И кто же они, эти ваши якобинцы?

— Петрович, Палфи, Йокаи и все их ближайшее окружение.

— Петрович? — повторив непривычное имя, Бальдур с нарочитым удивлением поднял бровь. — Это еще кто такой?

— Так господин Себерени изволит называть нашу повоявленную знаменитость,— пояснил Кути. — Светило новейшей поэзии,— добавил с капризной гримаской.

— Простите, господа, но я не знаю, о ком идет речь. — Бальдур привычно сложил на груди руки. — Может быть, некоторая оторванность от культурной жизни отчизны послужит для меня смягчающим обстоятельством.

— Вы не много потеряли, эминенция,— зевнул Кути, титулуя иезуитского наместника, как князя церкви.

— И все же кто он, этот Петрович? — равнодушно полюбопытствовал хозяин, приказав знаком добавить вина.

— Да Петефи, монсеньор, кто же еще? — раздраженно дернул плечом Себерени.

— Петефи? — только привычная дисциплина помогла Бальдуру скрыть удивление.

— Ну разумеется! — сев на любимого конька, Себерени оживился. — Его отец словак, который взял в жены простую служанку, тоже словачку, кстати сказать. Понимаете?

— Не совсем,— улыбнулся Бальдур. — Разве Петефи словак?

— А кто же еще? — Себерени непроизвольно сжал зубы. — Просто свою славянскую фамилию Петрович он переиначил на наш лад. И находятся же идиоты, которые верят после этого, что это наш венгерский поэт.

— По-видимому, я тоже принадлежу к их числу, — мягко заметил иезуит. — Ведь он и в самом деле венгерский поэт.

— Ну уж нет! — Себерени резко взъерошил волосы, и плетеное кресло под ним заныло.

— Есть ли смысл спорить с очевидностью? — отечески попенял Бальдур. — Петефи, безусловно, поэт, плохой ли, хороший — разговор не о том, и, безусловно, пишет по-венгерски.

— Можно лишь сожалеть, что такой тонкий человек, как вы, монсеньор, не улавливает разницы между поэзией на венгерском языке и собственно венгерской поэзией.

— А это действительно разные вещи?

— Абсолютно, — откинувшись в кресле, бросил Себерени. — Мало родиться на венгерской почве, чтобы стать венгерским поэтом. Для этого нужны целые поколения венгерских мужчин и женщин, передающих, как вечный огонь, свою жизненную мудрость, свое чувство родины. Всего этого у господина Петровича не было. Он лишь повторяет чужие слова, словно попугай, не постигая скрытого в них глубинного смысла.

— Однако, — протянул несколько шокированный провинциал Общества Иисуса. Он впервые встречался со столь крайним проявлением национальной идеи и ощущал в себе странное неуверенное сопротивление. Сидящий по левую руку от него человек мог принести явную пользу ордену, но исповедуемые им идеи казались разрушительными, грозили принести множество совершенно непредвиденных бед. В такой двойственности таилась не только опасность, но и особый искус. Бальдуру хотелось использовать молодого человека целиком, во всем многообразии его духовного склада, но мешала непонятно откуда взявшаяся брезгливость. Таким орудием неприятно было повелевать.



— Вижу, вы не согласны со мной,— криво усмехнулся Себерени. Его глаза, наполненные искательной собачьей тоской, беспокойно забегали. — Правда — она неприятна...

— Правда не может быть приятной, как не дано ей быть и неприятной. На то она и правда. — Бальдур на мгновение задумался. Он хоть и не закрывал глаза на ограниченность человеческой натуры, но, безоглядно исповедуя экуменические идеалы христианства, исходил из наднационального принципа. Примат идеи над кровью был для него абсолютен. Поэтому ему не по пути с подобными молодчиками. Использовать и отбросить — другого не дано. — Нет, господин Себерени, я согласен с вами целиком и полностью,— заверил он со всей искренностью.

— А по-моему, это вздор,— лениво потянулся Кути, огладив на себе летний кремовый фрак. — Поэзия много выше дурацких племенных различий. Я имею в виду высокую истинную поэзию, понятную лишь утонченным натурам. Беда Шандора Петефи вовсе не в том, что у него отец словак, а в том, что наш юноша вообразил себя поэтом.

— Чем же объяснить тогда его популярность? — механически поинтересовался Бальдур, хотя наперед знал все, что скажет и даже подумает Кути, светский лев и жуир.

— Низкой культурой плебса,— протянул тот.

— Неразвитостью национального самосознания,— дал свою версию Себерени.

— Вернемся, однако, к «Пильваксу». — Как бы ни развивалась беседа, Бальдур не выпускал из поля зрения стержня. — Тон, по вашему мнению, в этом якобинском клубе задает именно Петефи?

— В первую голову он. Над его личным,— Себерени с презрительной улыбкой сделал на этом слове упор,— над личным его столиком, который пышно именуют «столом справедливости», висит портрет Марата.

— Это нехорошо,— отметил Бальдур, удовлетворенно уловив в тоне Себерени отчетливые нотки зависти.— «Марат — друг народа» и все такое прочее... Сколько лет Петефи?

— Мы с ним однокашники.

— Эх, молодость, молодость,— Бальдур благодушно вздохнул.— Ей свойственно все принимать слишком серьезно. Даже игру. Я имею в виду детскую игру в революцию.

— Игру? — Себерени возмущенно подался вперед и неловко задел бокал.— К вашему сведению, монсеньор, любимый лозунг Петровича таков,— он вскочил и театрально взмахнул рукой: — «Иезуитов на фонарь!» — и ножкой притопнул по травке, влажной от пролитого вина.— Как вам это понравится, отец мой?

— Да минует нас чаша сия,— двусмысленной улыбкой ответил иезуит.— Чувствуется, что вы коротко знакомы с нашим поэтическим якобинцем.

— Господин Себерени учился вместе с Петефи в шелмецкой гимназии,— подсказал Кути с рассеянным видом, но достаточно чутко следивший за беседой.

— Оч-чень интересно,— протянул Бальдур, думая о чем-то своем.— И каким же учеником проявил себя поэт там, у вас, в этом... Шелмеце?

— Не слишком прилежным. Так и остался недоучкой. Он был с детства испорчен. Спутался с местной потаскушкой по имени Борча, за что нещадно был порот отцом, гнусными домогательствами преследовал Эмилию Хартвиг, дочь нотариуса...— Предавшись воспоминаниям детства, Себерени настолько вошел в образ маленького ябедника, что приподнялся на носках и даже начал загибать пальцы, поминутно сбиваясь на плаксивую скороговорку.— Папаша его, кстати сказать, тоже во всей красе себя показал. Настоящий мизантроп самого дурного тона. Вымогатель, пустой прожектор, скандалист.

Не удивительно, что он вскоре спустил все, что имел, и оставил семью совершенно нищей. От его пьяных безобразий и постоянных побоев бедняга Александр сбежал с первой попавшейся бродячей труппой. Впрочем, еще неизвестно, кто из них хуже: папаша или сынок...

— «С отцом мы выпивали, в ударе был отец», — отбарабанив пальцами по краю стола, пропел Кути. — Изыщю, не правда ли?

— Чувствую, что вы недолюбливаете его, господа, — то ли одобрительно, то ли осуждая, кивнул Бальдур.

— Я — нет, — Кути презрительно оттопырил нижнюю губу. — Просто не имею с ним ничего общего.

— А я ненавижу, — страстно выдохнул Себерени. — Ненавижу за все, и в первую очередь за профанацию национальной идеи. Нашим поэтом смеет быть только тот, у кого в жилах течет чистая венгерская кровь.

— Он есть у нас, слава всевышнему, — Бальдур ласково наклонился к Кути.

Себерени молча опустил веки. Не посмел возразить.

— Благодарю покорно, — отозвался, помедлив, Кути, — но я вовсе не претендую на такую честь. Предпочитаю остаться просто поэтом милостью божьей. Мне не нужно призрачных титулов. У меня есть имя, и мне этого совершенно достаточно.

— *Nomen est omen*<sup>1</sup>, — примирительно заметил Бальдур, уловив в интонациях Лайоша Кути непонятное раздражение.

«Им тоже не по дороге друг с другом, — подумал иезуит, — разве что до ближайшего поворота».

После скромного, но плотного обеда, состоявшего из куриного бульона, обжаренной в кипящем масле балатонской рыбы и непременно салата, гости разошлись по своим комнатам часик-другой передохнуть перед даль-

---

<sup>1</sup> Имя — это знак (лат.).

ней дорогой. Как-никак, дилижанс тащился до Пешта семь, а то и восемь часов.

Когда вещи были уложены и на империале закрепили корзину с дюжиной отборных бутылок бадачоньского рислинга — подарок хозяина, провинциал отозвал Кути для приватной беседы.

— Значит, так, мой дорогой. — В последний раз раскланявшись с Себерени, который поставил башмак на подножку и, скучая, покусывал травинку, Бальдур взял поэта под локоток и увлек к колодцу, осененному фигурой святого Медарда, покровителя здешних мест. — Иллюстрации к французскому переводу ваших изящных творений заказаны лучшему парижскому графику. Надеюсь, вы останетесь довольны, но это к слову. Я, собственно, совсем о другом, — он сосредоточенно замолк, словно что-то припоминая, и, вдруг спохватившись, беззаботно пояснил: — Я вновь решился беспокоить вас небольшой просьбой. На ваше имя будет открыт небольшой счет, которым вы вольны распорядиться по собственному разумению...

— Нет, — твердо сказал Кути. — Это уж никак невозможно.

— Видите ли, дорогой друг, мне самому не совсем удобно вступать в непосредственные отношения с господином Себерени, но я считаю своим долгом поддержать его, ну, скажем так, некоторые патриотические начинания.

— Весь этот бред насчет крови и почвы?

— Не совсем... — ушел от прямого вопроса иезуит.

— Или вас волнуют доморощенные французы «Пильвакса»?

— Я не вдаюсь в перипетии литературных споров, но был бы рад, если бы вы поддержали на первых порах этого горячего молодого человека.

— Сколько вы ассигнуете на него? — Кути, казалось,

доставляло несказанное удовольствие медленно загонять в угол скользкого, как угорь, партнера.

— Скажем, пятьсот.— Бальдур понял это и ответил безмятежной улыбкой.— Пятьсот пенгё.

— Будь по-вашему. Это все?

— Нет... Еще две тысячи пенгё я попрошу передать господину Шандору Петефи.

— Что? — неприятно изумился Кути.— Две тысячи? Петефи? — Он зажмурился и потряс головой.— Мне кажется, что я сплю. Да он отродясь не видал такой суммы! И, наконец, зачем?

— Все с той же целью,— кротко пояснил Бальдур.— Для поощрения различных школ искусства.

— И без всяких условий?

— В общем, да, без всяких. Разве что вам удастся склонить его к несколько большей умеренности.

— А если не удастся?

— Отдайте все равно, но намекните, что сей добровольный взнос на издание новой книги — только начало... Если, разумеется, обнаружится хоть какая-то ответная лояльность.

— На мой взгляд, это бессмысленная затея. Можно все что угодно говорить о Петефи, но одного у него отнять нельзя — он фанатик. Такие люди обычно не продаются, отец Бальдур, увольте меня от подобных поручений.

— Вы неправильно поняли меня...

— Нет, я вас очень хорошо понял и со всей ясностью отказываюсь содействовать вам в этом деле.

— Как вам будет угодно, дорогой друг... Но относительно Себерени мы договорились?

— Пожалуй,— Кути неохотно склонил голову.

— И подобных ему, если таковые вдруг обнаружатся?

— Там видно будет... Короче говоря, я готов помочь свергнуть ложного кумира,— Кути деланно рассмеялся,—

но не вступить с ним в сделку. Для этого вам придется разыскать другое доверенное лицо.

— Я так и сделаю,— без тени улыбки ответил Бальдур.

— Одного не понимаю: зачем? — Кути нетерпеливо устремился к дилижансу.— Либо одно, либо другое.

— К цели ведут самые разные дороги,— напутствовала его иезуит.— И порой очень трудно угадать, какая из них короче.

## 12

Петефи спустился к Дунаю и, отыскав старый, посеревший от непогоды ящик, присел у желтой воды. Предзакатное небо давило глаза полыхающим тяжким светом. В суставах ощущалось тягучее томление, и не доставало сил надышаться вдоволь. Было смутно, как после тяжелой болезни, когда еще не очень веришь собственному телу и чужой ненадежной земле. Смерть Эгельки и бдения у могильного холмика отодвинулись в неразличимую даль. Призрачная сосущая пустота притупила память. Недавнее предстало нереальным, словно пережитым в иной жизни или привидевшимся во сне.

Протяженность времени определяется не столько качанием маятника, сколько накалом переживаний, мельканием событий, глубиной и свежестью чувств. «Кипарисовый венок», заставлявший вновь и вновь корчиться от уже притупившейся боли, принес освобождение и опустошенность. Минула целая эпоха. С поэтическим циклом закончился жизненный цикл. Думать о будущем не хотелось, и не осталось веры в целительную мудрость нового дня.

Стихи, вместившие высочайшее напряжение духа, вдруг показались чужими, и Петефи позволил друзьям









забрать их для публикации. Исчезла живая связь, по крайней мере так ему показалось, между переживанием и словом, которое отделилось и стало самодовлеющим. Сколько ни вчитывался он в эти замкнувшиеся, как двери склепа, строки, они не возвращали отлетевшую тень. Колдовство оборвалось. Остался лишь профессиональный навык брести в лабиринте за ускользающей нитью созвучий. «Стали облака, как стены сказочного замка фэй...»

Неуловимо меняя текучие формы, громоздились и рушились облачные лавины за помрачневшей рекой, пророча ветреный день и затяжное ненастье.

Петефи зашел в «Пильвакс» забрать почту. Избегая разговоров и встреч, забился к себе в каморку. Зажег лампу, хоть за окном не остыл раскаленный металл облаков. Вооружился разрезальным ножом. Из пакетов высыпались на ветхое одеяло газеты, журналы, заботливо подклеенные вырезки. Жизнь, от которой он пытался укрыться на неких пригрезившихся высотах, настигла его, схватила за горло и грубо повлекла за собой. Болезненным мерцанием заколотилось сердце, и знакомый, отчаяние предвещающий ком прихлынул к пересохшему горлу.

Как он был самонадеянно слеп, воображая себя любимым, признанным венгерской нацией поэтом! Если верить этой анонимно присланной подборке, не было в Пеште более жалкого, более ненавидимого существа, чем он, Шандор Петефи, пошлый, безграмотный литератор.

Пытаясь хоть как-то разобраться в сплошном потоке брани, внезапно обрушенной на его бедную голову, почти ослепший в это мгновение поэт разложил вырезки на своем сиротливом ложе. Забрезжила некая система, и в разноголосице хулы просветилась упрямая линия. «Они хотят убить меня,— подумал он мимолетно,— и, может быть, они уже убили меня».

С обостренностью затравленного животного, обложенного со всех сторон, и с немыслимой быстротой загнан-

ного на край обрыва беглеца, у которого нет времени на передышку, он схватывал на лету перекличку разудалой погони. Непостижимым чувством различал под градом ударов направление жаливших его стрел. Постепенно ему стали слышаться голоса. Живые голоса хорошо знакомых людей, устроивших эту лихую облаву.

— Не может приподняться над собственной персоной,— язвил Надашки, редактор «Хондерю». — Не способен обобщить чувства, придать им идеальную форму и вообще, говоря попросту, больше, чем надо, занят собой. Он не только не желает прикрыть свое «я», но, напротив, выпячивает его напоказ. Оно, конечно, простиительно, ежели сделано со вкусом и в веселом тоне. Отдельные его вирши могут сойти за стихи, но более высокие критерии поэзии к ним, бесспорно, неприменимы. То ли дело легенды Шуйански, сонеты Хиадора. Это джентльмен европейский, образованный, не то что наш пиит, который за пределами узкого духовного мирка собственной родины ничего не знает.

Что ж, старый англоман Надашки хоть оставлял за ним знание родины, а это немало, это, если подумать, невольная похвала. Молодые, не ведающие ни чести, ни жалости националисты отказывали ему даже в этом.

— Кто дал ему право говорить от имени венгерской нации? — восклицали они, не ведая в самонадеянном невежестве, что это право с рожденья получает каждый человек.

Но не до споров, не до полемики было с затопившей каморку разноголосицей. Не к дуэли склонялось дело, но к убийству, к омерзительному самосуду. Половицы скользкими стали от черных кровавых сгустков и на белых стенах, как звезды, алые брызги зажглись.

— Некоторые молодые поэты сквернословят,— перекрывая задышливую возню расправы, визжал Дарданус (поэт знал, что за этим псевдонимом скрывался Пом-

пери, пописывающий в «Элеткепек»<sup>1)</sup>. — Они пользуются такими словесными красотами, которые едва ли терпимы даже у пастушьего костра, но в поэзии поистине скандалезны.

— Маленький кудлатый паренек, на которого наговаривают, будто он великий человек, — вторил с ухмылкой критик Хорват.

И уже пад затоптанным, над оглушенным изгалялся его коллега Часар, разбрызгивая слюну:

— Народ — не то же, что бетяры — разбойники, отбросы нации. Даже полуобразованный читатель с возмущением отбросит от себя подобную нелепицу. Времени жаль на такое.

Все порождения ада сомкнулись вокруг поэта. Чудовищные рыла оскалили клыки. Но их подпирали все новые толпы, спеша на пир. Раскачивая кресты на могилах, стоймя вставали гробы, рушились прогнившие доски, и в клубах трухи выступали вперед душегубы, проткнутые колами, выкатывались раздутые вампиры. Хула, глумления, проклятия слились в перазличимый вой. И только пронзительный писк прорывался от инфернальных ангелков, которыми тешились ведьмы, от синюшных зародышей, не поднаторевших еще в королевской потехе.

— «Витязь Янош» — недурная, но скучная народная сказочка, которую, возможно, младенцы душой и телом будут слушать с превеликой радостью, — заявлял о себе из реторты одип.

— «Кипарисовый венок» — пренебрежение внешней формой, — откликался другой из горшка.

Хоть бы «Венок» не тронули, но нет — прошлись по рубцам, едва затянувшимся пленкой. Не надо было печатать, наводить упырей на свежий могильный холмик. Того и гляди, восстанет из-под тяжелой плиты Владек

---

<sup>1</sup> «Картины жизни».

граф Дракула и, расшвыряв латными наколенниками завывающую мелюзгу, жадно потянется к белой вуали...

Петефи смахнул с кровати разноформатные листки. Они были напитаны ядом, к ним отвратительно было прикасаться руками. Но и расстаться с ними было трудно, словно с зазубренным наконечником, застрявшим меж ребер. Неверное движение отзывалось кровотечением и болью. Напрасно он поспешил растопить печурку. Недоставало духу спалить набранную где петитом, где нон-парелью мерзость.

Самым пакостным, самым упорным гонителем проявил себя Себерени, школьный товарищ, которому Петефи открыл дорогу в литературу и в «Пильвакс». Этот ненавидел сильнее всех и неутихающей завистью вновь и вновь распалял свою злобу.

Во всех своих публикациях, мелких, дешевых, смердящих, он спешил раскрыть, и обязательно в скобках, истинную фамилию поэта. Это было основой его филиппик, от которых исходило шипение гробовой змеи. Перепевая одно и то же, он клеймил «трактирные стихи» своего бывшего однокашника и поносил его незадачливого отца. Петефи, который был всего лишь бродячим актером, чем не переставал гордиться, неожиданно узнал о себе много нового, ибо Себерени поочередно назвал его лесным бродягой, крикуном, лгуном, наглецом и, видимо, исчерпав перечень ругательств, мелким предметом редакционной мебели.

Неожиданно это успокоило поэта. Сжавшая сердце костлявая рука чуточку ослабила свою мертвящую хватку. Облыжная ругань была столь чрезмерна, что походила на славу. Ее не стоило принимать всерьез. По-настоящему обидно было другое: молчание великих. Они не могли не знать про потоки помоев, которые день за днем изливала на Петефи литературная критика. Но пикто из них не вступился, не сказал своего веского слова. Пред-

почли уклониться, выждать. Даже Вёрёшмарти, даже он — наставник и крестный отец.

Отобрав немногие статьи, подписанные известными именами, Петефи попытался хоть тут вычитать что-нибудь о себе положительное. Однако и респектабельная критика не нашла для него теплых слов. Хазуха советовал автору сжечь, по меньшей мере, каждое десятое стихотворение, а за прозу и вовсе не садиться; Гараи бранил за «чавканье».

Грызая перо, Петефи безуспешно пытался сосредоточиться. Мысли разлетались, сердце стучало, как от дальнего бега, липкий пот заливал глаза. Он был настолько молод и настолько безумен, что пытался ответить своим хулителям. Ах, он не понимал и никогда так и не понял тщету и опасность своих намерений, столь естественных для непосвященных, столь искренних для дураков.

Не подозревая о новых бедах, которые навлекут на него эти спешно, изменившимся от волнения почерком исписанные странички, он рассовывал их по конвертам. Не задумываясь о том, сколько ложных друзей обратит в открытых врагов и сколько истинных оттолкнет, помещал фамилии и адреса.

И вдруг заметил, что плачет. Слезы лились из глаз, и он ничего не мог с ними поделать, хоть и стыдился и даже не навидел себя в эту минуту непростительной слабости. Только перо помогло ему унять нежданную бурю, ибо от бога его волшебная власть. Заклятие словом — имя ее. Это она вдыхает пламя в строки, объединенные ритмом, ассонансом и рифмой, и в строки, ничем не связанные между собой. «Но я не плачу, плакать не люблю, я обещал не плакать никогда».

Нет, он ни разу еще не давал подобного обещания, но заклиatie произнесено, и клубящиеся вокруг поэта силы не забудут о том. Так и сбудется по изреченному слову.

Окончательно разбив надтреснутый умывальный тагик из голубой мейсенской керамики, в комнату ворвался Мор Йокаи. Голубоглазый, в застегнутой лишь на верхний крючок пелерине, с волосами, разметанными уличным ветром, и, как всегда, одержимый видениями, он едва замечал, что делается у него под самым носом. Может быть, этой изначальной, а не напускной, как у многих, особенностью он и пленил романтического поэта. Они подружились в захолустной Пане, куда Шандор забрел с бродячим театром. Еще был с ними Орлаи, писавший премиленькие заголовки для будущих романов. Как самонадеянно они размечали тогда непройденные дороги! Мор готовился стать художником и уже набрасывал иллюстрации к романам Орлаи, мечтавшего о литературном успехе, а Петефи ни о чем другом, кроме театра, и не помышлял.

Прошло только несколько лет, и как все перемешала, переиначила судьба: Петефи стал поэтом, Йокаи — прозаиком, а Орлаи, сменив перо на кисть, — живописцем.

Что-то ждет их за горами лет? Какие лихие перетряски готовит им время?.. Звери зодиака на циферблате как скамейки на карусели. Кого и куда увлечет неумолимое вращение под духовую музыку, под колокольный звон?

— Ты позволяешь себе страдать из-за этого? — Йокаи сгреб тростью разбросанные по полу вырезки. Он хоть и одержим был фантасмагориями, но с присущей нервным натурам чуткостью мгновенно заражался чужим настроением. — Не смей, товарищ, в огонь их, в огонь.

Он раздул утонувшие в сером пуху угли и бросил на них бумажный ком. Печатные строки подернулись желтым, словно испуская предсмертно накопленный яд, затем почернели и вспыхнули вдруг очистительным пламенем.



— В огне обновляется природа,— пробормотал Йокаи, захлопнув чугунную дверцу.— Пусть все дурное уйдет с дымом: клевета и порожденная ею горечь.

— Если бы так легко можно было разделаться с клеветой! — вздохнул Петефи.

— Именно так. Я верю в симпатическую магию. В восковую фигурку, пронзенную раскаленной иглой. Выше голову, друг.— Мор Йокаи отшвырнул трость и картинно сорвал с плеч пелерину.— Поверь моему знанию жизни: нет лучшего проявления славы, чем вопли завистников и зубовой скрежет клеветников.

— Не о такой славе мечтал я, скитаясь по разбитым дорогам Альфельда! Моя горькая слава прилетает ко мне на крыльях доносов и лжи, и терзает меня, и когтит мою печень.

— Венец пророка — терновый венец. А ты — пророк, Шандор. Вглядишься,— Йокаи резко обернулся и повелительно нацелил палец на засиневшее оконце.— Как темны судьбы нашей несчастной родины, какое кровавое зарево занимает где-то там, за Дунаем и Тисой! Вот источник наших страданий, и именно за это так ненавидит нас лютая свора. Вспомни Фландрию перед вторжением Альбы. Такое же тяжкое ожидание, гнетущее предчувствие крестной муки. Как и тогда, пугливо содрогалась земля и кружило над ней голодное воронье...

— погоди! — остановил приятеля Шандор.— Если ты и прав, то лишь в ощущениях. Нынче не те времена, и Габсбурги, засевшие в Вене, не чета гниющим в склепах Эскуриала. Оглянись на вселенную, Мор, прислушайся к ее зову. Повсюду движение, обновление, тайная работа по переустройству мира. «Молодая Италия», «Молодая Германия», «Молодая Европа»! Как это звучит, Мор, как звучит! И только мы одни боимся взглянуть на солнечный свет, не решаясь выйти из средневековых подвалов. Феодализм одряхлел, нужно только как

следует подтолкнуть, и он покатится по ступеням, ломая ржавые латы. Кто нам противостоит? Государственный совет представляет собой лишь шайку старцев, которые правят от имени слабоумного Фердинанда. Нет, не они будут нашими карателями. Они загремят, как проржавевшие горшки, едва народы расправят плечи. Но скажи мне, Мор, где «Молодая Венгрия»? Где наш Мадзини?

— А Штанчич<sup>1</sup>, которого по всей Европе преследуют габсбургские ищейки? А Лайош Кошут?

— Кошут? — Петефи в раздумье склонил голову. — Не знаю, может быть, и Кошут... Но почему он медлит? Почему играет в слова, вместо того чтобы открыто провозгласить в газете требования нации.

— Почему медлит? Да потому, что предстоит долгий и кровопролитный бой. Еще не настало время, хоть я и чувствую всем существом его неотвратимое приближение. Ты пророчишь легкую победу, а у меня сердце сжимается в предчувствии смертельного вихря, который пронесется над нашей землей.

Мор замолчал, перекинул через плечо пелерину и так же стремительно вышел, зажав под локоть английскую трость.

Отравленный тоской, растревоженный мрачной фантазией друга, Петефи потянулся к перу. Испытанное средство унять, отодвинуть на время сердечную боль. В минуты смятения, как никогда остро, хотелось обрести ясность мысли, ощутить вещей холодок внезапного озарения.

Но такой уж выдался день, что рукой поэта водила готическая муза Йокаи, забытая им у остывшего камелька: «Вот из канавы встал кладбищенской мертвец,

---

<sup>1</sup> Выдающийся венгерский революционный демократ (1799—1884), широко известный под фамилией Танчич.

грызя свой посох нищенский, и зубы у него ломаются, и кровью давится, и мается, а все ж грызет...»

Это было последнее прощание с Этелькой. Он оставлял ее в царстве теней, потому что вокруг гудела и корчилась под бичами насильников родная земля и дымный пожар занимался в темном окне утлой лачуги. «Близ призрака ведро огромное, чтоб черпать крови влагу темную. А вот мальчишка обезглавленный кричит судье: «Ты вор отъявленный!» И голову он отсеченную швырнул судье в стекло оконное. Вот виселица. А повешено — дитя! А мать хохочет бешено: «Ой, дитятко, ты ноги свесило!» Вцепилась в них и пляшет весело. Вот девушку я вижу. Снится мне: спят жабы под ее ресницами и страшен нос ее, оседланный кровавой крысою ободранной, а волосы — как черви длинные. В объятия полужмеинные безрукий человек берет ее...»

Как в ночном кошмаре, чудовищно перемешались перед внутренним оком его отблески когда-то увиденных сцен. Они пугали и влекли, неожиданно представ в небывалых, немыслимых сочетаниях. Сквозь солдатское сукно просвечивали кирасы рейтеров Альбы. Неполющенный монарх, скользивший в причудливом танце по зеркальному паркету Хофбурга, где никогда не был поэт, представ в обличье бродячего актера с накладным париком и шутовской короной, съехавшей на затылок.

Раскрывались, распахивались дали, и уже педоставало слов, чтобы хоть обозначить сменяющиеся гротески. Рука не успевала бежать по бумаге, и сердце билось на последнем пределе бега.

Внезапно все оборвалось, померкло, поэт рванулся из последних сил, но, ударившись о непроницаемую стену, покачнувшись и упав, раскинув руки, в одуряющую полынью.

Импозантный капельмейстер поклонился публике, лихо подкрутил рыжий ус и поднял волшебную палочку. Изящное мановение, и медь полкового оркестра излила на веселый Карлсбад чарующую музыку «Венгерской рапсодии». И, словно настраиваясь на мелодичные такты, неувовимо изменили свой ритм сердитые гейзеры, окутанные бромистыми парами. То ниже, то выше выплевывал струйку горячий фонтан. И нарядная толпа, чинно гуляющая по широким аллеям, тоже, казалось, ускорила ритм бесконечного вращения вокруг мраморной колоннады, защищавшей от капризов погоды залу целительных источников модного гидропатического курорта.

Дух вечного праздника витал над аркадами, ажурными павильончиками, открытыми кафе и выгнутыми мостами, под которыми играла в камнях и струях крапчатая форель. Такова была власть музыки, что даже рыбки примеряли к ее невидимым волнам свои негадающие прыжки.

Изящно прикладываясь к узким носикам фаянсовых поильничков, сановные старички в треуголках и юные красавицы в перчатках до самых локтей дарили друг другу трогательные улыбки. Насыщенные горькой солью целебные воды, успокаивая первы, пробуждали вкус к убийственным для расстроенного желудка деликатесам. На каждом углу продавались знаменитые вафли, облитые горячим шоколадом, жареные каштаны, острые пикули и устрицы из Остенде, обложенные кусками тающего льда и бурой морской травой. Пестрота туалетов, изысканный блеск витрин, непавязчиво предлагавших шедевры мануфактур Парижа, Лиона и Вены вкупе с отуманенной нектаром цветочной корзинкой из Пармы или Ниццы,— все было к услугам европейской аристо-

кратии, спаянной воедино изящным языком Ронсара в сложной паутиной матримониальных уз.

Сюда приезжали лечить тайный недуг вепчепосцы, израненные военачальники и брыластые дипломаты, обремененные грузом государственных тайн. Поэтому никто не удивлялся, увидев на променаде озабоченного фельдъегеря, секретного агента в черном плаще или переодетого жандарма, который по привычке ел начальство глазами и поминутно становился во фрунт. И как аранжировка, как бордюр анютиных глазок вокруг пышной клумбы, оживляли курортную улицу знойные румынские скрипачи, дамы полусвета в темных вуальках, вечно голодные артисты и профессиональные шулера.

— Mille tonnerres! — Изящный молодой человек в английском фраке с кружевным жабо порывисто остановил невысокого болезненного вида господина, уныло посасывающего из кружки целебную горькую воду. — Вы ли это, дружище? Подумать только, где встретиться привелось!

— Корнет Массальский! — обрадовался Аптал Регули, завсегдатай австрийских водолечебниц. — Вот не ожидал! Но что вы здесь делаете? Неужто тоже лечитесь?

— Никак нет, — рассмеялся Массальский. — Сопровождаю его высокопревосходительство... А знаете что? — озарился он внезапной мыслью. — Поедемте в нашу резиденцию?

— Сочту за честь. Но только не сегодня. У меня здесь деловое свидание ровно через десять минут. — Регули вынул «луковицу» швейцарской фирмы...

Стареющий граф Фикельмон скучал в увитой ползучими розами мавританской беседке, поджидая Долли, упорхнувшую с княгиней фон Шварценберг в модный салон. Лениво перелистывая лондонские, парижские и санкт-петербургские газеты, доставленные с опозданием всего в три дня, он с одного взгляда улавливал основные

политические новости, не затрудняя память, ненужными подробностями и протоколом.

В белом мундире с золотым стоячим воротником, при звездах и крестах с разноцветными ленточками, он все еще был привлекателен. Пушистые поседевшие бакенбарды скорее молодили его несколько помятое, но юношески наивное лицо, а светлые неподвластные переменам глаза взирали на мир доверчиво и открыто.

— Мы вам не помешаем, эрлаухт<sup>1</sup>? — нарушил его уединение доктор Регули. — Позвольте представить моего друга и земляка Александра фон Телеки, венгерского графа.

— Счастлив с вами познакомиться, граф. — Фикельмон не сразу оторвал свое грузное тело от скамьи. — Прошу садиться, господа, я как раз раздумывал, чем себя занять.

Откинув фалды, Регули присел на самый краешек, словно давая понять, что пребывание его будет кратким. Зато Телеки сразу же придвинулся к Фикельмону и с присущей ему прямоотой изложил цель своего, с виду совершенно нечаянного визита.

— Прошу великодушно извинить, — начал он, — за то, что нарушаю ваш отдых, но у меня есть дело к вам, граф, секретное и не терпящее отлагательств. Узнав, что вы здесь, я умолил господина Регули представить меня.

— Ваше имя не нуждается в представлении. Я много слышал о вас... Вы ведь неутомимый путешественник, граф? Париж, Лиссабон, Петербург... Наши посольства не успевают следить за столь стремительными перемещениями... — Фикельмон, обменявшись прощальным поклоном с Регули, замолк, тонко дав понять, что осведомлен о деятельности и, возможно, политической ориентации собеседника.

---

<sup>1</sup> Ваше сиятельство (нем.).

— Я знаю вас как человека чести.— Венгерский граф гордо расправил плечи.— И потому готов рискнуть столь драгоценной для меня личной свободой. Речь идет о секретах австрийской дипломатии, за которые ничего не стоит упрятать в Куфштейн.

— Вы намерены раскрыть их мне? — Вопрос прозвучал чуточку иронично, но глаза Фикельмона не изменили присущего им наивного выражения.

— Больше того, вооружить вас ими.

— Вооружить? Но против кого?

— Против Клеменса Меттерниха, которого одинаково ненавидят и в Пеште, и в Вене.

— Намерения ваши, возможно, искренни, но безумны.

— Отнюдь. Этот человек, граф, не только губитель свободы, но и монархии, чьему принципу вы служите. Он уже не способен держать в руках бразды правления и увлекает имперскую колесницу в пропасть.

— Разве вы не приветствуете в тайне души подобную катастрофу?

— Нет. Я не хочу, чтобы вместе с выжившим из ума возницей погибли сотни тысяч невинных: не только венгров, но немцев, итальянцев, кроатов<sup>1</sup> — любых.

— Пусть так.— Фикельмон незаметно огляделся по сторонам и понизил голос.— Но я не вижу возможности изменить положение... Поэтому оставьте при себе ваши опасные тайны.

— Вы не хотите узнать, в чем суть дела?

— Откровенно говоря, нет, потому что никакие разоблачения не смогут существенно поколебать расстановку сил.

— Все же я откроюсь вам, граф.— Телски был явно поколеблен в своей первоначальной уверенности.— Но

---

<sup>1</sup> Так в Австрийской империи называли хорватов.



крайней мере, чтобы знать, как действовать дальше.

— Как вам будет угодно.— Лицо стареющего патриция замкнулось, разом утратив детское наивное выражение, а ответ был нарочито двусмыслен.

— Известно ли вам, граф, что имперские посольства в ряде столиц стали прикрытием для грязных финансовых махинаций? Речь идет о незаконных поставках, биржевой игре через подставных лиц, контрабандной торговле оружием.

Фикельмон и глазом не моргнул, храня выжидательное молчание.

— Если вам это известно, то, быть может, вы знаете и в чьи руки попадает львиная доля скандальных барышей?.. Или догадываетесь?

Фикельмон и на сей раз не выразил никаких чувств.

— А тайна головокружительной карьеры Кауница вас никогда не занимала, граф? И чей он фаворит? И почему все сходит с рук ему самому и его беспутным друзьям, которых вытаскивают из самых компрометантных ситуаций?

— Вы располагаете соответствующими документами, должным образом оформленными показаниями свидетелей?

— Пока нет, но они будут у меня, граф.

— В таком случае рад был свести с вами знакомство.— Фикельмон достал усыпанный бриллиантами брегет, демонстративно щелкнул золотой крышкой. Аристократ, который только что беседовал с равным по рождению и кругу, неуловимо преобразился в сановника, обремененного грузом государственных забот.

— Могу ли я надеяться на новую встречу, когда все необходимое окажется у меня в руках?

— Я не знаю, о чем вы говорите, и вообще с трудом понимаю ход ваших умозаключений.— Фикельмон помедлил, играя часовой цепочкой.— Но, кажется, вы на

ложном пути... И все же мне хочется дать вам совет на прощание.— Он скользнул по смелому, волевому лицу венгра беглым, но все замечающим взглядом.— Вам лично ваши заблуждения действительно могут стоить Куфштейна, но вашим информаторам, а возможно, и вдохновителям придется подставить голову под топор. Подумайте над этим различием, если дорожите своими друзьями. Тюрьма на переломе эпох не столь страшна, из нее, бывает, вскоре выходят, а топор, мой молодой и горячий друг,— это уже необратимо! Обидно умереть на исходе ночи.

Телеки поспешно встал, молча отдал поклон и бежал по ступеням беседки. Фикельмон, несомненно, знает обо всем. Больше того, он недвусмысленно предостерег о судьбе, ожидающей в случае провала близких ему, Шандору Телеки, людей. И прежде всего самого дорогого — Штапчича, наставника детских лет, учителя, друга. Это он, бунтарь и мечтатель, своими рассказами, примером собственной трудной жизни зажег в его сердце неутешимую жажду справедливости. Страшный дар, мучительный, горький. Он отнимает радость у жизни, сжигает самое жизнь. Но без этого сжигающего жара человек уподобляется покорному скоту. Без него нет оправдания и смысла в коротком проблеске среди ночи небытия, что зовут человеческой жизнью.

Экипаж уже вовсю катил Дикого графа, как прозвали Телеки друзья, по дороге в Пожонь, когда к скользящему Фикельмону возвратилась Дарья Федоровна. Оживленная, сияющая, по-детски счастливая удачной примеркой и почти столь же прекрасная, как тогда, в Неаполе, как потом, в Петербурге.

Церемонно предложив руку, граф вывел жену на горбатый мостик, с которого беззаботно фланирующие курортники кормили лебедей, жиреющих в теплой солоноватой от минеральных стоков воде.

Над речной долиной, над горами, поросшими лиственным лесом, реяли бравурные аккорды. Стремительные ласточки кувыркались в ликующей сипеве, преследуя бабочек, пулей неслись под мостами. Пахло солнцем, цветочной пылью и невыразимой свежестью расцветающей жизни.

Не верилось в старость, в смерть, в неотвратимую неизбежность подступающих перемен.

— Чем вы занимались, мой друг, пока ваша легкомысленная жена примеряла обновки? — поинтересовалась Долли, кокетливо склоня голову к плечу.

— Собственно... ничем, дорогая, — промолвил граф, заложив за спину руку с зажатой перчаткой. — Выкурил сигару, просмотрел газеты... Ничего интересного. В России вновь опасаются вспышки холеры морбус.

## 14

Воистину блажен умеющий ждать. Правы оказались умудренные жизнью бойцы. Площадная брань критиков не только не убила поэта, но разнесла славу о нем по всем венгерским комитатам. И хоть хула от этого не умерилась, в терновом венце зардела первая роза.

Не веря своим глазам, Петефи прочел первый о себе похвальный отзыв.

«Можно смело сказать, что он истинный гений, — писал восторженный, но одинокий ценитель. — Точно молния, пробил он себе путь в небе венгерской поэзии и сверкает теперь среди самых блестящих, самых крупных звезд, с холодной и насмешливой улыбкой взирая на то, как завистливо моргают эти маленькие падающие звездочки... Эти господа считают величайшим недостатком Петефи, что он пишет так, как чувствует и думает...

И разве не страшно виноват Петефи, что он посмел заговорить на языке народа? Удивляюсь, как это его еще не привлекли за такое демократическое преступление к суду с обвинением в измене родине... Но напрасно тщатся эти гусеницы объесть вечнозеленые листья венца Петефи. Изнемогая от напрасных усилий, они сами же падут с древа жизни в могилу забвения, а поэт, которого они забрасывали грязью, нетронутый и победопосный, переступит порог дворца бессмертия».

Несмотря на некоторую выпренность, статья звучала пророчески.

Немало позабавило Петефи и то обстоятельство, что вырезки со столь лестной оценкой прислали ему, словно заранее сговорившись, сразу несколько человек. И первым среди них, что было удивительнее всего, оказался не кто иной, как Лайош Кути.

До Шандора доходили последнее время вести, что Кути упорно домогается с ним встреч. Но после первого и последнего свидания их в Пожони, когда боготворимый местными дамами светский лев едва взглянул на представленного ему молодого поэта, Петефи отнюдь не жаждал возобновить знакомство. Лишь неустанные увещания издателя Эмиха подточили его упрямое нежелание и заставили откликнуться на пятое, а то и шестое приглашение, любезно написанное на обороте визитки. Чего только не сделает зависимый от всех и вся литератор ради издателя, купившего у него ненаписанные еще строки! Да и не стоило так уж препираться с добряком Эмихом из-за такой, в сущности, малости, как ни к чему не обязывающий визит. Тем более в столь трудную для поэта пору, когда он, порвав с Имре Вахотом, вновь соскальзывал по наклонной от бедности к нищете.

Видит небо, Петефи не настраивал себя по дороге на схватку, но отвращение и злость так и взметнулись в нем, когда он переступил порог дома Кути.

Кокетливая горничная внушительных форм, играя бедрами, провела гостей через анфиладу комнат в дальние покои, где в дверях кабинета дожидался с застывшей улыбкой радушный хозяин. В тяжелом, почти оранжерейном воздухе Петефи чувствовал себя рыбой, выброшенной на горячий песок. Пряные испарения тропических растений, смешанные с ароматом парижских духов и дымом восточных курильниц, вызывали тошноту. Покруживалась голова, в глазах мелькало от полированных, инкрустированных перламутром столиков, горок с кружевным фарфором из Севра и китайскими нефритовыми безделушками. Пробираясь сложным путем мимо бесчисленных пуфиков и разных подставок для паргиле, Петефи едва удержался от желания поддать ногой катавшуюся по толстому ковру кошку. Стены комнат тоже были завешаны мягкими хоросанскими коврами, а с лепного вызолоченного потолка спальни ниспадал живописными складками тончайший муслин, приоткрывая необъятное, подпираемое пухленькими амурчиками ложе.

В таком доме могла жить модная гетера, но только не художник, тонким искусством слова зарабатывающий свой хлеб. От этого алькова, от всей этой нарочито выставленной напоказ роскоши веяло чем-то постыдным, недостойным уважающего себя мужчины. Петефи знал, конечно, о слухах, ходивших насчет богатых поклонниц Кути, выписывавших для своего кумира французскую мебель и брюссельские кружева. Тем более что Кути не только не опровергал подобную молву, но даже как будто гордился ею. И все же Шандор, утром едва паскребший семь крейцеров на доплатное письмо, пожалел собрата по ремеслу, у которого господь в гневе своем отнял и вкус, и разум. Все было ненавистно гонимому жизнью артисту в этом жилище великосветского баловня и карточного партнера эрцгерцога Иосифа.

Кути полураскрыл объятия и сделал шаг навстречу

долгожданному гостю. Отражаясь в зеркалах, обрамленных бронзовыми завитками, они медленно сблизились, столь непохожие, столь противоположные друг другу, что близорукому Эмиху стало неуютно. Он вдруг пугающе ясно представил себе, чем это может кончиться. Если набывчившийся, мрачно сверкающий глазами из-под насупленных бровей Петефи отвергнет протянутую руку, может возникнуть неприятное объяснение, даже дуэль, а этого чувствительный издатель боялся смертельно.

Но Кути ловко избег опасной ситуации, преувеличенно крепко обняв Эмиха. Ломая беднягу так, что у того хрустнули кости, словесные приветствия он адресовал, однако, Петефи, и возможное недоразумение на первых порах разрешилось.

В кабинете, где безделушек было едва ли не больше, чем книг, сидели в креслах два неизвестных господина. Едва закончилась церемония взаимных представлений, как они поспешили раскланяться. У прозорливого Эмиха сложилось впечатление, что именно так и было задумано с самого начала. Он не мог лишь понять, зачем понадобилась Кути эта торопливая демонстрация, да и сам Петефи, которого пришлось тащить чуть ли не на аркане.

Вначале пехитрые петли пустой, чисто светской болтовни плел один лишь хозяин, потому что Петефи угрюмо отмалчивался, а Эмих, пытаясь разгадать истинную подоплеку встречи, отделывался междометиями. Но постепенно беседа приблизилась к злободневным литературным делам и стала всеобщей.

— Мне было особенно приятно направить к вам первую ласточку, дорогой Петефи, — намекнул Кути на давешнюю рецензию. — Не сомневаюсь, что теперь и остальные критики воздадут должное вашим стихам. О, они великолепны, — он томно возвел очи к потолку. — И достойны всяческой похвалы.

Нет людей, абсолютно нечувствительных к лести. Тем более беззащитен пред нею поэт, так доверчиво раскрывающий сердце, все свое сокровенное раздающий другим. Вот почему, не доверяясь ни смыслу, ни тону преувеличенных похвал, Шандор тем не менее внимал им не без сочувствия.

— Чем пламеннее влюблялся я в вашу музу,— не прерывал сладкоголосого журчания Кути,— тем сильнее зрело во мне желание предостеречь вас от некоторых неверных шагов. Это ведь так естественно, не правда ли? — и, не дождавшись согласного кивка, поспешил объяснить: — Только этим и вызвано мое настойчивое стремление продолжить наше знакомство, начавшееся, быть может, и не слишком удачно еще в Пресбурге.

— В Пожони,— уточнил Петефи на мадьярский лад.

— Совершенно справедливо, в Пожони... Я сохранил об этом периоде жизни самые прелестные воспоминания.

— А я нет,— не давал усыпить себя сладкой музыкой Шандор.— Разве непотребные девки, просто так, по доброте душевной, дававшие мне временами ночлег, вспоминаются с теплотой. Я околевал там от голода и спал на садовых скамейках.

— Как много вам пришлось пережить,— вздохнул Кути.— Но теперь все переменилось, вы знамениты, по-прежнему молоды, у вас прекрасное будущее.

— Разве что будущее,— с горечью усмехнулся Петефи.

— Скоро выйдет у нас твоя книга,— ласково попенял ему Эмих.— И ты снова будешь богат. Такова участь артиста,— заметил философски,— то пусто, то густо.

— Собственно, именно эти мысли и владели мной все это время,— поспешно вернулся к исходной точке Кути.— У такого артиста, как вы, дорогой друг,— не решаясь обращаться к коллеге на «ты», он пазывал его «дорогим



другом», — должно быть прочное положение и, простито за прозу, твердый доход.

— Бесспорно, — поддакнул Эмих с известной опаской. Разговор о доходах собственных авторов неприятно травмировал чувствительную душу.

— Как бы вы посмотрели на свое, причем самое деятельное, участие в новом литературном журнале?

— Что за журнал? — насторожился Петефи.

— Пока еще не знаю, — беззаботно отмахнулся Кути. — Даже названия еще не придумано... Но тем не менее это дело ближайшего будущего, и мне бы хотелось заранее заручиться вашим согласием.

— На что именно?

— Разумеется, на публикацию ваших творений. Более ничего, никаких других обязанностей. — Кути убеждал торопливо и жарко, словно самого себя стремился в чем-то переубедить. — Условия самые подходящие. Сто, а то и сто пятьдесят пенгё-форинтов в месяц. Это синекура, мой друг, понимаете, си-не-кура, о какой можно только мечтать.

— Какого направления будет придерживаться журнал? — спросил Петефи хрипло и резко.

— О, самого либерального, можете быть совершенно спокойны. — Кути умоляюще прижал к груди скрещенные руки. — Но без крайностей, разумеется, без самых крайних крайностей, — счел нужным он конфузливо уточнить.

— Что имеется в виду под «крайними крайностями»? — Поэт безотчетно повторил интонацию.

— Видите ли, дорогой друг, — Кути сосредоточенно замолчал, подыскивая нужные слова. — В вашей душе таятся неисчерпаемые сокровища поэзии, но вы часто тратите их необдуманно и расточительно. Не разбрасывайтесь, и вас увенчают лавры... — он споткнулся и, не совладав, должно быть, с собой, сухо уточнил: — ...одного

из ведущих поэтов страны.— А хотел ведь сказать «первого», но не сумел, язык не повернулся, ибо лишь себя точитал за первого и не был в этом мнении одинок.

— Не разбрасываться? — вяло удивился Петефи, не заметив запинки.— Это как же понять?

— Ну, если угодно, не мечите бисер перед свиньями. Вы ведь хотите писать для народа, но пишете почему-то лишь для крестьян, для наименее чувствительного к поэзии и наиболее грубого слоя общества. Увлекаясь, вы, по-видимому, просто забываете, что народ и чернь — понятия далеко не равноценные.

— Кто же тогда по-вашему представляет народ?

— Кто? Ну, это по-моему ясно: элита, образованное, думающее, ответственное за свои поступки меньшинство. Оно и олицетворяет нацию, ее творческое начало.

— А «чернь», значит, миллионы обездоленных венгров?

— Не стоит прибегать к таким грубым приемам полемики, дорогой друг,— укоризненно улыбнулся Кути.— В своем узком кругу мы бы могли обойтись без взаимных уколов... Хорошо, каюсь, я оговорился, употребив слово «чернь», но ведь вы понимаете, о чем я говорю?..

— Вы склоняете меня на путь дворянской поэзии, хотите зачислить в стан ревнителей реформ?

— По-вашему это дурно, реформы? Экий вы колючий.

— Может быть, оно и не дурно, да только не для меня. Я и вправду не салонный цветочек, а буйный степной чертополох.

— Очень жаль... Вооружившись большей умеренностью, вы бы смогли принести много пользы: народу, себе лично, да и критиков ваших порядком обезоружили бы.

— А что критики? Мнят себя Юпитерами-громовержцами, а толку чуть. Я, как видите, жив и здоров, несмотря на всю их трескотню. Проходит неделя-другая, и от их писаний даже следа не остается, а стихи живут.

— Вижу, что не переубедил вас,— с притворным вздохом развел руками Кути и дернул сонетку звонка.— Кофе по-турецки,— велел заглянувшей в комнату горничной.— В дубовой столовой.

— Прошу прощения, но я тороплюсь.— Петефи решительно поднялся, увлекая своим примером задремавшего Эмиха.

— А я-то падеялся, что мы вместе поужинаем,— вновь неискренне огорчился Кути.— Ожидаются интересные люди: архитектор Кошшай, генерал Янковиц, отец Бальдур...

— Терпеть не могу попов,— потеряв терпение, махнул рукой Петефи.— А иезуитов особенно. Их подлейшая цензура высосала из нашей литературы живую кровь... Честь имею кланяться! — бросил и кинулся прочь.

Порывисто, резко, что, впрочем, не считалось дурным тоном в эпоху «бури и натиска».

— Ничего не поделаешь,— сочувственно развел руками Эмих,— такой уж он дикий...

Вечером, беседуя с Бальдуром, Кути, не жалея подробностей, пересказал свой разговор. В пересказе вышла, однако, небольшая перестановка. Отзыв Петефи о попах и иезуитах перемещен был в начало рассказа, а согласие поэта на большую умеренность, к чему якобы сумел склонить его ловкий мастак Кути,— в конец.

— Одним словом, у меня создалось впечатление, что в нем произошли известные сдвиги к лучшему,— заключил он доклад.— Во всяком случае, он безропотно принял половину ассигнованной вами суммы. Это, я считаю, большой успех.

— Почему половину? — осведомился иезуит.

— Не хотелось рисковать сразу всем,— озабоченно признался Кути.— В случае явно выраженного движения к добру можно будет подкормить его еще раз. Так будет вернее.

— Допустим.— Бальдур на мгновение поднял глаза.— А вы верите в такое движение?

— Ничуть,— зачем-то бравируя, ответил Кути.— Этот недоучка способен на любую подлость. Денежки-то он взял, но я не поручусь, что в эту минуту там, в якобинском кабаке, не кропаются строки о... черных сутанах,— досказал чуть ли не со сладострастием.

— Что ж,— бесстрастно ответил отец Бальдур,— посчитаем тогда наш маленький опыт неудавшимся... По крайней мере, половина денег, что вы столь рачительно уберегли, пойдет на богоугодные цели.

— Конечно,— поддакнул, потеряв почему-то голос, Кути.— Вы совершенно правы, монсеньор.

В ту же ночь, понтируя против гостившего у эрцгерцога палатина фельдмаршал-лейтенанта Кауница, он спустил две тысячи пенгё. Подвела бубновая дама, которую его превосходительство придавил тузом.

Болтая за ликерами и сигарой с недавними партнерами по ломберному столу, он вновь, но уже в самых черных красках пересказал свой диалог с поэтом.

— Можете верить моему глазу, господа,— сделал окончательный вывод,— он сумасшедший.

— Или русский шпион? — высказал свою точку зрения Кауниц.

— А что? Вполне возможно,— словно бы прицениваясь, склонил голову набок Лайош Кути.— Он, знаете, обмолвился как-то, что хотел бы видеть на венгерском престоле словака.

— Тогда вы правы, он действительно сумасшедший,— заключил Кауниц.

О деньгах, которые нужно будет вернуть, как только Петефи напечатает очередное злопыхательское творение, чего, видимо, не придется ждать особенно долго, он старался не думать.

Той же ночью в «Пильваксе» действительно родился

набросок: «Что вы лаетесь, собаки? Не боюсь! Умерьте злость! В глотку вам, чтоб подавились, суну крепкую я кость. Не тепличный я цветочек, вам меня не срезать, нет! Я безудержной природы дикий, вольный первоцвет!»

Догадавшись, а это было вовсе не трудно, что на сей раз его просто хотят купить, он ощутил удалую бесшабашную ярость, которую и поспешил перелить в энергичные, злые стихи. О другой стороне предпринятой Кути неуклюжей попытки он, естественно, не догадывался. Зато отец Бальдур удостоверился, что, по крайней мере, одна из двух певчих птичек уже крепко запуталась в его силках. Две тысячи пенгё за великосветского пипиона со столь разветвленными связями, в сущности, было не очень дорого.

## 15

Стекают струйки по замшевой коре венских платанов. Бледные листья ложатся на мокрый булыжник. Омытые дождем, ядовито зеленеют шпиль и купола.

Вновь цокают копыта по мостовым имперской столицы. Пятерик вороных — пара дышловых и тройка на выносе — мчит забрызганную навозной жижей карету мимо старой стены, обогрессенной холодеющей кровью дикого винограда, по кольцу бульваров, в тихие улицы Альзергрунда. Гайдук в дождевике поверх ливреи, знай себе, пощелкивает кнутом. Звенят бубенцы и поскрипывают колеса. Фонари задевают шуршащие ветки, опавшие листья прилипают к выгнутой дверце, где под графской короной в девять зубцов сусально поблескивает на черном герб семейства Колло-до-Турн.

Но, невзирая на герб, на ливрею, на фамильные цвета пестрой сбруи, не сиятельного маркграфа покачивают

бархатные подушки берлины. Прильнув к затуманенному окопцу, бесстрастно взирает на проплывающую мимо роскошь барокко монсеньор Бальдур, залетный венгерский гость.

От замка к замку, от монастыря к монастырю мчался он, не зная отдыха, прямо из Эстергома. Меся, словно на почтовых станциях, подставы, а то и сам экипаж, спешил с тайной вестью, которую не мог доверить письму.

У голубого дворца, построенного фон Эрлахом, тонким, изысканным зодчим, карета описала дугу и замерла под навесом подъезда.

— Я от его высокопреосвященства эстергомского кардинала,— шепнул Бальдур надменному дворецкому в завитом парике.— Доложите эрцгерцогине,— и повернулся к зеркалу пригласить седеющие виски.

В зале, увешанной доспехами для конных и пеших, было сумрачно и тихо. Витражные окна, выполненные в виде фамильных гербов, почти не давали света. Отражаясь в глубоком стекле витрин, где хранилось драгоценное оружие толедской работы с чеканкой и узором чернью по золоту, экономно горела одинокая свеча. С дубовых балок потолка свисали тяжелые знамена. Их витая бахрама, кисти и позеленевшие от времени вензеля скупо переливались случайными отсветами.

Ждать пришлось недолго. Бесшумно раздвинулась дубовая обшивка, и в освещенном проеме возникла полная, с горделивой осанкой женщина в газовом платье и бальной коронке, венчавшей затейливый шиньон. На левом рукаве, чуть выше локтя кавалерственной дамы, выделялся орденский знак «Рабыни добродетели», которым награждались только принцессы крови,— солнце и четыре алые розы.

После *bain cosmétique de lait*<sup>1</sup> эрцгерцогиня Софья

---

<sup>1</sup> Косметическая молочная ванна (фр.).

выглядела моложе своих лет и, при благоприятном освещении, могла даже показаться красивой.

— Значит, время настало? — Она приглашающе улыбнулась. — И вам не страшно? — спросила, когда сомкнулась стена маленькой белой гостиной, примыкавшей к оружейной зале. Подобрав шлейф, присела на кушетку, нервно раскрыла эмалевую табакерку с тончайшей макубой, взяла понюшку и вволю чихнула. — Сядьте здесь, — помапала к себе и грузно подвинулась, хрустнув пластинами бурно входившего в моду корсета.

— Момент, которого все мы так ждали, видимо, наступил, — кивнул Бальдур, привычно скрестив руки. — Известное вам лицо сильно скомпрометировало себя фипансовыми махинациями и прочими предосудительными поступками.

— И вы считаете, что одного этого достаточно, чтобы свалить Клеменса? — Пренебрегая конспирацией, Софья пазвала имя престарелого канцлера и залилась театральным смехом. — Что это: непростительная наивность или ловушка? — спросила, приблизив к глазам лорнет.

— Немедленной отставки скорее всего не последует, но ветхое здание все равно пошатнется и рано или поздно обрушится от нового толчка.

— И все же меня не перестает тревожить... — она задумалась, подыскивая подходящее выражение, — столь радикальная перестановка фигур на шахматном столике. Вы понимаете меня?

— Это вызвано обстоятельствами, — объяснил Бальдур. — Церковь живет категориями вечности, и потому мы делаем ставку не столько на отдельных людей, которые, увы, смертны, сколько на идею.

— Но разве не было более преданного слуги идеи, чем Клеменс?

— Вы сами сказали «было», ваше высочество.



— Значит, все в прошлом? — Она раскрыла черепажный веер. — На кого же вы ставите теперь, монсеньор?

— Я? — Бальдур позволил себе удивленно повести бровью. — Я всего лишь скромный посланец, ваше высочество, и не могу питать никаких личных пристрастий.

— Пусть не вы. — Веер нервно затрепыхался в ее руке, уже обтянутой для выхода лайковой перчаткой. — Но чего тогда хотят они, те, кто над вами? Генерал, например?

— Все те же возвышенные цели, эрцгерцогиня. Прогресс церкви и благополучие Габсбургского дома.

— Но падение канцлера неизбежно отзовется и на монархе. Ручаетесь ли вы за то, что перемены не затронут и августейшую власть?

— Ни в малейшей мере.

— Тогда я просто отказываюсь понимать вас, отец Бальдур!

— Отчего же? По-моему, я говорю достаточно ясно и откровенно. Речь идет об идее, а не о конкретном лице, о Габсбургском доме в целом, ваше высочество.

— Ах, вот как? — Щелкнув веером, она торжественно всплеснула руками. — Кажется, мы договорились с вами до заговора против его апостольского величества!

— Не нужно громких слов, эрцгерцогиня, — бестрепетно ответил провинциал. — Когда приходится выбирать между монархом и монархией, мы предпочитаем послешить на помощь последней. Сколь ни труден выбор, но он необходим.

— А сами вы верите в то, что необходимые перемены смогут спасти положение? Палатин Иосиф, насколько я знаю, не ожидает в Венгрии революции.

— Ее не надобно ждать, ваше высочество, она уже пришла. Я имею в виду не крикунов, размахивающих трехцветными тряпками, и даже не якобинские клубы.

Это лишь внешние проявления, так сказать, петерпеливые ростки, до срока проклюнувшиеся сквозь тщательно унавоженную почву. Все дело как раз в ней, в этой подготовленной почве. Куда опаснее молодых горлопанов представляются мне возникшие в последнее время всевозможные общества: «Промышленное», «Балатонского пароходства», «Фиумской железной дороги», «Регулирования Тисы» и несть числа. Промышленники, банкиры — это они перекраивают дух и облик страны, прежде всех замечая неудобства от таможенных границ и прочих ограничений. Их недовольство, вполне справедливое, ибо следует не сопротивляться неизбежным переменам, а тщательно их направлять, создает питательный субстрат для всходов духовных. То здесь, то там распускаются яркие ядовитые венчики. То заезжий гастролер вроде Ференца Листа свалится на голову, то доморощенный гений Петефи преподнесет очередной сюрприз. В обществе сгущается недовольство, раздражение, одним словом, создается подходящая атмосфера для непредвиденной вспышки.

— Генерал ордена, конечно, одобрил ваши действия?

— Само собой разумеется, ваше высочество.

— А папа? — Она продолжала ходить вокруг да около, то ли боясь довериться окончательно, то ли в надежде найти оправдание потаенным мечтам.

— Великий понтифик выше мирской суеты.

— И все же, отец Бальдур, что вы думаете о папе? Разве он не подал надежду итальянским карбонариям?

— Итальянцам — возможно, карбонариям — никогда.

— Боюсь, что это одно и то же.

— Ошибаетесь, эрцгерцогиня. И вообще положитесь на промысел божий. Слухи, которые распространяли о новом папе его противники, не следует принимать на веру. Папа олицетворяет идею и служит идее, а посему не столь важно, кому и что он говорил до того, как занял

престол святого Петра. Своей энцикликой «*Qui pluribus*»<sup>1</sup> Пий Девятый доказал это достаточно ясно. Отрицая противоречия между наукой и верой, великий понтифик утверждает примат веры. В наше суровое время, отмеченное невиданным наступлением безбожного материализма, глас Ватикана прозвучал как спасительная надежда. Доверьтесь мудрости папы, августейшая дочь матери церкви, доверьтесь гибкости боговдохновенной руки Общества Иисуса.

— Но она замахивается на кесаря, увенчанного апостольской короной!

— Странное заблуждение, ваше высочество,— холодно отверг Бальдур.— Я хочу говорить лишь о министре государя. Слава этого достойного человека пребудет в веках, а былые заслуги станут вдохновенным примером. Но плоть человеческая слаба и несовершенна, муж состарился и превратился в злейшего врага той высокой идеи, которую лелеял столько лет. Не в мыслях, разумеется, на практике. Что же следует делать нам, имеющим очи и разум?

— Как у вас все просто,— с легким осуждением, а точнее, со скрытой завистью прошептала эрцгерцогиня.— Но допустим, вы правы, и все получится... С первой попытки.

— Допустим,— выжидательно согласился Бальдур.

— Кто тогда займет... высшее место, если государь,— произнесла она еле слышно,— действительно захочет отказаться от трона.— И резко, с вызовом спросила: — Вы предусмотрели такую возможность?

— Такую возможность? — переспросил Бальдур, словно был захвачен врасплох, хотя отлично знал, что проблеме престолонаследия эрцгерцогиня тщательно обсуждала с папским нунцием в Вене.— На сегодняшний

---

<sup>1</sup> «Сколько многих» (лат.).

день,— медленно процедил он,— я вижу только одну кандидатуру, хотя со временем все может перемениться, ибо в эрцгерцогах Габсбургский дом никогда не испытывал недостатка.

Бальдур высказался с нарочитой резкостью. Намек и сопряженную с ним угрозу нетрудно было понять.

— Скажите кто,— потребовала Софья, решив для себя, что время околичностей подошло к концу.

— Франц-Иосиф,— будничным тоном промолвил Бальдур.

Софья вспыхнула и как бы в испуге прикрылась веером, хотя и не ожидала услышать от посланца иезуитов ничего иного.

— Мой сын наделен от бога блестящими способностями, но он всего лишь племянник императора,— сказала она, справившись с невольным волнением.

— В нынешних обстоятельствах это не столь существенно,— менторским тоном объяснил Бальдур.

## 16

Колючими искорками вспыхивало разрисованное морозом окно, завывала метель и, как тогда в Дебрецене, благодарно пиликал сверчок, разомлевший от жара печурки. Черные карбонарийские плащи завсегдатаев «Пильвакса», за отсутствием вешалки, были брошены в кучу, широкополые шляпы и шапочки с перьями цапли приютились на стопках журналов и книг.

— Нас десять человек здесь, друзья,— сказал Петефи, разливая вино.— И я провозглашаю тост за «Общество десяти»!

— За первый в Венгрии клуб якобинцев! — воскликнул пылкий Палфи, поднимая стакан.

— Первое общество якобинцев основал Мартинович,— пробормотал Мор Йокаи, оставив вино неотпITYM.— И позволь мне напомнить, ему отсекли голову в БудаЙской крепости.

— Что ж, он знал, на что шел.— Кальман Лисияи положил руку на плечо Палфи.— Нам тоже стоит серьезно подумать о будущем.

— Позвольте, друзья! — почти в один голос запротестовали Фридеш Керени и Михай Томпа.— Мы, кажется, собрались сюда, чтобы поговорить о наших литературных делах, а не составить заговор. Забудем на время о политике...

— Я бы и рад забыть,— криво усмехнулся Палфи,— да она нас не забывает.

— Он прав.— Шандор Петефи приподнялся, отодвинул стул и с трудом вылез из тесного круга.— Многие из того, о чем мы говорили в «Пильваксе», сразу же стало известно известным властям. Продажные писаки иначе как «бунтарями» да «заговорщиками» нас уж и не называют. Волей-неволей мы вынуждены собраться здесь, в моей жалкой берлоге, и тем самым сделать первый шаг к конспирации. Мы — литераторы, и нас, конечно, прежде всего волнуют писательские дела. Но кто из нас может с уверенностью сказать, где кончается литература и начинается политика? Такова жизнь, таков наш переломный век. По всей Европе нынче гуляют свежие ветры! Да, мы мечтаем основать чисто профессиональный писательский клуб, но разве он не мыслится нам независимым от продажных политиканов — издателей? — Он обвел взглядом сидящих вокруг керосиновой лампы товарищей.— Как ты считаешь, Фрици? Ты как думаешь, Михай? — спросил, обращаясь к старым приятелям Керени и Томпа.

— В принципе-то оно так,— не слишком уверенно отозвался Томпа.





Éljen az a' lincznai a' kard,  
Éljen az a' kard,  
Éljen az a' kard,  
Éljen az a' kard,  
A nagy városi  
Esküszünk,  
Esküszünk,  
Még leszünk

A magyar név  
Mélő régi nagy híre  
Már rá kerek a' száza-  
Lencsük a' gyalazat  
A magyarok ismerte  
Esküszünk,  
Esküszünk, hogy többek tovább  
Nem leszünk.

Petőfi Sándor

И я участвую в сражении  
Я командир, а мой отряд —  
Мои стихи:  
В них что ни ритма  
И что ни слово,  
То — солдат.





— Нельзя сказать, чтобы я полностью верил в эту ватею,— проворчал Фридеш Керени и потянулся за глиняной трубкой.

— Но разве не стоит попробовать? — обернулся к нему Дегре.

— Вот именно! — выбросил вперед руку Палфи.

Сидевшие рядом с Главным французом Берци и Оберник согласно кивнули.

— У нас ведь другого выхода нет,— с редким терпением продолжал уговаривать Петефи.— Мы хотим писать для народа и потому не можем сотрудничать ни в «Хондерю» ни в «Элеткепек», который вертится флюгером. Господина же Вахота знают все. Он молится только одному богу — собственному карману. Мы не будем больше его рабами.

Выждав, пока уляжется одобрителный гул и опустеют стаканы, Петефи протиснулся на свое место.

— Тогда будем говорить конкретно,— он подался вперед, опершись о кулак подбородком.— Чего, собственно, мы хотим? Вернее, чего не хотим? Мы не хотим, чтобы народу и нам, народным писателям, бросали из милости черствую корку. Мы не хотим ютиться в темных, сырых каморках, таких, как эта,— последовал выразительный кивок на шелушащуюся, запятнанную сыростью стену.— Наконец, мы не желаем более жить в постоянном страхе... Я пичего не забыл?

— Немецкая цензура,— подсказал Палфи.

— Да, ты совершенно прав: «Иезуитов на фонарь!» — воскликнул Шандор.— Мы требуем, чтобы нам не затыкали глотку! Все согласны со мной?

— Все,— выразил общее мнение Альберт Пак, которому как юристу поручили вести протокол.

— Тогда давайте сформулируем цели нашего товарищества, нашего «Общества десяти». — Петефи, с трудом сохраняя спокойный тон, вновь выбрался из-за стола и

заметался по комнате. Давно обдуманые, отточенные в долгих спорах с Палфи и Паком формулировки обретали в его устах отчетливый ритм.— Поднять венгерский народный язык до уровня литературного.— Слова звучали в такт шагам.— Следовать национальным традициям.— Недолгий путь от стены к стене определял лаконичность фразы.— Объединить народных поэтов молодой Венгрии...

— Завоевать положение, достойное человека и писателя,— снова подсказал Палфи, когда Шандор ненадолго умолк.— И не забудем, друзья, что в основе все же лежит политическая программа,— закончил он тихо.— Мы будем бороться за создание новой Венгрии, освобожденной от феодального гнета, независимой от габсбургской Вены.

— Не надо отклоняться от ближайших задач,— напомнил Мор Йокаи.— Поговорим о журнале.

— Поговорим,— согласился Петефи.— Журнал необходим нам как воздух. Это верно.

— Независимый литературный журнал, способный донести идеи свободы до каждого честного венгра,— высказал свое кредо Кальман Лисняи.

— Без сплетен великосветской хроники и модных картинок,— уточнил Мор Йокаи.

— И, главное, свой,— со значением подытожил Карой Берци.

— Вот именно — свой,— одобрительно кивнул Петефи.— Чтобы хоть как-то жить, друзья, иначе нам никогда не вырваться из цепей литературных делег. Было предложено множество разных названий для нашего печатного органа. Мне кажется, что будет правильнее, если мы остановимся на самом простом.

— Я совершенно согласен! — поддержал Мор Йокаи.— Пусть будет «Пешти фюзетек»<sup>1</sup>. Это солидно и

---

<sup>1</sup>«Пештские тетради».

внешне нейтрально, не к чему будет придраться на первых порах.

— Нелегко нам будет выдержать конкуренцию,— озабоченно заметил Альберт Пак.— Без начального капитала, без рекламы, фактически с голыми руками.

— Все как всегда упирается в деньги,— вздохнул Мор Йокаи.— Проклятый металл! Так я и думал, что дело кончится пустыми разговорами.— Он досадливо поморщился, но вскоре отвлекся, завороченный видением, примерещившимся в светлом, окаймленном ржавым ореолом круге, который бросал на стол горящий фитиль.

Ему виделись узкие улочки, факелы и зловещие длинные тени. Ставни ослепших домов и двери глухие, помеченные белым крестом, рисовал для него керосиновый свет.

— Мы не раз еще вспомним о почи святого Варфоломея,— сказал он внезапно.

— Что ты имеешь в виду? — хмуро спросил Палфи.

— Твой длинный язык. Обидно подставить шею под топор ради красивых слов. Я сторонник дела. Сначала давайте достанем деньги, а потом уж будем болтать.

— Опомнись, Мор! — оборвал Петефи.— Сам того не желая, ты оскорбляешь всех нас.

— Ничуть! — запротестовал Йокаи.— Я лишь призываю к практическим действиям. Нужно договориться с типографией, попытаться заполучить кредиты...

— Боюсь, что мы не наскребем необходимой суммы,— сказал Пак.— Все наши усилия в лучшем случае ограничатся выпуском одного первого номера. Стоит крепко подумать над тем, как завоевать подписчиков.

— Завоевать подписчиков?! — с сердцем воскликнул Палфи.— Иначе говоря, подстроиться к их вкусу? С этого и начинается падение. Сначала мы будем вынуждены пойти на компромисс с состоятельными либералами, а после начнем пресмыкаться перед всякими шедлицкими,

аппони, коллоредо и прочими аристократами. Не мы первые, не мы последние, господа!

— Кто виноват, что у народа нет денег? — пожал плечами Йокаи.— Будем трезво смотреть на мир.

— Вчера, говорят, возле гостиницы «Королева английская» один магнат вышвырнул из кареты шкатулку с драгоценностями, как бы между прочим,— сообщил Лисняи.— Она, видите ли, мешала ему свободно вытянуть ноги.

— А шахтерские дети даже штерц<sup>1</sup> лишь по праздникам видят,— подхватил Палфи.— У помещиков амбары ломятся от пшеницы и чердаки овечьей шерстью забиты, а сотни голодных крестьян что ни день, снимаются с насиженных мест и бредут по миру мыкать горе. Да, Мор, у этих людей нет денег, чтобы подписаться на наш журнал. Больше того, они даже не смогут прочесть в нем ни одного слова, ибо не обучены грамоте. Тут я с тобой целиком согласен. Но мы, чтобы иметь право говорить от их имени, не должны заискивать перед толстосумами.

— Я знаю, как нам завоевать подписчиков! — объявил Петефи в разгар спора.— У меня есть идея на этот счет. Что, если мы временно, скажем на год, объявим журналам бойкот и нигде, кроме как в наших «Тетрадах», не напечатает ни строчки? Это будет действенная мера! Публика клюнет на такую приманку, я уверен. Особенно молодежь.— Он вопрошающе огляделся, ожидая поддержки.

— А что? — подумав, подкрутил усы Керени.— Мысль действительно неплохая.

— Прекрасная! — восхищенно одобрил Палфи.

— Черт возьми! — ударил кулаком по столу Альберт Пак.

---

<sup>1</sup> Мука с картофельным пюре, пережаренные с жиром.

— Так поклянемся, друзья, что проучим кровососов-издателей? — в полном восторге воскликнул Шандор и потянулся за новым кувшином. Прозрачной малиновой тенью отразилась на скатерти бегущая струя эгерского вина. Терпкая пена заиграла в стекле.

— Клянемся! — Все встали и подняли вверх кто бокал, кто стакан, кто глиняную кружку.

Петефи отпил до половины и опустил свое вино. «Вот в руках у нас сверкают чаши, но в цепях рука отчизны нашей, и чем звон бокалов веселее, тем оковы эти тяжелее. Песня-туча в этот миг рождается, черная, в душе моей гнездится...»

— Что с тобой? — озабоченно спросил Палфи, всматриваясь в побледневшее, внезапно осунувшееся лицо поэта.

— Ничего, пустяки, скоро пройдет, — опустив веки, покачал головой Шандор. — Это все вино. Я никак не научусь его пить.

— Вернемся, как любит выражаться наш Йокаи, к вопросам практическим, — сказал Альберт Пак, когда общее возбуждение улеглось и все сели. Когда мы сумеем выпустить первый номер?

— Летом, — мгновенно откликнулся Мор Йокаи, — скажем, первого июля. За полгода можно все как следует подготовить.

— С чего начнем? — Пак отбросил сломанное перо и быстро заточил новое. — По-видимому, с прошения в наместнический совет? Без согласия Буды ни одна типография не стапет иметь с нами дела.

— Другого выхода, к сожалению, нет, — ответил с кислой гримасой Палфи.

— Я готов лично пойти к эрцгерцогу палатину, — предложил Мор Йокаи. — Уверен, что в случае каких бы то ни было осложнений сумею вырвать у него разрешение.

— Так уж и вырвать! — недоверчиво усмехнулся Лисняи.

— Я слышал, что эрцгерцога можно уговорить. Он обычно прислушивается к голосу рассудка, — заверил Йокаи.

— Откровенно говоря, я не ожидаю особых препятствий, — подал голос Карой Оберник. — Подумаешь, какой-то венгерский журнал. Мор прав, были бы деньги.

— Плохо ты знаешь наш Наместнический совет, братец. — Дурнота отхлынула, и Петефи снова включился в разговор. — Впрочем, не будем гадать, поглядим, как пойдет дело. Я за то, чтобы поручить его нашему Морю. Он самый подходящий для тонкой дипломатии человек.

— А я так надеюсь на твою славу, Шандор, — возразил Лисняи. — Наместнику трудно будет отказать знаменитому поэту. Разве не так?

— Боюсь, что такая слава, как моя, скорее отпугнет его высочество, — отрицательно покачал головой Петефи. — И вообще я могу вспылить, даже выкрикнуть в дворцовых покоях свой любимый лозунг...

— «Иезуитов на фонарь!» — опередил его Палфи под общий смех. — Ладно уж, пусть идет Мор Йокаи.

— Осталось последнее, друзья, — записав решение, поднял глаза Альберт Пак. — Нужно решить, кто из нас возглавит поворожденное, но уже овеянное славой «Общество десяти»?

— По-моему, это и так ясно, — махнул рукой Палфи. — Конечно же Шандор.

— Кто же еще! — просиял голубоглазый Мор.

## 17

Санный путь между Пештом и Будой проходил в точности по линии разобранного на зиму понтонного моста. Подняв воротник отороченной лисьим

мехом бекеши и запахнув медвежью полсть, Бальдур безучастно следил за тем, как прорисовывались в сером тумане очертания славной горы, откуда первый венгерский креститель был сброшен, головой вниз, в Дунай. В невидимой еще крепости рокотали барабаны и пели кавалерийские рожки. Падал редкий снежок, щекоча лицо, и таял на ресницах. Исходила паром черная вода в полыньях. Посвистывали окованные железом полозья. Ехать было недалеко, но почему-то время тянулось томи-тельно и легкая боль ощущалась в висках.

После Санкт-Петербургских зим отец-провинциал не страшился мороза, но этот туман и знобкий ветерок, сте-лящийся по льду, проникали в самое нутро, томили и выхолаживали душу. Бальдур корил себя за то, что от-кликнулся на приглашение барона Урбана, куратора сек-ции Наместнического совета, ответственной за просвеще-ние, и согласился приехать в Буду. Право, встречу сле-довало бы отложить до более приятной погоды или за-ставить барона самого прогуляться в Пешт. И возраст уже не тот, и здоровье не позволяет колесить без пере-дышки по ближним и дальним дорогам. Но хотя поло-жение, которое занимал орденский наместник, позволяло Бальдуру не посчитаться с настоятельной просьбой высо-копоставленного чиновника, он все же поехал. Власть ордена в габсбургских владениях была значительной, но не беспредельной и, главное, неофициальной. Значит и действовать надлежало с разумной осторожностью, осо-бенно здесь, в Венгрии, стихийно противившейся чуж-дым веяниям. Генерал не случайно послал в Палпонию именно такого провинциала. В России после ошеломи-тельного царствования Павла, принявшего сан гроссмей-стера католического мальтийского ордена, к деятельности иезуитов относились с особым недоверием. И потому сми-рение, поначалу лишь показное, стало для Бальдура совершенно привычным. С эрцгерцогом палатином он



вообще виделся лишь однажды, да и то мельком. Иосиф скорее всего и не подозревал, что обложен иезуитом и снизу, и сверху, ибо в экстренных случаях тот прямоком обращался к графу Аппони в Вену, в придворную канцелярию по венгерским делам.

Урбан встретил Бальдура суетливым старческим многословием. Заботливо усадив гостя у камина, рассыпался в извинениях за причиненное беспокойство и с трогательной заботой распорядился подать вина, подогретого с наприкой,— лучшее средство от простуды. Бальдур, не позволявший себе ничего, кроме кипяченой воды, не отказывался, но оставил непригубленный кубок на каминной доске.

— Разрешите наши сомнения, ваше преосвященство,— взмолился барон, обращаясь к провинциалу, словно к епископу,— насчет вечно запутанных писательских дел.

— Писательских? — притворился удивленным Бальдур.— Но, помилуйте, какое я-то имею к ним отношение?

— То есть как? — Сухонький старичок со склеротическим румянцем на пергаментных щеках обиженно заморгал.— Но ведь и наш цензор, и господин Кути, которого мы пригласили для консультаций, в один голос заявили, что нужен ваш компетентный совет... Разве церковь не обязана следить за тем, чтобы влияние изящной словесности на людские души было благотворным? — В выцветших глазах барона застыло слезливое недоумение.

Но Бальдур не спешил с ответом. Известие о том, что болван цензор, так и не освоивший до конца венгерской грамматики, вкупе с великосветским хлыщом Кути позволяют себе попусту трепать его имя, вызывало досаду и озабоченность.

— Позвольте спросить, барон, вы какого вероисповедания?

— Я? Кальвинист! — Урбан пожевал обескровленные

ми губами.— М-м, по, видите ли, поскольку являюсь ревностным подданным его апостольского величества, почитаю католическую церковь за оплот государственного порядка, а также...

— Вот и прекрасно,— поспешил остановить бессильное словоизвержение иезуит.— Если вам пужна консультация по церковным вопросам, то почему вы не обратились непосредственно к примасу, в Эстергом?

— В том-то и суть, что не по церковным! — подсадовал барон.— В узком, разумеется, понимании,— поспешил он поправиться.

— Как же нам быть? — быстро разгадав собеседника, Бальдур умело подстроился под его узкое, чисто бюрократическое мировоззрение.— Особенно при учете местных условий, а также специфических интересов лютеранской и кальвинистской, барон, общин?..

Урбан поморгал красными от хронического конъюнктивита веками, пытаясь совладать с издевательской бессмыслицей, сковавшей его закоснелый рассудок, но так ничего и не придумал.

— Собственно, озабоченность внушают нам не взаимоотношения церковных общин, как таковых, а вольномыслие отдельных безбожных писателей и поэтов,— вернулся он в конце концов к исходной точке.

— Как я вас понимаю! — Бальдур смиренно сложил пальцы.— В школах Общества Иисуса мы всемерно стараемся противодействовать столь пагубному пороку.

— В школах? — просиял старичок, тотчас клюнув на привычную приманку.— Значит, вы все же причастны к ведомству просвещения?

— Действительно,— с точно отмеренной дозой удивления признал Бальдур.— Поэтому я и поспешил, несмотря на дурную погоду, прибыть сюда, в Наместнический совет.

— Позвольте выразить вам самую искреннюю признательность! — Барон подвинул скамеечку для ног ближе к

каминной решетке.— Ваше мнение было бы чрезвычайно полезно в сложившихся обстоятельствах.

Бальдур вытянул руки, хрустнул сплетенными пальцами и равнодушно уставился на экран, за которым в розоватых отсветах трещали поленья. Он хотел знать все, не сказав ничего.

— Существо дела заключается в том, ваше преосвященство, что мы поставлены перед трудной дилеммой,— Урбан карикатурно зачмокал, раскуривая чубук.— Однако позвольте по порядку. Группа литераторов, точнее, группа крайне оппозиционно настроенных литераторов вручила его высочеству прошение относительно предполагаемого журнала «Пештские тетради», а его высочество в свою очередь передал вопрос к нам на рассмотрение, и уж мы...

— Понятно, барон, все понятно,— не выдержал Бальдур, сострадая себе и с горечью думая об утекающем драгоценном времени.— И к какому решению вы склоняетесь?

— Не давать.

«Само собой разумеется,— с сарказмом отметил про себя Бальдур.— В противном случае ты бы призвал в советчики Сечени, Кошута, бог знает кого...»

— Когда возникает необходимость залить водой пылающий светоч, так сказать, разума, почему-то стремятся хоть в какой-нибудь форме заручиться нашей поддержкой.— Бальдур нехотя раздвинул губы в улыбке.— Отчего бы это, барон? Я бы на вашем месте дал разрешение.

— Но это же совершенно невозможно! — возмутился Урбан.— Очевидно, вы даже не подозреваете, какой они думают основать журнал!

— Не подозреваю, увы,— развел руками Бальдур.— И вообще не полагаю себя компетентным в делах светской литературы. Мы, смиренные слуги господа, все свои помыслы устремляем к небу.

«Ишь, трухлявый гриб,— думал, ломая комедию, Бальдур,— загодя посмел составить обо мне представление. Раз иезуит, так, значит, крайний реакционер, на которого, в случае чего, можно свалить вину за собственное головотяпство. Не на такого напали, добрые господа! Бедный эрцгерцог, неужели он во всем вынужден полагаться на таких вот советчиков? Дай им волю, они в два счета погубят Венгрию и Австрию вместе с нею».

Отделавшись от недалекого куратора, Бальдур поспешил возвратиться к себе в уединенный особнячок терезианского стиля с пустующей ныне лавкой на первом этаже. Едва переступив порог, он вызвал секретаря и велел послать за начальником тайной полиции.

Тот явился с наступлением темноты, запахнувшись, по обыкновению, в черную альмавиву, с надвинутым на самые брови цилиндром.

— Что-нибудь срочное, монсеньор? — спросил, стягивая перчатки.

— Вы знаете, конечно, что наши молодые друзья затеяли издавать журнал?

— Меня известили об этом из канцелярии палатина.

— Я не узнаю вас, дорогой Фукс, вы перестали следить за новостями,— упрекнул Бальдур.

— Это не совсем верно, монсеньор, просто молодые люди перенесли место встреч. Они сузили свой кружок до предела, и я лишен пока возможности внедрить туда информатора. До сих пор, как вы знаете, мы не спускали с них глаз.

— Судя по всему, они готовы выступить с развернутым знаменем. По крайней мере, наиболее радикальные среди них: Петефи, Палфи, Лисняи.

— Что ж, как выражается канцлер, если момент для воспитательных мер упущен, надо наказывать.

— Боже упаси вас от этого,— категорически воспротивился иезуит.— Не хватает нам только своей рукой по-

ставить во главе революции лидеров. Я бы не стал облегчать задачу противной стороне.

— Вы, как всегда, правы, монсеньор, и, судя по всему, сумели получить доступ в их узкий кружок? — Вопросительная нотка едва прозвучала в словах полицейского.

Бальдур ответил ему долгим непроницаемым взглядом. Пусть думает что хочет, лишь бы не успокаивался, лишь бы всегда оставался настороже.

— Впрочем, умный человек обойдется и без доносчика.— Фукс тоже позволил себе размышление вслух.— Десять человек, тем более артистов, едва ли способны долго хранить тайну. У каждого свои друзья, доверенные лица, там слово, полслова или только намек — глядишь, и вырисовывается общая картина. Нужно только внимательно прислушиваться и сопоставлять. Что ж, монсеньор,— заключил полицейский.— Вы преподали мне полезный урок.

— У меня и в мыслях не было поучать, дорогой Фукс,— проникновенно заверил Бальдур.— Я пригласил вас совершенно по другому вопросу. Но меня, скажу откровенно, несколько беспокоят эти горячие юноши. Нам следует уберечь их от неминуемой беды, предупредить, если возможно, опасное развитие событий. Их нужно расколоть, Фукс, во что бы то ни стало посеять среди них взаимное недоверие. В среде литераторов, где вечно царит болезненная зависть, это не будет трудно. Подумайте на досуге, мой друг.

— Подумаю, монсеньор,— полицейский потянулся к цилиндру.

— Да, Фукс, самое главное,— остановил его Бальдур плавным взмахом руки.— Вы хорошо знаете Лайоша Каройи?

— Графа Каройи? Знаю, монсеньор. У него двадцать тысяч хольдов земли и несметные отары овец. Весьма влиятельный человек.

— А вы знаете, что этот влиятельный человек истязает своих крестьян, побоями принуждает к сожительству девушек?

— Скажу даже больше: он повинен в смерти двух несовершеннолетних батрачек. Если бы не высокое покровительство, ему бы не миновать суда.

— Вы имеете в виду фельдмаршал-лейтенанта Кауница, лично приказавшего закрыть разбирательство?

— Ах, вам и это известно, монсеньор?.. Граф, впрочем, не особенно рисковал. В самом худшем случае штрафом.

— Мне отвратителен этот человек, Фукс! — обычно бесстрастный, иезуит прищурил глаза и стиснул зубы. — Я сам видел, как он хлестал арапником ребенка.

— Что же делать, монсеньор, такова жизнь, — философски заметил полицейский. — Мы здесь бессильны.

— Когда речь идет о столь вопиющем вызове самой идее христианского милосердия, — отец провинциал возвел к небу очи, — мы не смеем ссылаться на собственное бессилие. Вы можете оказать мне личную услугу, Фукс?

— Разумеется, монсеньор, а какого рода?

— Возьмите несколько ловких агентов из тех, кто умеет молчать, и переоденьте их бетярами. Можете?

— Что дальше, монсеньор? — Фукс кивком подтвердил, что все понял.

— Каройи регулярно наведывается в Буду. Ведь верно?

— Надо полагать, что так.

— Так вот, пусть ваши люди подстерегут его в удобном месте и как следует отстегают.

— Что вы говорите, монсеньор?! — Ко всему привыкший полицейский не верил своим ушам. — Отстегать графа Каройи?

— И хорошенько! Да еще постращать, что в другой раз придется хуже. О, я знаю этих господ! Он усвоит науку.

— И тут же прибежит ко мне с требованием арестовать разбойников, а поскольку я не смогу этого сделать, пожалуется в Вену, тому же Кауницу.

— Насчет Вены не беспокойтесь,— уверенно пообещал Бальдур.— Вену я беру на себя. «Тем более, если при особе его сиятельства окажутся нужные документы»,— мысленно добавил Бальдур.

— Я готов положиться на вас всецело,— взмолился шеф шпионского ведомства, отирая вспотевший лоб.— Но простите, монсеньор, не вижу смысла в подобной затее. Разве можно искоренить всеобщее зло?

— Это аргумент, достойный политика, но не христианина. Я знаю, что мир погряз в пороках, как знаем это все мы. Но мальчика, которого полосовал граф Каройи, я видел этими вот глазами.— Он провел рукой по лицу, словно прогоняя навязчивое видение.— И до сих пор у меня в ушах стоит детский отчаянный плач.

— Пусть будет по-вашему,— махнул рукой полицейский.— Сделаю, о чем просите, монсеньор. Верю, что, в случае чего, выручите.

— Да, пожалуйста, верьте мне! — жарко прошептал Бальдур.— Вы, лютеранин-немец, и я, католик-мадьяр, стоим плечом к плечу, охраняя покой нашей общей большой родины. То, что можем сделать мы, не сделает никто другой в целом мире. Я хочу, чтобы вы прониклись величием миссии, которую возложил на нас сам господь. Мы только приступаем к ее выполнению, впереди непочатый край работы. Господи, дай нам достаточно сил!

## 18

Кружится земля в мировом пространстве, чередуя с рассветом закат, проплывают в лютой черноте далекие зимние звезды. Наступил в урочный



срок и день сретения, добрый Maria inner<sup>1</sup>. В прежние времена радостный праздник начинался с того, что повсюду огни гасили, а после вновь зажигали от освященной в церкви свечи и гуляли всю ночь. Утром же наступала пора почтить и святого Балажа, оберегающего детей и дающего исцеление горлу. Яблоками этого дня и воском церковных свечек добрые католики весь год лечились потом от простуд, а добрые протестанты, промочив глотку сливянкой, исцелялись на свой лад. Чудные дни, святые...

Сверкает заснеженное поле. Белым полотном простирается в вечность едва початый год. На сретение гадают о сроках весны. Если медведь, высунув нос из берлоги, заметит свою тень, то зима обещает быть долгой и мохнатый хозяин снова завалится лапу сосать.

О медведях пештские жители справлялись, конечно, у окрестных крестьян, чьи телеги стояли на заезжем дворе возле гостиницы «Красный бык» или прямо на ярмарке в Ракошском поле. Зато про Балажа напоминали им школяры, бегавшие от дома к дому с мешочками для гостинцев. Хочешь не хочешь, отворяй дверь, хозяин, одаривай ребятню, доставай колбасы из погреба; хозяйюшка, тащи из кухни яйца и жирные пироги. Часть снеси завтра учителю отнесут в школу, а что повкуснее сегодня съедят на веселой пирушке.

Керосиновые фонари, которые обычно безбожно коптят, а то и вовсе гаснут на главных улицах Пешта, пынче светят в полную силу. Фонарщики стекла протерли, сняли нагар с фитилей, щедро залили жестяные вопючие недра. На то и праздник.

И лишь на окраине города тишина, глухота, крошечная темень. Только звезды ледяным крошевом кружатся в вышине.

---

<sup>1</sup> Праздник святой Марии.

В зловещий переулочек у гостиницы «Два пистолета» не то что ночью, а и при свете дня не каждый решится завернуть. Недобрая слава у странноприимного дома. Сколько тут кошелев отняли, сколько доломанов сорвали с плеча — не счесть. Хорошо если только грабят, а то и голову могут топориком проломить или горло ножом перерезать. Порядочный человек едва ли завернет в «Два пистолета» пропустить стаканчик. Здесь приют бегляков с большой дороги, городских воришек, цыган-лошадников. Шпионы всякие тоже тут выются, девки гулящие, ибо у тех и других особое чутье на рискованного человека, особый нюх на легкие денежки. Редактор Вахот навряд ли отправился бы в столь подозрительное место, если бы некая особа не прислала за ним фиакар. Существуют приглашения, от которых нельзя отказаться. Как говорится, себе дороже. Потом долго будешь каяться, что легкомысленно пренебрег.

Сам начальник тайной полиции Фукс, потягивая вино, поджидал дорогого гостя в уединенном покое с отдельным входом, куда не каждый посетитель доступ имел. Здесь, как в простой деревенской чарде, деревянный стол стоял посредине и две тяжелые лавки вдоль грубо побеленных стен. Как рябина на снегу, рдели связки паприки на известке. Насаженный на вертел барашек горячим салом кормил ненасытный огонь. Упоительный дух поджаренного мяса заглушал освежающий холодок мяты, которой с утра окурили комнату. Бродильным запахом тревожил налитый вином бурдюк. И каким вином! Здешний хозяин знал, что всем винам на свете господин Фукс предпочитает «Кровь ведьмы», вызревшую в балатопских погребах иезуитского братства.

— Guten Abend, mein Herr <sup>1</sup>, — угодливо поклонился

---

<sup>1</sup> Добрый вечер, господин (нем.).

Вахот, ибо глуп тот редактор, кто не заискивает перед полицией.

— Isten hozott! <sup>1</sup> — ответил Фукс на мадьярский манер, поскольку был от природы деликатен, а по-венгерски говорил много лучше, чем по-немецки. Отодвинув локтем цилиндр с перчатками, нацедил в глиняную кружку вина.— Выпей-ка с мороза,— предложил и с дружеской фамильярностью хлопнул Вахота по плечу.— Давненько мы не виделись с тобой, Имре!

— Давненько, Ферди! Как дела?

— Ох, лучше не напоминай! — посетовал полицейский.— Одно расстройство. Третьего дня на карету графа Каройи напали.

— Вся Буда только о том и говорит. Рассказывают, будто бегляры отделали беднягу до полусмерти, раздели, отняли деньги и ларчик с важными письмами, а потом еще и лошадей выпрягли. Ты же помнишь, какие у него были лошади?

— Полиция узнает последней,— вздохнул Фукс.— Не то что ваш брат газетер. Я про письма первый раз слышу.

— Кого-нибудь хоть поймали?

— И след простыл,— махнул рукой полицейский.— Так что плохи мои дела. Ожидаю серьезных неприятностей. Ежели услышишь что ненароком, так скажи.

— Непременно, Ферди, можешь на меня положиться.

— Я тоже всегда рад оказать тебе услугу. Мне кто-то сказал, будто тебя донимают какие-то там сопляки?

— Ничего себе сопляки! Первые поэты в Венгрии, которых я своими руками вытащил из грязи! Верь после этого в людскую благодарность.

— А в чем, собственно, дело, Имре?

— Эти щелкоперы объявили форменную забастовку. Как тебе нравится? Кажется, всякого нагладелись, к лю-

---

<sup>1</sup> Бог принес! (венг.).

бым беспорядкам привыкли, но чтоб литературная стачка — такого я не упомяну. Это, господа, слишком!

— Литературная стачка? — Фукс сделал удивленные глаза. — Это что за зверь?

— Не желают у меня печататься, бандиты! — Вахот побагровел и закашлялся. — Черт их дери.

— Перебежали к конкурентам?

— Если бы! Нет, эти молодчики метят выше. Всем издателям объявили бойкот и собираются открыть собственное дело. Эдак мы все по миру пойдем.

— Что же делать? — Фукс озадаченно скривил губы. — Вот уж действительно ситуация. Я бы и рад их упечь, но за что?

— В том-то и загвоздка... Да и какой мне прок от того, что их посадят? Они мне здесь нужны, на свободе. Господа подписчики требуют новых сочинений. Объявленных, кстати сказать.

— У них есть главарь, законопсерщик?

— А как же! Все он, прославленный господами конспираторами Шандор Петефи. Подумать только, это я, старый дурак, выкормил его чуть ли не из соски! — Вахот взъерошил волосы и хлопнул по столу так, что подскочили кружки. — Ты видел второго такого дурака, Ферди?

— Нет, — честно признал начальник тайной полиции. — Но какой-то выход должен найтись?

— Одна надежда, что их надолго не хватит. Журнал — штука канительная, а кушать-то надо, притом каждый день.

— Вот видишь, все не так уж и мрачно.

— Для других, может быть, но не для меня. Эти проходимцы объявили мораторий на год, но у меня поклялись не печататься более никогда. Ничего себе?

— Откуда ты знаешь?

— Знаю. Даже у стен бывают уши, и свет не без добрых людей. Ума не приложу, как буду делать апрель-

ский номер. Мы же объявили поэму Петефи, рассказ Пака, новый роман Йокаи...

— А нельзя их как-нибудь расколоть? Отъедипить друг от друга?

— Как? — Вахот вопросительно глянул поверх кружки. — Ты знаешь такое средство, Ферди? Если знаешь, подскажи.

— Надо подумать. — Фукс озабоченно почесал макушку.

Пока он размышлял, молчаливый кельнер в кожаном переднике водрузил на стол исходящего соком барашка и принес корзину с крупно нарезанными ломтями пшеничного хлеба. Отерев о волосы, которые придерживал ремешок на лбу, засаленные ладони, учтиво пожелал приятного аппетита.

— Барашек, кажется, действительно недурен, — глотая слюнки, причмокнул полицейский, вооружившись острым, поистине разбойничьим ножом.

На том разговор и оборвался. Ели молча, жадно глотая большие сочные куски. С хрустом разламывали пежные косточки, чтобы высосать обжигающий мозг. Хлеб и вино с едва уловимым железистым привкусом обновляли приглушенную жиром остроту вкуса. Хозяин, трансильванский румын, занимавшийся между делом перепродажей краденого, сделал все, чтобы угодить важному клиенту, почтившему своим выбором его скромное заведение. Ведь если «Два пистолета» и снискали себе кое-какую известность, то уж никак не хорошей кухней.

— Как же нам быть? — спросил Фукс, утолив первый прилив голода. Опустив пальцы в лохань с водой, сосредоточенно облизал губы. — К сожалению, я плохо разбираюсь в редакционной кухне... Что, например, значит объявить произведение?

— Очень просто. — Вахот удовлетворенно вздохнул и отвалился от стола. — Мы заранее сообщаем своим чита-

телям о наиболее интересных вещах, которые лежат в редакционном портфеле. Не выполнить обещанного — значит лишиться подписчиков.

— Понятно,— важно кивнул Фукс.— Значит, объявленные вещи к этому моменту уже находятся у тебя?

— Не обязательно. Иногда мы даем сообщение, еще даже не понюхав товара. Разумеется, такое возможно лишь в том случае, если автор знаменит и мы уверены, что подвоха не будет.

— Петефи, к примеру, тебя не подводил?

— Чего нет, того нет.

— Ну, это понять можно,— благодушно рассмеялся Фукс.— А как остальные из его шайки?

— Все одним миром мазаны, но я, между нами говоря, их не шибко баловал. В узде держал. На голодный желудок легче работается. Стимул есть.

— Вот и зря, что не баловал. Теперь можешь локти кусать,— назидательно заметил полицейский.

— Это почему же? — насторожился Вахот.

— Если бы в твоём, как ты говоришь, портфеле лежали сейчас оплаченные, но еще не опубликованные рукописи всей братии, мы бы смогли сорвать их дурацкую забастовку. Тебе достаточно было бы напечатать лишь пару стихов, чтобы внести раскол. Грош цена клятвам, которые не подкрепляются делом.

— Гениальная мысль! — Вахот восторженно затопал ногами и потянулся к своему визави с поцелуем.— Я обшарю все столы, все корзины, но что-нибудь эдакое выужу...

— погоди,— брезгливо уклонился от нежностей Фукс.— Такое нужно делать с умом, тонко, примерно так, как мы поступаем с «защитниками бедняков».

— С кем? — не понял Вахот.

— С «защитниками бедняков». Неужели не знаешь? Так называют бетяров, давших зарок грабить только бо-

гачей и помогать бедным. Это, конечно, сказочка для малых детей, потому что кого и потрошить, если не богачей? С нищего не разживешься. Но всегда находятся простаки, которые принимают наивную легенду близко к сердцу. Они предоставляют разбойнику кров, кормят его, прячут от полиции. Такой ловкач становится, во-первых, почти неуловимым, во-вторых, приобретает респектабельную репутацию политического преступника, почти революционера. Только какой он, к дьяволу, революционер? Просто хитрый и наглый бандит.

— И как же вы поступаете в подобных случаях? — заинтересованно спросил Вахот, суча ногами от нетерпения.

— Очень просто. Находим бедняков, которых этот субъект обобрал до нитки или, того хуже, убил.

— Он и вправду так поступал?

— Неважно, — отмахнулся обер-шпион. — Главное, что находим. После этого остается лишь терпеливо ждать. Кто-нибудь обязательно выдаст мерзавца. Чаще всего это делают его же ближайшие сообщники, вступившие в шайку из так называемых «идейных» соображений... Понял теперь, редактор, как тебе надлежит поступать?

— Можешь не сомневаться! Уж я-то их знаю всех как облупленных. Партитура будет разыграна по всем правилам.

— И конечно, не забудь атамана.

— С ним хуже, — огорченно поцокал языком Вахот. — Все, что он продал мне, я давно опубликовал. Не пойти могли только стихи, напрочь зарубленные цензурой.

— Если найдешь их, сразу же дай знать, — предупредил Фукс. — Я помогу тебе протолкнуть любую крамолу. Монархия от этого не рухнет, а заговор мы наверняка сорвем.

— Не знаю, как благодарить себя, Ферди, — совсем расчувствовался редактор. — Ты даже не представляешь



себе, как возрастет подписка, если мы сумеем дать хоть одну антиправительственную вещицу!

— С тех пор, как финикийцы придумали деньги, благодарность перестала быть проблемой,— пошутил полицейский.— Как-нибудь сочтемся, Имре!

Когда на блюде остался лишь обглоданный костяк и трапеза закончилась, сам хозяин помог нетвердо стоявшему на ногах Вахоту сойти по крутой лестнице вниз, где в ночной крошечной тени терпеливо дожидался наемный фиакр. Вместе с разбуженным возницей владелец «Двух пистолетов» посадил грузного редактора на откидную ступеньку.

— Buna seara! — напутствовал по-румынски.— Добрый вам вечер. Заходите еще.

— Поищи Банди,— кивнул Фукс хозяину, когда тот возвратился наверх.— Он, должно быть, сидит в общем зале.

— Слушай, Банди,— строго вскинул подбородок господин Фукс, когда перед ним предстал унылый верзила в непременной глухой пелерине и с цилиндром, почтительно прижатым на сгибе локтя.— В городе болтают о каком-то ларчике с важными бумагами. Разве я не предупреждал, чтобы твои олухи держали язык за зубами? Бумаги нигде не должны фигурировать.

— Как можно, патрон,— укоризненно пробасил агент.— Никто и словцом не обмолвился.

— Откуда тогда пошел слух?

— Да, видимо, сам граф рассказал, как было дело.

— И верно, сам граф... Как просто,— Фукс неожиданно зевнул и сладко потянулся.— На той неделе что-то уже должно найтись? Допустим, лошади и часть денег.

— Не, патрон.— Банди неловко переступил ножищами.— Деньги вряд ли найдутся...

— Это еще почему? — грозно нахмурился начальник.

— Ребят жалко, уж очень старался... Да и где это видано, чтоб полиция возвращала деньги?

— И в самом деле. Такое, чего доброго, на подозрение наведет,— ухмыльнулся Фукс.— О поимке одного из соучастников ты официально доложишь мне, скажем, накануне дня святого Матиаша... Успеешь?

— Успею, патрон. Сегодня утром ребята взяли Черного Габора, за ним много грехов. Его нашли в стогу сена вместе с каким-то бродягой.

— Mitgefangen, mitgehungen<sup>1</sup>,— пробормотал Фукс и еще раз потянулся.— До чего же устал я сегодня!..

В день святого Матиаша, который в народе зовут «ледокольным», ибо к нему приурочено таяние льда, суд, продолжавшийся около часа, выпес приговор налетчикам, задержанным в связи с дерзким ограблением графа Каройи. И хоть оба упорно отрицали свою вину, улики явно свидетельствовали против них. Полиция, обнаружившая поблизости от злополучного сеновала, в котором укрывались бегляки, краденых лошадей, могла торжествовать победу. Вот и получилось, что первому налетчику, с учетом предыдущих деяний, судьба уготовила петлю, второму же — только пятнадцать лет каторги. Однако, по личному ходатайству отца провинциала Общества Иисуса, наместник смягчил приговор, и Черный Габор получил ровно столько же, сколько ни в чем не повинный бродяга. Напрасно тот твердил о своей непричастности и называл свидетелей алиби. На его беду, граф уверенно опознал обоих обвиняемых, несмотря на то, что надругавшиеся над ним бандиты, как он сам заявил на суде, были в масках.

Справедливость, таким образом, восторжествовала, но начавшееся через две недели после «ледокольного» Матиаша таяние отсрочило исполнение приговора. Пока не

---

<sup>1</sup> Вместе пойманы, вместе повесят (нем.).

вскрылся Дунай и не спало весеннее половодье, надолго разделившее левый и правый берега, преступники сидели в Будайской крепости. Вместе с порядочными людьми, застрявшими в Буде, они ждали, впрочем без особого нетерпения, часа, когда будет наведен наплавной мост.

## 19

В типографии, где печатался «Пепти диватлап», журнал Имре Вахота, тоже в ожидании переправы громоздились аккуратно перевязанные бечевкой кипы. Будайские подписчики уже всюду читали журнал, а пештские даже не подозревали, какой сюрприз преподнес им господин редактор, отважный человек и пламенный патриот.

— Я убью его! — вне себя от гнева и отчаяния выкрикнул Петефи, когда увидел наконец свое давно забытое стихотворение на первой странице журнала.

Терзая и комкая бумагу, он упал на кровать и зарылся лицом в подушку. Плечи его сотрясали рыдания, но глаза оставались сухими. Казалось, что большего унижения он еще не переживал, не умирал так, как сейчас, от смертельного оскорбления, потрясшего, перевернувшего все существо. Мир рушился, разламываясь на отвратительные разрушенные гнилью куски. Невозможным казалось думать, смотреть, дышать, когда существует такая подлость. Рождение и жизнь человека, его мечты и стремление к идеалу предстали жалким фарсом, который разыгрывал циничный до мозга костей кукловод. Каким же неисчерпаемым запасом наивной чистоты должен обладать человек, если гонимый, затравленный с детства поэт обнаружил в себе вдруг такую незащищенность! Оказывается, он жестоко ошибся, когда уверовал в то, что измерил мыслью и чувством глубины низости. Они разверзлись теперь беспредельно, и нет у него оружия для

борьбы. Он снова гол и безоружен перед чудовищной машиной, сминаящей, словно кузнечный пресс, высокие стремления. Зачем жить, если в мире безраздельно царят ложь и животная жалкая подлость.

— Но прежде я все-таки убью его! — простонал поэт.

Мозг горел, перед глазами метались черные мошки, в пересохшей гортани холодел ядовитый металл. Пошатываясь и сжимая виски, он поднялся и приблизился к Морю Йокаи.

— Я знаю, у тебя есть ящик с пистолетами.— Голос сел и слова звучали невнятно.

— Не безумствуй.— Мор поднял с пола журнал и машинально попытался разглядеть скомканные страницы.— Хочешь сесть из-за этого негодяя в тюрьму?

— Я вызову его на дуэль!

— Разве с такими стреляются, Шандор? Он и не примет твоего вызова, я уверен.

— Но что делать? Что делать, брат? Надо же хоть что-то сделать!

— Все уже сделано, к сожалению, будем смотреть фактам в лицо. Нам панесли подлейший удар, но пацелен он верно, помяни мое слово. «Обществу десяти» конец, нужно жить дальше.

— Думаешь, они поверят? — тоскливо спросил Петефи, прижимаясь лбом к холодному стеклу.— Я же им все расскажу.

— Кое-кто все равно поверит, но, даже если останется просто сомнение, прежнему доверию не вернуться. А сомнение останется, я точно знаю.

— Но ты-то хоть веришь, что я абсолютно к этому непричастен? О господи, лучше б мне умереть! Какая тоска!

— Разве я пришел бы к тебе, если б хоть чуточку сомневался? — печально улыбнулся Йокаи.— О, Вахот знал, что делал! Он намеренно выставил всех вас обман-

щиками и отступниками. Особенно тебя, потому что твое стихотворение уже переписывают из альбома в альбом по всей Венгрии. Какой иезуитский маневр!

— Я навеки растоптан и проклят!

— Нет, не отчаивайся. Пройдет немного времени, и все разъяснится. Это только так кажется, что ложь сильнее правды. Правда не погибает, она остается и выходит наружу. Людей нельзя обмануть надолго, ибо ложь иссякает быстро, она постоянно нуждается в новой лжи.

— Рассуждать, конечно, просто.— Петефи почти не слушал товарища.— Ах, боюсь, что мы напрасно теряем время. Необходимо срочно созвать всех наших!

— Всех созвать не удастся,— тихо промолвил Йокаи.— Подозреваю, что придут не все. А ты слишком горд и нетерпелив, чтобы убедительно объяснить.

— Объясниться? Разве одного моего слова недостаточно? Мне не в чем оправдываться! Я и знать не хочу лжеединомышленников, могущих уверовать в клевету!

— Вот так всегда.— Йокаи разжал пальцы, и сенсационный выпуск «Пешти диватлап» упал в корзину с макулатурой.— Думаешь, тебя одного наделила природа гордостью испанского гранда? Гонор на гонор, как клинок на клинок. Ничего не получится, кроме звона. О, если бы вы все больше внимали доводам рассудка...

— О каких доводах ты говоришь, когда задета честь?! Единственное, что у меня осталось. Стоит только поставить ее под сомнение, и я онемею как поэт, исчезну как венгерский патриот. Честь — это неизмеримо больше, чем я, чем ты, чем все мы! В противном случае мы вынуждены будем признать, что миром правит подлость. Мне нестерпима даже такая мысль!

— Разве я спорю с тобой? — Йокаи с тревогой взглянул на горящее, как в лихорадке, лицо поэта.— Успокойся. Не растравляй себя.

— Да, ты не споришь. Твоему спокойствию может

лишь позавидовать безумец, подобный мне.— Шандор едва ли сознавал, что говорит.— И с таким холодным спокойствием, с такой самодовольной рассудочностью ты собираешься делать революцию?

— Ты задался целью обидеть меня, Шандор? Подумай прежде, с кем ты останешься.

— Я готов даже к полному одиночеству, лишь бы со мной была моя честь. Революции нужны витязи — фанатики чести.

— Ты невиняем, Шандор, и я оставлю тебя, иначе мы в самом деле рассоримся. Зайду вечером, когда ты немного остынешь. Успокойся и, умоляю, не делай глупостей.

Мор Йокаи внезапно ощутил себя виноватым, не мог понять лишь, в чем именно, и страдал от этого неясными угрызениями. Последние, сорвавшиеся в полубезумном отчаянии слова задели его за живое. Он проникся их глубиной и точностью, силясь осознать, чем и как они рождены: озарением, страданием или тем и другим вместе? Он, как, впрочем, и сам Петефи, не мог знать, что девять лет назад, в непроглядную зимнюю ночь, когда пурга сметала уже ненужную солому возле дома, где закрыл глаза свои Пушкин, почти те же слова вылетели из-под пера юного Лермонтова.

И все же в его сознании кружились, сочетаясь роковой противоестественной связью, обрывки речи: «фанатик чести», «пистолеты», «дуэль»...

Пока Йокаи дошел до своего дома, подсознательная тревога и раскаяние, хоть и непонятно по-прежнему в чем, настолько захватили его, что пришлось кликнуть извозчика и лететь обратно.

Но Петефи он уже не застал. Все осталось без перемен в комнатенке со скопленным у окна потолком. Только суконный плащ, сушившийся возле печи, исчез, да в корзине для бумаг не доставало изувеченного журнала.

Шапдор ворвался в кабинет Вахота, сея в квартире тревогу и разрушение. Споткнувшись о задранный угол ковра, он опрокинул горшок с какой-то волосатой бегонией, чуть не столкнул плечом с комода китайского болванчика из цветного фаянса.

Редактора, задремавшего после кофе в необъятном кожаном кресле, вторжение застало врасплох.

— Что? Как? — ошарашенно пробормотал Вахот, глядя то на подступавшего к столу разгневанного поэта, то на застрявшую в дверях испуганную горничную, делавшую глазами какие-то знаки. — Ах, это ты? — Он попытался соорудить радостную улыбку, но вместо этого лишь прикрикнул на горничную: — Сколько раз нужно говорить, чтоб закрывали дверь!

— Да, это я, — подбоченясь, сказал Петефи. — А это — ты! — выкрикнул он, швыряя на стол журнал.

— Н-не знаю, о чем ты? — искательно пролепетал Вахот. — Но если насчет гонорара, то я, по-моему, тебе заплатил, впрочем я могу проверить и, если окажется...

— Как ты смел напечатать это без моего согласия? — скрипнув зубами, процедил Петефи. — Не предупредив других наших товарищей? Вопреки нашему решению никогда больше не знаться с тобой?!

— Не понимаю твоих претензий. — Оправившись от неожиданности, редактор принял надменную позу. — Ты хоть знаешь, чего мне стоило напечатать это стихотворение? Сейчас его разучивают наизусть. Твое, слегка забытое, смею заметить, имя теперь снова у всех на устах. Чего же ты хочешь?

— Немедленного опровержения!

— Что?! — Вахот невольно присел. — Ты хочешь отказаться от своих стихов? Трусишь?

— Да как ты смеешь! — Не зная в минутном замешательстве, что ответить, Петефи замахнулся для удара.

— Но-но! — Вахот проворно выскочил из-за стола и,



метнувшись в угол, схватил трость с костяным набалдашником.— Не подходи! — взвизгнул дискантом, фехтуя палкой.

— Если ты немедленно не напечатаешь, что затеял все это нарочно, я убью тебя.

— Нарочно? Конечно, нарочно,— обрета уверенность, но так и не выпустив из рук трости, признал Вахот.— Я нарочно лезу вон из кожи, чтобы повсюду прославить молодую свободолобивую венгерскую литературу. Нарочно продолжаю, продолжаю — заметь, прославлять одного талантливую глупца, который платит мне черной неблагодарностью. Что ж, если ты настаиваешь, я повторю все это печатно.

— Ты знаешь, о чем я с тобой говорю, подлый провокатор!

— Ну, а если и знаю, то что тогда?

— Я напишу статью, в которой расскажу о подоплеке твоей гнусной затеи.— Ты — вор. Ты просто-напросто украл у меня стихотворение! Оно валялось у тебя больше года...

— Не имеет значения... Но мне больно слышать твои оскорбления. Кого ты поносишь, наглый щенок? Своего благодетеля, который поднял тебя из грязи и сделал человеком? Где бы ты был сейчас, если б не я! В ночлежке, в подзаборной канаве? В тюрьме? Я, как господь бог, создал тебя из глины.

— Ты напечатаешь мою статью! — стоял на своем Шандор.

— Какую? — Вахот вызывающе вскинул голову и, продолжая фехтовальные упражнения, прокрался к креслу. За столом ему было как-то спокойнее.

— Статью, где я назову тебя вором.

— Я еще не сошел с ума!

— Ладно.— Петефи сунул руки в карманы, скрывая бившую его дрожь.— Надеюсь, в нашей несчастной стра-

не найдется газета, которая не побоится сказать правду.

— Только посмей! — взвился, окончательно перестав владеть собой, Вахот. — Если ты пикнешь, я тебя уничтожу! Тебя и твоих собутыльников-бунтарей!.. У меня есть такие возможности, — добавил глухо.

— Что ж, теперь ты окончательно раскрыл себя, Имре Вахот... Эти слова я тоже приведу в своей статье. Пусть нация знает, какие пауки присосались к венгерской литературе.

— Воп отсюда, подлец! — редактор ткнул в сторону двери костяным шаром.

— Я ухожу, — почти спокойно ответил Петефи, — но на оскорбление ответу острием клинка или пучей, — и повернулся к Вахоту спиной, и пошел к двери, неосознанно по-солдатски печатая шаг. — Сегодня же пришло к вам своих секундантов, сударь, — бросил, не оборачиваясь, и толкнул дверь погой, чуть не расплющив нос бедняжке горничной, тайно и безответно влюбленной в него.

## 20

Бархатистые итальянские почвы, напоенные душистой истомой, судорожно трепетали дальними зарницами, заверченное исполинской воронкой тепло чужедальних морей, перетекая над горными кряжами, высекало искры из облачных гряд. И дымные после римских свечей небеса, рыжие от факелов, фонариков и масляных плашек, распахивались вдруг пугающим провалом. Безмерное, превыше чисел, время мигало циклопым глазом с этих вечных высот над булыжником Аппиевой дороги и термами Каракаллы, чернотой кипариса и кладбищеской бледностью мрамора.

После того как были в столетнюю годовщину поражения австрийцев в Гепуе иллюминированы Апеннинские

вершины, итальянские патриоты словно поклялись обратиться почь в день. От гор Лигурии до утопающего в пепле двугорбого Везувия над плавной дугой Неаполитанского залива вызывающе вспыхивали праздничные огни.

Отец Бальдур в первую минуту обалдел от этого света, темпераментной суеты и гама. Ему показалось, что улицы ощутимо дышали близким восстанием, возможно той самой революцией, которую давно готовили карбонарийские заговорщики. Но странными выглядели предвестники катаклизма. Если революция и пазревала, то небывалая — под папским знаменем. В это с трудом верилось. Тиара со скрещенными ключами — все же не санкюлотский колпак. Белое полотнище взывает к спокойствию и прощению. Голубиная орифлама и красный сигнал возмущения над окровавленной в пороховом дыму баррикадой. Что между ними общего?!

Застрав на запруженной площади Минервы, Бальдур вылез из кареты и смешался с толпой. Ее голос не взывал к мести, но, напротив, был исполнен надежды и жаркой любви. Выяснилось, что несколькими часами ранее отсюда проехал в Квирипальский дворец великий папский пфифик. Пылкие римляне все еще находились под впечатлением.

— Santo padre! — со слезами счастья выкрикивали бородатые молодые люди, которых в любом другом месте можно было бы принять за отъявленных бунтарей. Они, не таясь, проклинали австрийцев и поносили иезуитов, продолжая, однако, взывать к santo padre — святому отцу.

Едва вдохнув итальянского воздуха, сладко напомнившего о взлетах и падениях молодости, Бальдур проникся убеждением в том, что обстановка в Европе куда сложнее, чем это кажется эстергомским или венским политикам. Не исключено, что именно поэтому генерал и предпочел лично принять венгерского легата, не ограничив-

шись перепиской. Бумаги, похищенные у графа Каройи, оказались именно тем недостающим звеном, которое позволило в самых общих чертах разобраться в механике финансовой аферы, едва не приведшей к международному скандалу. Картина вырисовывалась жуткая. В Австрии и особенно в Венгрии, скованной по рукам и ногам кандалами таможенных ограничений, существовало негласное двойное законодательство. Наряду с обычной, подчиненной определенному регламенту торговлей полноводной рекой текли не облагаемые налогом и незафиксированные на границах товары.

Ставший притчей во языцех постоянный дефицит в госбюджете, достигавший примерно тридцати миллионов гульденов, не шел ни в какое сравнение с прибылями, оседавшими где-то в заграничных банках. В операцию были вовлечены высшие сановники империи, генералы, дипломаты, банкиры, крупные помещики, фабриканты. Едва ли все они были посвящены в тайны приводных ремней, передававших двигательный импульс от одного шкива к другому на самые дальние расстояния. Напротив, создавалась иллюзия, что каждый ловчит в одиночку, ибо незаконные сделки сопровождались взяткой, передаваемой анонимному посреднику для неведомого лица. Общий поток как бы распадался на отдельные ручейки, теряющиеся в трясине тривиальной, вечной, как мир, коррупции. Похвальная привычка графа Каройи вести скрупулезный учет каждому медному филлеру позволила соединить концы с концами. И хоть по-прежнему оставалось неясным, замешан ли в афере сам канцлер, все пути сходились у Кауница, фельдмаршал-лейтенанта, почетного и действительного кавалера золотого ключа. Меттерних сдавал с каждым годом, а молодой блестящий наглец мог просто-напросто прикрываться его именем, действовать, спекулируя на доверии, без ведома старика. Но столь же правомерна была и другая возможность.

Терзаемый недугами преклонных лет, подгоняемый призраком неотвратимо приближающегося конца, Меттерних мог поддаться последнему роковому соблазну и, по примеру многих, попытаться воздвигнуть меж собою и смертью золотой вал. На власть он едва ли уж полагался: она рассеивалась как дым, ничего не оставляя в руках, и, в отличие от капитала, не могла перейти по наследству.

Получив из Рима предписание начать интригу против некогда всесильного канцлера, отец Бальдур передал в руки эрцгерцогини Софии бумаги, могущие послужить мощным оружием. Он не испытывал тогда никаких сомнений, полагая, что, если удастся свалить хотя бы Кауница, старик недолго протянет. Но прошло несколько месяцев, и ничего не сдвинулось в нестойком балансе хофбургских сил. Вода просочилась в песок, словно ее и не было, а державное солнце, как прежде, сияло над усыхающим черепом. Не удивительно, что, даже располагая относительно полной картиной грязных махинаций, иезуитский провинциал усомнился в правильности избранной тактики. Почему не сработало? Трагикомизм ситуации заключался в том, что Меттерниху некого было противопоставить. Коловрат был стар и отличался закоснелым упрямством. Русофил и вольнодумец Фикельмон тоже дышал на ладан и не очень устраивал Рим. Получился порочный круг.

В полном согласии с «*Manita secreta Societatis Jesu*»<sup>1</sup>, Бальдур письменно изложил свои соображения и вместе с копиями новых, добытых не совсем праведным путем документов отправил с фельдъегерем генералу.

Обратная почта принесла ему категорический приказ немедленно прибыть для объяснений.

---

<sup>1</sup> «Тайные наставления Общества Иисуса» (лат.).

И вот он в Риме. Охваченном ликованием плебса. Пылающем огнями иллюминации. После захоластного Пешта, даже после имперской Вены вечный город представился жерлом огнедышащего вулкана.

Отвыкшее ухо с трудом улавливало смысл мелодичной темпераментной речи. Вскоре стало, однако, ясно, что чаще всего скандируются два, очевидно особенно популярных, лозунга: «Да здравствует Пий Девятый!» и «Реформы и народность!»

«Нет,— решил про себя Бальдур,— дела обстоят здесь примерно как в Венгрии, и, значит, до возмущения еще далеко».

И словно в подтверждение над площадью прокатились новые, причем столь же умеренные, здравицы: «Да здравствует Италия!», «Да здравствуют государи-реформаторы!», «Да здравствует единство!», «Да здравствует Джоберти!»

«Кто такой Джоберти? — напряг память провинциал. — Неужели тот самый утопический мечтатель, что написал книгу о возрождении гвельфского папства? Не Мадзини, не Гарибальди, а Джоберти! Толпа неподражаема в своей глупости. Она восторженно готова идти за первым же бараном, который поведет ее на убой. Нет, люди, ратующие за возвращение к добрым, старым временам, не могут быть опасны. Они хотят всего лишь сбросить чужеземное иго, а это понятно и не очень ново».

С такими мыслями и предстал он перед очами отца генерала. Смиренно потупившись и руки сложив на груди, ждал, пока тот соизволит заговорить.

— Орден переживает трудные дни,— необычно повел свою речь черный папа,— и мы вправе ждать, что наши указания будут проводиться в жизнь с удвоенной рьяностью, не так ли?

Вопрос ответа не требовал, и Бальдур лишь еще ниже склонил голову.

— Откуда тогда сомнения при выполнении ясно выраженной воли, сын мой? Почему вы позволили себе промедлить, вместо того чтобы действовать к вящей славе господней?

— Грешен, монсеньор,— заученно повинился Бальдур.— Очевидно, я был плохо информирован.

— Судя по вашему докладу, вы информированы превосходно,— генерал сухо отклонил оправдательный довод.— Но пришли к неверным выводам. Разве я поручал вам рассуждать?

— Теперь я и сам это понимаю,— униженно пролепетал Бальдур. Усвоив раз и навсегда непреложную истину, смысл которой был страшен и прост, он оставался внутренне абсолютно спокойным. Усыпив память и критический дух, уподобился говорящему труп.

— Тогда я вновь повторяю, что дело следует довести до конца и возможно скорее. Он все более мешает нам.— Генерал не назвал имени австрийского канцлера, не сомневаясь в том, что провинциал поймет с полуслова.— Он стал слишком опасен, сделавшись одиозной фигурой, вокруг которой сгущается всеобщая ненависть. Кто придет ему на смену, как придет и когда — не ваша забота.

— Слушаюсь, монсеньор.

— Теперь о положении ордена,— наставив конфиден-та на путь истины, генерал заговорил будничным тоном и знаком разрешил сесть.— Правительство Швейцарской конфедерации проявило враждебность по отношению к ордену, но Австрия, вопреки всем ожиданиям, не встала на нашу защиту, и развитие событий уже нами не контролируется. Это серьезный удар. Мы вступили в эпоху неблагоприятных для нас перемен. Проавстрийская ориентация делает нас непопулярными. Единственный выход — это предупредить неизбежный взрыв и направить политику Вены в русло разумных реформ.



— Речь идет лишь о реформах в Италии? — осторожно осведомился Бальдур.

— О конструктивных реформах в любой части света, — категорически пояснил отец Ротоан. — В том числе в Венгрии, в том числе в самой Австрии. Кто стоит на пути реформ, вы отлично знаете.

Бальдур не только понимал своевременность перемен, за которые ратовал гибкий на путях веры орден. Он всецело сочувствовал им по мере сил, даже споспешествовал. Одно ему хотелось сейчас знать твердо: чью политику проводит генерал — свою или нового папы?

— До нас доходили сведения, как бурно реагировали итальянцы на нанесенное им оскорбление, — осторожно заметил он, намекая на недавнюю демонстрацию силы, когда австрийские войска, занимавшие, в согласии с трактатом от тысяча восемьсот пятнадцатого года, феррарскую цитадель, овладели городскими воротами и прошли по улицам как завоеватели.

— Надеясь запугать тайные общества, престарелый упрямец лишь дал им новое оружие против себя. — Генерал вновь вернулся к канцлеру, не желая, по-видимому, говорить о папе. — Это лишний пример неисправимой тупости. У себя в Венгрии вы тоже можете позволить себе, в известных рамках, критическое отношение к австрийцам.

Более чем все даже самые прямые инструкции, это со значением оброненное «тоже» приоткрыло для Бальдура действительные намерения генерала. Орден со свойственным ему прагматизмом ощутило менял ориентацию. Пусть временно, пусть под давлением обстоятельств, но он отказывался и от поддержки австрийского правительства, и от безраздельной преданности габсбургской идее. Поворот был резкий, и генерал, конечно же, не мог называть вещи своими именами. Однако разумному достаточно. Бальдур проникся твердой убежденностью в том, что ге-

генерал не просто следует в фарватере нового, опьяненного всенародным обожанием папы, но знает о Пие Девятом нечто такое, что позволяет ему с надеждой взирать в будущее.

И, словно читая тайные мысли эти, генерал счел нужным слово в слово повторить заявление, которое сделал в ответ на упреки в потворстве самоуправству австрийцев:

— Любить, почитать, благословлять, защищать папу Пия Девятого, повиноваться ему во всем, сочувствовать реформам и улучшениям, которые ему угодно было ввести, есть долг для всех иезуитов, долг совести и справедливости, который им приятно будет исполнить.

Внутри Общества Иисуса генерал говорил то же, что и вовне. Одинаковые доводы адресовал и противникам, и клеветам. Само по себе это было необычайно.

Бальдуру показались странными недавние колебания и мелкотравчатые расчеты. Он был только орудием в руках высшего начальника и не смел вчитываться в контуры встающих на горизонте созвездий. О том, что Ротоан, перед которым он привык преклоняться, оказался столь же недалеким, растерянным человечком, плывущим вместе с прочими по течению, Бальдур не думал. Просто-напросто не позволял себе и в мыслях держать такое, хоть сердцем чувствовал, что так оно и есть.

Возможно, новый папа и замечательный человек, но тем скорее ему надоеет восторг революционно настроенных фанатиков. Понтифик, даже при остром желании, не станет провозвестником мирских свобод. Люди, которые не понимают этого, не достойны ни милости, ни вражды.

Их удел — удобрить собою почву. Они — просто мясо для пушек и баррикад.

Видение было поэту. Или сон короткий среди бела дня. Он спешил из последних сил по дороге, уводящей выше и выше, но неизвестно куда. Жизнь вокруг непонятно застыла, и люди, если успел он увидеть людей, замерли, превратившись в восковые фигуры, в том положении, в каком настигла их остановка. Время покинуло землю, продолжая свой бег лишь на пыльной проезжей дороге.

Господи, что это? Полет фантазии? Дерзкая забава, подобная фантасмагорическому путешествию Янчи Кукурузы? Разве не забросил он своего героя в Италию, сияющую под вечными снегами, и дальше — во Францию, вплотную примыкавшую к холмам индийским? <sup>1</sup> Задевая о звезды копытами, скакали лошади в заоблачной вышине. Сладкой, как имбирный леденец, казалась венгерским гусарам небесная твердь, дыханием старого рома пьянила их надмирная синева. Вдохновенная игра ума дарила радость, упоение всемогуществом, восторг свистящих напруженных крыл.

Здесь же было иное. Дуновение темных гробниц, сумеречный свет и пустота неотражающих зеркал.

Что есть Время? — спросил себя поэт.

Мелькают снежинки, опадают, покинув припухшую завязь, белые лепестки яблонь, лохмами ваты сбивается в придорожной канаве прилипчивый тополинный пух. Круговращение зодиака, непостижимое течение лет.

Размывают случайности жесткое сцепление причин и следствий, попытка схватить на лету событийные связи нарушает хронологическую последовательность человеческих дел. И только мысль неподвластна обращению сфер и светил. Она бросает то в прошлое, то в будущее, когда

---

<sup>1</sup> Такова фантастическая география поэмы.

в нетерпеливом порыве летишь вперед, чтобы хоть словечко одно углядеть на чистом листе пенаписанной книги.

Рим, Вена, Пешт, Петербург, мелькание вспышек на быстрой реке, задержка в омуты, отставание в водокрутах, и снова на стрежень, и снова вперед. Такова жизнь, и, пока она длится, нельзя замереть, чтобы просто передохнуть, и вещи тоже расставить нельзя, ибо и мертвые вещи плывут вместе с нами в изменчивых волнах.

Спасибо календарям. Они дарят иллюзию постоянства. В них все заранее размечено. Старый Лечейский месяцеслов попутно с анекдотами, модными картинками и рецептом настоек готов не только напомнить былое, но даже грядущее предвосхитить. Если зарядит в день святого Медарда ливень, то сорок дней будет плакать небо, а если придется дождь на Маргаритин день, то спеши редиску сажать: уродится на славу. Зато об орехах можно и не мечтать: урожай будет скверным.

После напряженных драматических мигнов, когда не только литературная стачка провалилась, но и само «Общество» трещало по швам, наступила пора бесплодного ожидания. Имре Вахот, проволынив два дня, картеля не принял и скрылся из города, а о поданном палатину прошении не было ни слуху ни духу.

Впрочем, обходительные чиновники обнадеживали, что дело подвигается верно и должно лишь как следует вылежаться, согласно неписаным канцелярским правилам.

Таковы проявления временной неуловимой субстанции, что одних она балует бесконечной изменчивостью, а другим представляется совершенно застывшей. Эти, другие, ошибаются в терпении сердца. Рано или поздно скрытые от непосвященных перемены суммируются и выходят на свет, обретая, как в данном случае, форму решения.

Даже Бальдур, долго уклонявшийся от видимого участия в обсуждении предложенного литераторами проекта, был вынужден изложить свою точку зрения.

— Оппозиционный журнал, разумеется, умеренного толка был бы полезен,— изрек он то ли до, то ли после поезда в Рим.— Но не в такой форме и не в таких руках.

Мнение цензора оказалось более категоричным.

— Вполне достаточно и трех литературных журналов, ваше высочество,— доложил он наместнику.— Мадырам незачем вычитывать политическую агитацию между строк.

При таком развитии событий королевский Наместнический совет, куда входил и граф Сечени, вынес решение патента на издание журнала «Обществу» не давать. Личный секретарь палатина оттиснул факсимильную подпись высочества, а полицмейстер отдал приказ о надзоре за каждым участником.

— Спыхватились,— усмехнулся Фукс, получив соответствующие инструкции.— Почему я всегда должен думать наперед!

Как человек информированный, он тоже старался обогнать последовательное течение событий. Не вследствие нетерпения, по долгу службы. Карает преступников суд, а полиция, если она соответствует своей роли, стремится предотвратить преступление. Она многое знает, как верно заметил Фукс, «наперед» и о еще большем догадывается.

Громы революции, которая существовала пока только как возможность, еще не докатились до Голубого Дуная, а полиция уже выделила ее грядущих вождей. Неодинаково текло для людей время...

Когда земля уходит из-под ног и день за днем рушится привычный уклад, не соблюсти хронологической строгости. Вехи, по которым станут учить историю потомки, пока не вырублены, хоть и светят кому-то во тьме, нетерпеливо зовут в дорогу.

Странное пугающее чувство овладело Петефи, когда примерещилась ему эта пыльная, забирающая в гору дорога. Дома нежилые стояли по обе ее стороны, а деревья, хоть и пылало как будто лето, голыми ветками хлестали в лицо. Сухой песок по ветру летел, и черная сажа кружилась. Сжалось сердце в тоскливом педоумении, не понять было никак, что это: предчувствие смутное, память о небывшем или забытый сон? Но мимолетное ощущение кольнуло, раскрылись какие-то завесы и стало жаль, что столь краток вышел проблеск. Видение, если было оно видением, задрожало, расплзлось параллельными полосами, сместилось и стало нечетким. И уже вспомнить не удавалось, что, собственно, показалось в пыли и дыму. Дорога, дома, что еще?.. Память тем дымом заволокло, и только грудь холодела, не забыв о тоскливом уколе. Стихи пришли сразу, хоть не было в них ни домов, ни деревьев голых, ни странной дороги, что в гору увлекала помимо воли, как лесенка эшафота. «И тут палец ударил сзади, скатилась голова моя,— взамен цветка своей отраде ее поднес с поклоном я».

Вроде совсем о другом сложилось, по сердцу ныло: о том.

Жаркое выдалось лето. Рожь пылила на ветру золотым благодатным маревом. По ночам выползали из Дуная одуревшие сомы и купались в прибрежных овсах, глотая полевок. Осточертел город с его бессмысленным мельтешением, изнурительной спешкой и суетой. Обрыдли бесконечные разговоры, неверная дружба, завистливая вражда. Речные вечеряющие излуки все чаще вспоминались, камышовые заросли, крик дергача, порочно-сладостная струя таволги из сырых оврагов.

Вышел в свет томик с «Жемчужинами любви», заставивший приумолкнуть даже самых распущенных критиков. Эмих обещал собрание сочинений с гравюрами знаменитого Барабаша. Но Петефи уже забыл, когда в пос-

ледный раз проснулся с ощущением счастья. Постоянная тревога угнетала призраком сгущающейся беды. Он знал, что к нему приставлен шпик и в «Пильваксе» полно доносчиков. Реакция определенно спланивала ряды. Отъявленные борзописцы протачивали ходы на самую вершину правящей пирамиды. Устанавливались неожиданные противоестественные связи молодых поэтов с полицией и генералитетом. Невежественный мистический бред выдавался за голос нации, за эхо земли и крови. Казалось, печего было противопоставить этому слепому нарастающему давлению, нагло отринувшему даже фиговый листок притворной морали. Если Вахот еще прикрывался красивыми словами, то его выкормыши нагло бравировали своим цинизмом, забрасывая грязью все, что казалось чуждым их убогому, злему рассудку. Себерени безнаказанно изголялся над Петефи и его друзьями из «Общества десяти», и никто пальцем не пошевелил, чтоб обуздать распоясавшегося клеветника. Маститые стыдливо отодвинулись в сторонку, ревнуя к славе молодых, которые оказались вдруг беспомощны и одиноки. Недавних единомышленников разделила если и не вражда, то тайная настороженность, мелкие литературные дразги.

Коль это откат, думал Петефи, то нужно тесно сплотиться, пока темная волна не затопила оставленное поле, коль случайный зигзаг, то тем более надо сомкнуть ряды и, собравшись с духом, двинуться дальше.

Неужели вновь придется начинать чуть ли не с самого начала? Опускались руки, густой отравой взвихрялось, медленно оседая в тайниках души, отвращение. «Не нынче-завтра, а они восстанут,— заклинал он притаившихся духов тьмы, размагничивающих волю, разъедающих веру,— народы мира, втоптанные в прах... Был водяной поток, придет кровавый, чтоб мир от грязи мог отмыться весь».

И видел накат замутиненной волны, вскипающей чер-



ной пеной. Уговаривал себя, что реакция, собственно, потому и называется так, что вынуждена по самой своей природе реагировать на грозное дыхание летящего нового века, что ее очевидная консолидация больше, чем что бы то ни было, говорит о приближении встречного очистительного потока. Но только лопнула какая-то струнка внутри. Исчезло предчувствие близости, заглохло нетерпеливое ожидание. Встречая новый год, он трепетал этой близостью, думал, что вот, сейчас... Ныне разочарование подмывало: нет, не сейчас, не очень скоро!

Работа над «Шалго», романтической поэмой в байроническом духе, измучила Петефи. Он знал силу чудного опьянения, без которой нет и не может быть поэзии. Нужно яростно, до солнечного ослепления верить, и только тогда поверят другие. И увидят ослепившие тебя вспышки и с благодарным упоением задохнутся твоею болью.

Значит, необходимо сопротивляться тайному недугу, лечить отравленную душу, светлой прохладной струйкой ополоснуть опаленные веки. Так пусть впереди затапчут причудливые картинки, и миражи пушты преобразят пересохшие колеи в студёные реки. Он, как Антей, приникнет к матери-земле, чтоб напиться ее первозданной силой, и вновь услышит вещий голос в себе, и обретет утраченную радость безраздельно повиноваться его приказу.

Петефи давно не видел родителей и тосковал о них тем чаще, чем сильнее страдал от одиночества, мнимого подчас, но от того не менее острого одиночества, на которое обрекает поэта божья искра. Он не раз уж обманывался, стремясь найти успокоение под родительским кровом, и не питал никаких иллюзий. Но нечто высшее, нежели разум, и много большее, чем опыт, властно захватило его, напомнило о себе щемящим приливом. Где-то совсем недалеко для такого бродяги, в Дёмшёде, живут самые близкие, самые родные люди, которые всегда пом-

няют, думают и тоскуют о нем. Стыдом обожгло, что в водовороте вечной спешки вспоминал о них лишь мельком, а годы уходили, что-то всегда неизбежно унося с собой. Шандор подумал, но тотчас же оборвал мысль в предчувствии боли, что настанет неизбежный день, когда папа с мамой уйдут, оставив его в этом мире совсем одного. Тогда лишь он узнает настоящее одиночество. Только тогда расстанется с волшебной иллюзией бессмертия, тающей в созревающем сердце.

Мысленно перебрав оставшихся друзей, Петефи бросился к Палфи, чтобы уговорить его поехать вместе. Сам не знал зачем. Может быть, опасался разочарования и крушения неясных надежд, но, вернее всего, просто боялся одиночества в родном доме, гнетущего молчания, когда становится стыдно за то, что нечем заполнить выросшую с годами пропасть и не хватает слов, и жаль себя, и безмерно жаль их, и больно, больно...

Хоть бы денег немного наскрести старикам, думал Шандор, отправляясь на поиски друга, а то совсем обнищали, едва сводят концы с концами. Может, у Эмиха перехватить удастся в счет будущего аванса?..

Дела у старого Петровича и впрямь обстояли неважно. Неосмотрительно взяв подряд на поставку коровьих шкур, он снова прогорел и кормился теперь грошовыми доходами с жалкой корчмы. Экопомя на дровах и одежде, Шандор с каждого крупного гонорара посылал сотню-другую форинтов, но изменить что-либо было уже невозможно. Отец по-прежнему витал в облаках, и все тяготы ложились на плечи матери. Так и стояла ее измученная улыбка перед глазами, тронутая отсветом горькой и неземной доброты. Милая, бедная мама! Руки ее — узор узловатых вен, корням подобны искалеченные ноги, и морщины, как трещины в смуглой коре. Она всепрощение, она безответность, и слезы обиды уронит украдкой, как деревья росу.

Неправда, что время необратимо. Родные тропы ведут нас обратно в детство, и день, наполненный стрекотом зеленых кобылок, сияет радостно и ярко, как в первый раз. Нет числа позабытым открытиям. Полет белой цапли над лугом, тонкий звон отбиваемых кос, и сливы, затуманенные лиловым дыханием, и мутные тени косточек в глубине виноградин, и мятые крылышки божьей коровки, пропавшие под лакированной нежной броней.

Но не надо обманываться — чудо не повторится. Пережитое отрезано навсегда. Конечно, он не забыл, как с годовым аттестатом в кармане, счастливый и гордый отметками, трясся на скрипучей двуколке по тракту, купающемуся в пыли. И как считал медлительные версты, и как были наполнены миги удивительными сюрпризами, что дарила природа, без усталости, щедро, роскошно. «Всю дорогу к дому думал, что скажу я маме. Ведь ее, мою родную, не видал годами! И какое слово дружбы вымолвлю сначала — ей, которая мне люльку по ночам качала? Сколько выдумок отличных в голове сменялось! И казалось — время медлит, хоть телега мчалась. Я вошел. Навстречу — мама! Не сказав ни слова, я повис, как плод на ветке дерева родного».

Такое не забывают, такое вспыхивает в очах перед тем, как заволочет их вечным туманом. Но Петефи помнит не только дары и предвкушение дороги. На всю оставшуюся жизнь заледенел в нем ужас первой минуты, когда двуколка пронесла его мимо родимого дома. Он уж спрыгнуть готовился, когда показалось распятие, камень знакомый и куст шиповника, над которым гудели шмели. Но едва завернула дорога, как обмерло сердце, — ни дома, ни сада, ни даже забора, на котором сушились родные горшки.

«Живы, живы, сынок, — успокоила сидевшая над распиленным буком старушка. — Слава богу, езжай туда, дальше», — указала клюкой на чужую угрюмую хату.

Там за струганым голым столом ожидали его молчаливые мать и отец. Дом и стадо на лужку, золотом от лютиков, белом от ромашек, сожрал Дунай, как языком слизнул в своенравном и буйном разливе. Беда, как известно, не приходит одна. Капиталец, который мало-помалу сколотил Иштван Петрович, торговец мясом и венгерский дворянин, тоже, считай, унесло с половодьем: часть растратил добрый приятель, остальное ловко прикарманил родственничек, брат того самого богатея Шалковича, чьи хоромы покинет несчастный школяр ради нар и солдатского плаца...

Грустные воспоминания. От них так и веет слезами грядущих утрат. Детская радость, как зеленое деревце, взлелеянное под материнской заботливой веткой. Годы нещадно срубают с него черенки. Оно высохнет и облетит, когда не станет над ним охраняющей длани...

Но, слава всем богам, мать еще на ногах!

— Мама! Милая, бедная мама!

— Мальчик мой! — Старая батрачка обняла сына и замерла у него на груди. — Не летай так высоко, сынок, — шепнула ему на ухо. — Они погубят тебя, эти люди. Чем выше взлетишь, тем вернее они погубят тебя... — Эти слова она взлелеяла в тревожные часы бессонниц. Берегла их напоследок, а сказала при встрече. Не смогла удержаться.

— Мама, мама, ну что ты, не надо, не плачь...

— Ох, эти бабы. — Старый Петрович только рукой махнул и побрел, держась за поясницу, к коляске помочь Альберту Палфи перенести вещи. — Пошли в корчму, молодые люди! — подмигнул хитро. — Хлопнем по стопке сливянки на радостях? Ну и добрая получилась сливячка, из собственных слив!

«Неужели это в последний раз? — думал Петефи, расставаясь с тревогой, уходившей на дно, отпускавшей зажатое горло. — Нет, еще очень не скоро, через множество

лет...— Пропустив родителей вперед, он проводил их рас-  
тоганным взглядом.— Лучше сначала меня, господа»,—  
обратился к неведомому, не разжимая губ.

## 22

На континенте плохо знают Англию, хотя зачастую и преклоняются перед ней. К числу европейских мифов, порожденных завистливой и невежественной молвой, относится и миф о британской погоде. Слух о лондонских туманах и непрерывных дождях не только преувеличен, но, можно даже сказать, лжив.

Небо над Темзой куда чаще бывает ясным, чем над столицами, глядящимися в воды Сены, Дуная и Шпрее, не говоря уже о Неве, петляющей среди чухонских гранитов и мхов.

Вот и теперь, когда в Средней Европе дороги вспухли от ливней, над Лондоном нежно светит солнце, золотя посыпанные песком аллеи, веселыми зайчиками пятная зелень подстриженных образцовых газонов.

Михай Штанчич и его давно возмужавший воспитанник Шандор Телеки выбрали для прогулки дивный Сент-Джеймс, лучший, наверное, из всех существующих парков. Тщательно спланированный вокруг вытянутого в длину пруда, он казался тем не менее уголком совершенно дикой природы. В тени раскидистых платанов мирно паслись овечки; оставляя в зеркальной воде медленно расходящийся след, горделиво скользили красавцы лебеди. И тут же рядом, задрав гузку, беззаботно копалась в иле дикая утка. Или королевский олень, горделиво откинув рога, выскакивал внезапно из чащи. Здесь не было ни единой прямой дорожки. Стыдливо прячась в траве, далеко огибая просторные лужайки и рощицы, они казались прихотливыми лесными тропками, бегущими неведь куда. Сэр Джон Нэш, создавший это чудо, сумел сделать

так, что можно было подумать, будто к созданному им идилическому уголку никогда не прикасалась рука человека.

Исключение составлял только мостик, откуда открывался прелестный вид на стрельчатые башни Вестминстерского аббатства, словно выраставшие из пышных зеленых крон. Туда и вывела задумчивая аллея двух мирно беседующих венгров, встретившихся вдали от родины, которая вечно пребудет прекраснейшей в мире, несмотря на окружающий рай.

На берегу былолюдно. Белокурые дамы в светлых кружевных туалетах привели румяных малышей полюбоваться на пеликанов. Неуклюже переваливаясь, причудливые птицы покорно раздували мешки под клювом. Вся стая, как гласила надпись на табличке, происходила от одной-единственной пары, подаренной Карлу Второму русским послом. За полтора столетия экзотические водоплавающие приучились не бояться людей и даже давали себя гладить. На иностранцев, неприлично громко общавшихся на неведомом наречии и притом безбожно размахивающих руками, воспитанные аборигены, естественно, внимания не обратили. Возможно, кому-то из них и странным показалось увидеть рядом с пожилым бородатым оборвышем, одетым в домотканую немислимую хламиду, вполне респектабельного мужчину, но чего не бывает. На то они оба и иностранцы, чтоб экстравагантно себя вести.

Поэтому гуляющие по парку лондонцы словно не замечали странную, почти шокирующую пару и, уголком глаза не дрогнув, смотрели прямо перед собой.

Bloody foreigners, проклятые иностранцы, ну что с них возьмешь... Даже если бы они вздумали прогуляться в набедренных повязках и бусах из ракушек, то и тогда бы никто не позволил себе улыбнуться. Англичане слишком уверены в собственном превосходстве, что-

бы это показывать. Они привыкли уважать чужие свободы и даже чудачества.

Поначалу Лондон понравился обоим венграм необычайно. В чудной, почти умирительной атмосфере всеобщей предупредительности они незаметно для себя разнежились и беззаботно расправили плечи. Можно было говорить о чем хочешь, где хочешь и когда хочешь, совершенно не опасаясь любопытных ушей. Принесенный из глубин Азии язык надежнее любого шифра оберегал тайну.

Да и некому было следить здесь за ними, некому было подслушивать. Длинные руки Меттерниха не доставали сюда. Наводненная шпионами Европа осталась на другом берегу Канала, как называли свой чудный пролив коренные англичане.

Может быть, неосознанная влюбленность бесправных в чужую волюность явилась тому виной или всего лишь тихий солнечный день вместе с негой укромных лужаек, но Штапчич и Телеки впервые в жизни забыли, что значит осторожность.

Что ж, людям просто необходимо хоть ненадолго расслабиться, стряхнуть с себя цепи вечной опаски и самоограничения. Дай только бог, чтобы не пришлось раскаиваться за упоительное наслаждение говорить в полный голос, за дивное удовольствие не оглядываться по сторонам.

Правда, конечно, что у стен есть уши, что есть они у деревьев и даже у божьих птиц, клекочущих в осоках. Все это так, но лишь при условии, что где-то близко таится людское ухо. В Сент-Джеймс-парке его по всем приметам быть не могло. В британских газетах не принято писать о секретной службе. Молчаливо подразумевается, что англичанин не станет заниматься сомнительной деятельностью, малопочтенным ремеслом, недостойным джентльмена. Поэтому считается, что в Великобри-



тании тайной полиции как бы вовсе не существует, хотя чрезмерно любознательные иностранцы сразу же натыкаются на некий незримый барьер.

Австрийские шпики, не спускавшие с Михая Штанчича глаз, не решились последовать за политически неблагонадежным автором нелегальных трудов о свободе печати, когда тот обнаружил намерение пересечь Ла-Манш. Проводив его до Кале и дождавшись отплытия корабля, они адресовали в Вену подробное донесение и запросили дальнейших инструкций.

В императорско-королевской службе тайного надзора конечно же знали, что Штанчич был воспитателем молодого графа, для которого не прошли бесследно кое-какие уроки жизни. Недаром же столь обстоятельно, почти по дням, была расписана вся деятельность бывшего батрака, рожденного в семье крепостных крестьян. Полиция знала даже, что делал он за границей: в Берлине, Гамбурге, Дрездене, Париже. В Гамбурге, в частности, вышел немецкий перевод его возмутительной книги «Взгляд раба на свободу печати». Судя по всему, ее ожидал успех, иначе бы вряд ли издатель Кемпе, не дожидаясь продажи тиража, поспешил заключить договор на новую работу. Впрочем, от этого Кемпе, взявшего на себя неблаговидную роль распространителя сочинения Генриха Гейне, подрывающего основы немецкой морали и государственности, можно было ожидать чего угодно. В том, что он пригрел у себя под крылышком задунайского мужика, возомнившего себя философом и моралистом, определенно ощущался дальновидный политический замысел. Ниспровергатели приличия и порядка, в отличие от людей благонамеренных, скоро находят общий язык. Недаром же Этьен Кабэ, известный своей подстрекательской ролью в беспорядках тридцатого года, а также книгой «Путешествие в Икарию», проповедующей самый откровенный коммунизм, не преминул встретиться с мадьярским

смутьяном. Венская полиция хоть и не располагала текстом беседы, но не без основания догадывалась, о чем могли договориться между собой такие субъекты, как Штанчич и господин Кабэ, чья газета «Попюлер» считалась в империи запрещенной к ввозу.

Со Штанчича не спускали глаз с того самого дня, когда запрету светской и духовной цензуры подвергся его учебник «Венгерский язык». В этой, предназначенной для сельских школ книжице исконные синтаксические примеры вроде «Птичка поет», «Небо синее» или «В нашей прекрасной отчизне все счастливы» получили не совсем эквивалентную замену на: «Все люди равны», «Нет таких законов, которые нельзя было бы сокрушить», «Люди рождены свободными» и т. д.

В отличие от Штанчича, который сам, можно сказать, напросился на слежку, Шандор Телеки в черных списках пока не значился. Его стремительные перемещения контролировались лишь от случая к случаю, в порядке общего надзора.

Даже кратковременный и внешне невинный контакт в Дижоне со Штанчичем и то не слишком насторожил сыскной департамент: дело понятное — учитель и ученик. И если бы не обставленное секретными предосторожностями свидание с Регули в Карлсбаде, гулять бы графу и далее на свободном поводке.

Но не тут-то было. После Карлсбада не на шутку забеспокоились. Слишком широкие связи стали вырисовываться: от умеренных националистов до самых крайних. На всякий случай следовало держать ухо востро. Не удивительно поэтому, что едва поступило сообщение о том, что граф Телеки тоже спешно собрался зачем-то в Англию, как в Вене забили тревогу.

И хоть было совершенно ясно, что реальными возможностями держать под контролем обоих полиция в Англии не обладает, решили пойти на небольшой риск, вступив

в контакт с Обществом Иисуса. Ирландские иезуиты как-никак пользовались на островах большей свободой, точнее, их английская агентура, не скомпрометировавшая себя заграничными связями. Слежке нужно было придать лишь приватный, далекий от политических целей характер, поскольку в стране гарантированных свобод не было никаких препятствий для частного сыска. На том и решились остановиться, направив наделенного полномочиями агента к орденскому провинциалу в Венгрию. Будущие клиенты проходили по его епархии, так как были подданными короны святого Иштвана, возложенной — по совместительству — на габсбургское чело. Венская полиция отличалась гипертрофированным бюрократизмом и свято блюла формальности.

В итоге было потеряно драгоценное время, и приблизительно два месяца с небольшим Вена не получала абсолютно никаких сведений ни об учителе, ни об ученике. Затем, когда его уже почти не ждали, поступило донесение, спешно переправленное монсеньором Бальдуrom из Пешта.

Инок Бартоломеус, в прошлом Янош Вислецени из Веспрема, наконец обнаружил по имеющемуся дагерротипу человека, похожего на графа Телеки, а там и на Штанчика вышел, снимавшего номер тут же, на улице Гроусвенар, поблизости от Марбл-арч, трехпроездной мраморной арки с колоннами и рельефами в римском стиле.

Бартоломеус, командированный в Лондон дублинским цистерцинским братством, искусно меняя одежды и облик, ухитрился не только держаться поблизости от подопечных, но несколько раз сумел даже подслушать их разговоры.

Записи бесед, скрупулезно переписанные топким почерком Бальдура, — оригинал иезуит по праву оставил себе — стали бесперебойно поступать на стол начальника

тайного политического сыска. Однако, вопреки затратам и чаяниям, ничего существенного о деятельности венгерских оппозиционеров в Англии выяснить не удалось. По всей вероятности, Бартоломеус опоздал и заговорщики уже успели осуществить свои неизвестные, но предположительно неблагоприятные цели. В Вене не знали, что одну наиболее важную депешу Бальдур утаил, отправив снятую с нее копию не в императорско-королевскую тайную службу, а в Рим генералу своего ордена.

В перехваченном документе излагалось содержание беседы, которую информатор подслушал через камин в гостинице «Старая шхуна» на Гроусвенар. Был первый в сезоне дождливый вечер, и мадьяры провели его дома за кружкой глинтвейна.

— Ничего не получается, — граф Телеки ударил кулаком по столу. — Они либо не доверяют нам, либо боятся.

— Чего ж им бояться? — спросил Штанчич недоуменно. — Разве они зависимы, или переданные нами сведения не представляют интереса для печати?

— Оказывается, у них существует закон об ответственности за клевету. Австрийское посольство может через суд опротестовать сообщенные факты, и тогда газета рискует крупным штрафом.

— Разве мы называем Меттерниха по имени?

— Однако всякому становится ясно, о ком идет речь. Накопец, мы называем другое имя, или ты забыл?

— Можно и здесь обойтись прозрачным намеком, Шандор. Я согласен изъять из статьи все имена.

— Ты-то согласен, старый драчун, — невесело пошутил граф, выколачивая трубку. — Только им такая статья не пужна. Редактор сказал, что обязан в первую очередь думать о британском читателе, а тому настолько чужды наши дела, что он лишь запутается в намеках. Плевать хотели они, разрази их гроза, на наши слезы. Что им какая-то дикая Венгрия, безумная, ограбленная страна!

— А если передать в другую газету?

— Редактор «Меркурия» — как бы получше сказать? — выразил большую дозу скептицизма, чтоб его разорвали черти! Он, видите ли, сомневается в том, что судьба метрополии, политика имперского правительства и все такое могут столь тесно зависеть от мелкого провинциального мошенства. Он так и сказал: «мелкого провинциального»...

— Чудное название для систематического грабежа целой страны! Несчастливая родина, — горько вздохнул Штанчич.

— Притом они не верят, что на грошовых операциях можно нажить такие миллионы.

— Из чего они складываются, миллионы, коли не из грошей? Ты бы растолковал им габсбургскую систему пошлин, всяких тарифных ставок и прочих ухищрений, тогда бы они поняли, что метрополия, дворцовая клика и прочее золоченое барахло просто паразитируют на нашем теле, сосут и будут сосать нашу кровь, пока не опустеют жилы!

Возможно, в Вене и не придали бы особого значения подслушанному в каминной трубе малопонятному для непосвященных разговору. Но Бальдур знал ищеек меттерниховской школы и предпочел не рисковать. Даже мелочь могла испугнуть, и пустяк мог заставить преждевременно насторожиться. Это грозило сорвать план в самом зародыше. Их высочество Софья только начала исподволь прибирать дворцовую фронду к рукам.

## 23

Бесцельно возвращение на круги своя. Места, где мы когда-то испили счастье, отравят черствой грустью. Они отдали восторги волнения и прозябают давно в равнодушном покое. Мы чужие для них,

им нечего дать нам, они не узнают нас, ибо нет у природы памяти о человеке.

Но и забвенье чуждородимой земле, вобравшей в себя угли погребальных костров, кости героев и трусов, проржавевшие шишаки и нетускнеющие золотые пластины. Есть вещая мудрость у глиняных черепков, позеленевших наконечников копий, рассыпавшегося клинка. Год за годом она питает степные травы, и лепет веков мерещится в их неумирающем шорохе. Алчущие слышать услышат, жаждущие тревог обретут тревогу.

Вновь запели рожки над ковыльной Майтенской степью, захрапели, звеня уздечками, кони, скрестились сабли, окутались дымом бомбарды на рыжих холмах.

И пока не закатится солнце, налитое кровью, пока не омоет колючий мордовник целительная роса, не устанут дрожать над большаком бесплотные быстротекучие тени. «Туманы ложатся на Майтепском поле, и грудь разорваться готова от боли...»

Ложатся туманы, синеет к ночи полынная степь, долгая, как бинт, пелена врачует застарелые шрамы. Где-то там, за холмами, наступила развязка. Заключив в тайне от венгерского вождя Ференца Ракоци мир с Габсбургами, Шандор Каройи пропустил в тыл куруцам<sup>1</sup> цесарский отряд...

Петефи приехал в захолустный, богом забытый Надь-Карой, чтобы собраться с мыслями, отдышаться от бега, успокоиться перед новым прыжком. Он потерпел поражение, истерзан облавой, забрызган грязью. Но даже смертельную рану небо дарует во благо поэту, как дарует оно бессмертие герою в цепях. Не отличить уже лавра от жалящего шипа, муки от благодати.

Всю ночь поэт жег свечи, читая мемуары Ракоци. Разумеется, по-французски, ибо книга борца за свободу

---

<sup>1</sup> Венгерские повстанцы.

венгров, скончавшегося добрых сто лет назад, в Венгрии запрещена. Петефи не заметил, как маленькая комната, снятая им в гостинице «Олень», наполнилась тенями, как раздвинулись тесные стены и горячий пороховой ветер ударил в лицо. Пахло мятой, железом и кожей седла. Скрипели колеса, сотрясалась равнина, горячие ядра рвали тяжелую ткань знамен. Как понимал он преданного, обложенного недоброй силой вождя! Как страдал его запоздалым прозрением!

Очнулся от топота ног и криков внизу. За окошком лучился горячий осенний денек. Грохотали телеги с зерном. В цирюльне напротив точили ножницы о наждачный брусок. Давно настало время чего-нибудь перекусить. Петефи плеснул воды в фаянсовый тазик из склеенного облупленного кувшина, наскоро ополоснул лицо и спустился в обеденную залу, затянув по пути шнуровку суконной венгерки.

В ресторане гуляли местные дворяне-выборщики, покинувшие свои вотчины в самый разгар страды, чтоб отдать голоса за нового голову Сатмарского комитата. На столах дымились тарелки с паприкашем, что готовят на праздники урожая, слуги едва успевали наполнять кувшины забористым, дерзким вином. Настроены господа были весьма воицственно. Хохотали во все горло, со вкусом чертыхались, размахивая кто кружками, а кто и дубинками с оловянными набалдашниками. Грозили всяческими карами неведомым врагам.

Не понравилась галдящая компания поэту, растревожила в нем болезненные струны. Внутренне напряженный, зажатый, едва смирив нетерпеливую дрожь, он занял столик на видном месте и поманил официанта. Не разбирая, что перед ним, поковырял вилкой. Готовый к немедленному отпору, вызывающе оглядел разгоряченных вином соседей.



Но никто из них внимания на него так и не обратил. По-прежнему так же буйно хлестали вино, провозглашая тосты за какого-то графа.

— Молодец, граф, не поскупился! Четыре бочки выставил и столько же обещал поставить на выборах завтра. Да за такого фёйшпана<sup>1</sup> и жизнь не жалко отдать. Прощу налить, господа! За здоровье его сиятельства! Эльс!

— Кто же он, этот замечательный граф, за которого вы так дружно пьете? — не выдержал Петефи и колюче блеснул нехорошей, драчливой улыбкой.

— Как, вы не знаете нашего графа? — удивился сидевший поблизости кутила и закатился пьяным смешком. — Пос-слушайте, господа, он не знает нашего графа...

— Да, — повысив голос, отчеканил поэт. — Я как-то не имел чести слышать о вашем графе. Как его зовут? — Он привстал и непроизвольно сжал кулаки. Это было выше его. Он летел, подхваченный удалым ветром, клочка ожиданием схватки, и злая улыбка застыла на неподвижном, как гипс, лице. — Кто он такой, чтобы кричать о нем на каждом углу?!

— Граф Лайош Каройи, к вашему сведению, — с апломбом назвал покровителя верный вассал и, словно лично себя представив, заносчиво вздернул плечо.

— Как-как? — Петефи даже присел от неожиданности. — Уж не потомок ли того Каройи, который продал куруцев? — Хлопнув себя по коленам, он издевательски захохотал. — Да-да, благородные господа, вы восхищаетесь человеком, чей дед, а может прадед, подписал гнусный Сатмарский мир! Нечего сказать: есть чем гордиться!

На мгновение сделалось тихо. Подвыпившие выборщики соображали туговато и не сразу осознали смысл оскорбительных слов. Но еще прежде, чем высокородное

---

<sup>1</sup> Губернатор (венг.).

собрание смогло опомниться, Петефи поспешил внести полную ясность.

— Примите мои поздравления! Вашим губернатором будет последыш предателя и вора.— Он отшвырнул ногой тяжелый стул и выскочил на самую середину.— Разве в уплату за измену Шандор Каройи не получил от короны имения Ракоци? И после этого вы еще гордитесь тем, что его внучек не побрезговал подать вам руку? О боги! Кого я вижу вокруг: людей или собак? Если собака, то почему они не встанут на четвереньки?

По зале, увешанной трофеями охотничьих забав, прокатился протяжный стон, сразу же потонувший в единомышленном яростном реве. В Петефи полетели тарелки, бутылки, кружки. Сатмарские дворяне готовы были разорвать оскорбителя в клочья. Потрясая дубинками и вырванными из ножен шпагами, они сомкнули вокруг него карающее кольцо.

— Прочь, подлый сброд! — Поэт вскочил на бильiardный стол, отражая удары свинцовой рукояткой кия.— Я размозжу голову первому, кто сделает хоть шаг!

Он упоенно летел сквозь дымные клубы давно отшумевшей битвы. Ощущал себя последним куруцем, защищающим простреленное знамя свободы, и едва ли осознавал нависшую над головой действительную опасность.

Чья-то шпага уже взлетела, готовясь перерубить выпачканное мелом орудие бильiardных баталий, и угрожающе свистнули ядрами набалдашников сокрушительные дубинки, но остался замах без удара. Непонятная сила остановила разгневанную толпу, таинственные флюиды перевоплощения отвели и расслабили занесенные руки. Ослепленная яростью масса повинуетя звериным законам. Она не рассуждает, ей неведома жалость, поведом внезапный страх, инстинктивная опаска, размагничивающая решимость, смиряющая прыжок.

— Да как он смеет?! — слышались запоздалые

крики.— Кто он такой? — прозвучали отдельные возгласы.

Но к возмущению уже явственно примешивался испуг, и длилось опасное выжидание, когда еще неясно, как поведут себя люди: отступят ли с угрожающим рыком или все же сомкнутся для дикой расправы.

И только поэта не опустили на землю вдохновенные вихри. Одиноким в гордом своем возвышении, с порванным отложным воротом и оцарапанной щекой, он не утратил той охранительной благодати, которой непоколебимая вера метит пророков и укротителей. Она-то и спасла его от пьяного самосуда.

— Я Петефи! — бросил он им, дрожа от возбуждения, гордясь собой и именем своим гордясь.

На краю гибели, один против всех, последний паладин растоптанной свободы.

Вернула ли земля ему силу? Сомкнулись ли у него за спиной шеренги куруцев? Ни тени былого, ни отсветы грядущего не промелькнули на смуглом лице. Но было слово, как заклятие прошлым и будущим. Подсознательные страхи сатмарских выпивох кристаллизировались на имени, которое и впрямь стало знаком, и еще ощутимей предстала учуянная угроза.

Кольцо распалось. Бормоча проклятия, выборщики отступили и, пряча глаза, стали расходиться.

— погоди, ты нам еще попадешься! — выкрикали они, перед тем как исчезнуть в дверях.

— Прочь! Убирайтесь на псарню! — издевательским смехом отвечал на угрозы поэт.— У-лю-лю, презренные трусы!

На другой день сбежались встревоженные друзья, уже паслышанные о скандальном происшествии.

— Ты совсем как ребенок,— упрекнул Эндре Пап, которому поэт действительно годился в сыновья.— Разве можно было так неразумно рисковать?

— В самом деле, Шандор,— поддакнул Игнац Ришко.— Это могло плохо кончиться. Тебе нужно немедленно съехать отсюда.

— Это еще почему? — Над переносицей Петефи обозначились упрямые складки.— И не подумаю!

— Не безумствуй,— предостерег Пап.— «Олень» — оплот здешних консерваторов, и ты тут, как в мышеловке.

— Не посмеют. Я видел этих храбрецов!

— Ты плохо знаешь здешние порядки,— безуспешно пытался убедить Пап.— В Сатмаре всегда голосовали дубинками. Бывало, что и кандидатам в губернаторы доставалось.

— Я не выставлял своей кандидатуры,— презрительно усмехнулся поэт.

— Зато ты крепко им насолил,— против воли улыбнулся Ришко.— Умоляю тебя как друга, поживи у меня.

— Ни в коем случае.— Петефи гордо расправил плечи.— Эти псы, пресмыкающиеся перед изменником, грозились убить меня... Что ж, посмотрим! До завтрашнего дня я не сдвинусь с места.

Он и в самом деле вел себя как мальчишка, и переупрямить его было немыслимо. Отказался даже подпиться к себе в номер. Так и остался в зале до самого ужина, непроизвольно сжимая кулаки, бросая вызывающие взгляды. Переживая вчерашнее, поджидал нетерпеливо врагов. Но они не возвращались. До самого вечера, когда остыл, подернувшись сальной пленкой, нетронутый гуляц, никто из вчерашних выборщиков так и не заглянул в «Олень».

— Я же говорил вам, что это подлые трусы! — Петефи торжествующе кивнул на пустые столы.— Что ж, видно придется мне самому к ним сходить!

В ратуше, где проходила торжественная регистрация

нового фёишпана, появление вчерашнего скандалиста вызвало некоторое замешательство.

Поперхнулся оратор на трибуне, превозносивший личные и общественные достоинства сиятельного властелина Эрдёдского замка, прошелестели над рядами кресел возмущенные голоса.

Пап и Ришко только понимающе переглянулись в ожидании дальнейших событий.

Однако ничего из ряда вон выходящего не произошло. Оратора сменил другой, столь же красноречивый, а выборщики перестали перешептываться и коситься на колонну, у которой, скрестив руки, стоял поэт. Вскоре и сам Петефи понял, по-видимому, что порыв отгорел и более не повторится. Его присутствие здесь было бессмысленно, если не вовсе смешно.

— Пойдем,— кивнул он Ришко и добавил вполголоса, чтобы хоть как-то выйти из неловкого положения: — Никогда не слыхал столько чуши.

Петефи ощущал разочарование и острую, почти до слез, неловкость. Стыдно было смотреть друзьям в лицо. Он возвратился в «Олень» с угрюмо сдвинутыми бровями.

Все столы по случаю праздника святой Марии были заняты, и друзья решили подняться в номер.

— Скажу, чтоб нам принесли вина,— задержался Ришко, не доходя до лестницы.— Ба! Да здесь Телеки! — обрадовался он, увидев знакомого, одиноко сидевшего в укромном уголке возле декорированного острыми рожками сери овального зеркала.— Пошли к нему!

— Кто это? — хмуро спросил Петефи.

— Граф Шандор Телеки, разве ты с ним не знаком?

— Не желаю иметь ничего общего с графьями,— персдернулся гримасой Шандор.— Хватит с меня.

— погоди,— удержал его Ришко,— этот граф не такой. Сейчас я тебя познакомлю,— и почти насильно потянул за собой упиравшегося поэта.

Последовал церемонный, несколько утрированный обмен поклонами, после чего раздосадованный поэт, как бык на красную тряпку, устремился в атаку.

— Между прочим, вы первый живой граф, с которым мне посчастливилось перекинуться словечком,— заметил он с равнодушной миной.— Честное слово...

— Раньше, выходит, дохлые попадались? — мгновенно парировал Телеки.— Садись! — Он обезоруживающе улыбнулся, переходя на дружеское «ты», и подвинул стул.— Черешневой палинки! — крикнул официанту.

— Попадались? — не сразу нашелся Петефи.— Это уж как поглядеть. Видишь ли, эрлаухт,— он язвительно ухмыльнулся,— я ведь бродячий комедиант, а потому сам не раз бывал в шкуре дохлого графа. Как тебе это понравится?

— В таком случае, мне следует у тебя поучиться. Ведь то, что ты пережил, мне еще только предстоит,— сказал он без тени улыбки.— Надеюсь, что не очень скоро,— закончил под дружный хохот.

— Молодец, граф,— одобрил поэт.— Откуда только ты такой взялся?

— О, ты еще не знаешь Телеки! — Ришко разлил по рюмочкам душистую водку.— В Париже он возил Штанчича к Ледрю-Роллену, в Тироле навещал Антала Регули, сопровождал в концертах по России гениального Листа... Откуда сейчас, милый граф?

— А, пустое,— отмахнулся Телеки и, переводя разговор на прежнее, похлопал Петефи по плечу.— Значит, живым графом быть тебе не доводилось?

— Увы,— состроил жалобную мину поэт.— Едва я успевал произнести скудную реплику, как тут же падал, заливая подмостки красным сиропом. Не знаю, быть может, теперь, после нашего знакомства, я наберусь побольше ума и сумею продержаться подольше. Недаром говорят, что лучший учитель артиста — жизнь.

— Так-то оно так, дружище.— Телеки с немислимой ловкостью опрокинул рюмку и заел миндалем.— Только боюсь, что знакомство со мной не слишком обогатит твой жизненный опыт. Аристократ из меня, прямо скажу, никудышный. Недаром меня Диким графом прозвали.

— Что ж, с Диким графом я готов подружиться,— кивнул Петефи, постепенно проникаясь симпатией к столь оригинальному собеседнику.— У тебя, наверно, и поместья нет? — спросил все-таки с вызовом.

— Есть,— спокойно ответил Телеки.— Поблизости отсюда, наследственный майорат. Буду счастлив, если согласишься погостить под моим кровом. Знакомство с тобой — честь для меня. Да поможет мне бог завоевать твое доверие и дружбу.

## 24

— Меттерних окончательно спятил.— Небрежным движением кисти Кошут перебросил через рабочий стол газету с последними сообщениями.— Полюбуйтесь, господа, что происходит в Галиции... Поджоги имений, крестьянские самосуды, отвратительные зверства, в коих виновны обе стороны.

Сидевшие напротив братья Мадарасы и граф Баттяни молча склонились над листами, на которых еще не сохла пахучая типографская краска.

Никто из гостей редактора «Пешти хирлап» прямого отношения к редакционной кухне не имел. Однако как-то само собой получилось, что кабинет Кошута сделался в последнее время центром, вокруг которого кристаллизовалась еще зыбкая, не имеющая четко очерченных границ либеральная оппозиция. Не удивительно поэтому, что и Мадарасы, и Баттяни, весьма далеко отстоявшие друг от друга в своих политических чаяниях, поспешили



завернуть к Кошуту, как только распространилась весть о галицийском восстании.

— Ты действительно уверен, что канцлер приложил тут руку? — спросил Баттяни, промокая платком широкую лысину.

— Кто же еще? — пожал плечами Кошут, машинально поправляя красиво повязанный шейный платок. — Излюбленный стиль, характерный почерк. Польское дворянство было настроено крайне антиавстрийски, и Вена день за днем теряла рычаги власти. Поэтому старый Клеменс решил прибегнуть к излюбленному трюку, натравить силу на силу.

— Но одна из этих сил крестьянство! — негодующе воскликнул Баттяни. Его мясистое волевое лицо покраснело от гнева.

— Кошут прав, — спокойно кивнул Йожеф Мадарас. — Меттерних уже не ведает, что творит. Надеюсь погасить пожар встречным огнем, он рискует спалить всю округу.

— Восстание свободно может перекинуться к нам, — поддержал брата Ласло Мадарас, — и уж, конечно, в русскую Польшу, что вообще чревато войной.

— И все же с трудом верится, что опытный государственный деятель способен на такое безрассудство, — упрямо мотнул головой Баттяни. — Нужны доказательства.

— За ними дело не станет. — Кошут подавил улыбку, заметив крошки бисквита, запутавшиеся в кудрявой черной бороде упрямого графа. — Наверняка все было разыграно по старым нотам: переодетые жандармы, шпики, иезуитские провокаторы. Им нетрудно было распалить крестьян, доведенных до крайней степени отчаяния, против спесивых магнатов. Вы же знаете, что польское шляхетство иначе как быдлом парод и не называет. Можно не сомневаться, что Меттерних не замедлит поднажать

со своей стороны и возьмет пенокорных панов в кольцо.

— Если только восстание не распространится дальше. Он совершенно прав,— Баттяпи кивнул на Ласло Мадараса.— За украинцами могут подняться словаки, да и за братьев мадьяров я не поручусь. Что тогда? Меттерних, конечно, сгорит, но какой ценой? Вместе с нами?

Кошут отметил про себя, что богатейший помещик и промышленник граф Баттяпи хоть в чем-то публично согласился с максималистами Мадарасами. Видимо, и вправду пришла пора консолидировать силы, прибрать осторожно к рукам отдельные группы, уравновесить противоположные веяния, примирить лагеря. Что ж, посмотрим...

— Не хочется? — спросил с усмешкой, вперяясь взглядом в крошки па бороде.— Не желаешь гореть в одном костре с Меттернихом?

— Пусть с ним черти горят,— в сердцах махнул рукой граф.— И венская камарилья.

— Но для этого нужно что-то делать! — воскликнул Йозеф Мадарас.

— Что именно? — повернулся к нему Баттяпи.— Баррикады? Или, может быть, заговор? Не хочешь ли ты застрелить старого идиота? Именно теперь нам не следует торопиться. Неспособность Меттерниха вскоре станет очевидной, и тогда ему конец. Русский царь тоже, надеюсь, внесет свою лепту. Он не потерпит волнений в Польше.

— По-прежнему надеешься, что кто-то сделает твою работу за тебя,— осуждающе покачал головой Йозеф.— Напрасные надежды. По виду таких, как ты, мы только теряем драгоценное время...

— Вы оба совершенно правы! — торжествующе заявил Кошут.— Я целиком согласен с тобой, Йозеф, и стою за консолидацию всех прогрессивных сил. Но и Лайон тоже очень верно заметил,— последовал дружеский ки-

бок в сторону Баттяни,— что кресло под канцлером закачалось. Поэтому не нужно спешить. Пусть сам свалится.

— Ты защищаешь Меттерниха? — удивленно раскрыл глаза Ласло Мадарас.— Bravo! Заключение в крепости явно пошло тебе на пользу.

— Да, пока меня держали в одиночке, я успел полюбить этого выдающегося человека,— с полной серьезностью ответил Кошут.— Меня также глубоко трогает, что каждый номер газеты специально для него переводился на немецкий. Более того, узнав, что издатель Лайош Лапдерер доносил лично канцлеру о каждом моем шаге, я понял, что любовь оказалась взаимной.

— В чем же дело тогда? — Сложив из бумаги лодочку, Ласло щелчком направил ее Кошуту через весь заваленный гранками стол.— Объяснись!

— Я стою за то, чтобы сосредоточить силы на главном. Все мы давно согласны с тем, что крестьянский вопрос необходимо наконец разрешить. Если мы этого не сделаем, то пропадем, помяните мое слово. А Меттерних подождет, реформа окончательно сведет его в могилу.

— Интересное умозаключение,— скептически поморщился Йозеф Мадарас.— Я бы даже готов был припять его в качестве тактического хода, если бы...

— Что именно? — быстро спросил Кошут.

— Если бы только один Клеменс стоял у нас на пути!

— Теперь ты попал в точку,— удовлетворенно отметил Кошут.— Да, нам противостоит не только старый канцлер, но и вся прогнившая камарилья. С той лишь разницей, что пышнее положение существенно отличается от того, каким оно было десять или даже пять лет назад. Меттерних с каждым днем теряет влияние. Уже граф Аппони и тот повсюду заявляет, что стоит за реформы. Нам сулят средства на строительство дорог, обещают долгожданную таможенную реформу.

— Какая благодать! — саркастически умилился Лас-

ло.— Не понимаю лишь, почему ты до сих пор воюешь с Сечени. Да он расцелует тебя, услышав такие речи!

— До чего горяч! — снисходительно улыбнулся Кошут.— Словно молодой петушок из «Пильвакса».— И разъяснил терпеливо:— Разве я сказал, что принимаю всерьез заявления всяких аппони? Или верю посулам правительства? Но не замечать того, что тон в Вене изменился, мы не можем. Что же касается Сечени, то своим согласием войти в Наместнический совет он совершенно себя дискредитировал. С человеком, который поддерживает камарилью, у нас нет точек соприкосновения.

— Рад, что ты по-прежнему так считаешь,— кивнул Ласло.

— Эх, Сечени,— вздохнул Баттяни и, глянув случайно вниз, стряхнул крошки.— Как он изменился! Ведь он еще двадцать лет назад выступил за освобождение крестьянства. Все мы воспитывались на его книгах... «Кредит», «Мир», «Стадиум» — это же вехи! Этого у него не отнимешь. Я наизусть помню превосходные слова о труде и богатстве.— Он замолк на короткий миг и тут же просиял, вспомнив: — «Труд — краеугольный камень богатства, однако крепостной труд малопроизводителен, ибо крестьянин не заинтересован в работе на земле помещика...» Сейчас это тривиальная истина, господа, общее место, а тогда, ого! Набат, откровение, ниспровержение сспов...

— Не надо преувеличивать, граф,— поморщился Кошут.— И вообще при чем тут Сечени? С ним, по-моему, все ясно.

— Пожалуй,— неохотно признал Баттяни.— Он, конечно, патриот и много сделал для нации, но слишком заискивает перед Габсбургами, нам с ним не по пути.

Мадарасы согласно кивнули.

— Наконец-то! — Кошут довольно потер руки.— По крайней мере, по одному пункту мы достигли полного

взаимопонимания.— Он задумался, затем, словно осепевший внезапно родившейся мыслью, воскликнул: — Раз уж начали, то давайте продолжим! Попробуем отыскать и другие точки соприкосновения, приемлемые для нас и наших единомышленников?

— Говори, Лайош,— одобрительно кивнул Йожеф Мадарас.— Только достигнув единомыслия, можно надеяться на практические шаги.— Он обернулся к брату за поддержкой.— Всем нам, в конце концов, не обойтись друг без друга.

— Золотые слова! — озарился Кошут.— Все, кому дорога родина, должны стать единым целым, и тогда многое разрешится само собой. Забудем пока о расхождениях и попробуем достигнуть согласия хоть в чем-то.— Он стремительно поднялся, вышел из-за стола и, приоткрыв дверь, окликнул жену.— Тереза, душечка, меня ли для кого нет дома... Слышишь?

— Чего стоит согласие по пустякам, когда нет единства в главном? — скептически пожал плечами Ласло, когда Кошут вернулся на свое место.— Нельзя игнорировать тот, на мой взгляд, наипервейший факт, что мы по-разному представляем себе будущее. Я говорю о форме правления. Я, например, за республику, а ты, Кошут? Ты, граф Баттяни?

— Даже заикаться сейчас о республике самоубийственно! — решительно отказался Баттяни.— И притом наивно. Мы не дозрели пока. *Regnum independens*<sup>1</sup> — это тот оптимум, который следует отстаивать. Тогда можно надеяться и на собственную таможню, и на самостоятельную денежную систему. Искусственные препятствия на вывоз продукции сельского хозяйства и всяческие помехи, мешающие промышленному росту, сразу же отпадут, как только между нами и короной исчезнет пенуж-

---

<sup>1</sup> Независимое королевство (лат.).

ный посредник, засевший в Буде. Венгрии нужен не помещик, а конституционный король.

— Ну вот,— обреченно махнул рукой Ласло.— О какой общей платформе можно тогда говорить? Свобода торговать и свобода жить — совсем разные понятия. Мне действительно куда более симпатичны молодые республиканцы из «Пильвакса», чем аристократические приверженцы Габсбургов.

— Плевал я на Габсбургов и терпеть не могу немцев,— отмахнулся Баттяни.— Но у королей нет национальности. Какого послал господь, тот и хорош.

— Будем реалистами, друзья. Всякий цивилизованный человек предпочтет республику монархии. Но ты, граф, справедливо отметил, что наша Венгрия еще не созрела до столь высокой стадии национального самосознания. Для большинства народа даже сама идея республики покажется опасной и дикой.

— Не спеши говорить от имени народа,— запротестовал Ласло Мадарас.— Он не снабдил тебя полномочиями.

— Ты что? — отчужденно покосился на него Кошут.— За немедленную революцию? За ужасы крестьянского восстания? — Он скомкал и с отвращением отшвырнул гранки.— Пусть хоть Галиция послужит для тебя предостережением! На нас лежит ответственность за судьбу нации, друзья, и давайте останемся на высоте задачи... И притом, Ласло, разве конституционная независимая монархия хуже нынешнего, столь унижительного для нас состояния? Разве она не шаг вперед по пути прогресса? По пути, если угодно, к республиканскому правлению?

— Что ж, в такой оговорке есть резон,— признал Йожеф.

— Допустим,— вынужденно признал и Ласло Мадарас.

— Вот и отлично! Итак, на ближайшее будущее у нас здесь разногласий нет,— торжественно констатировал Ко-

шут.— Все мы готовы бороться за преобразование страны на новых конституционных началах в духе демократии, свободы, равенства и братства. Так?

Баттяни скривился, как от зубной боли, но ничего не сказал.

Братья Мадарасы ответили неопределенной улыбкой.

— Превосходно,— подвел итог Кошут.— Основа для консолидации оппозиционных сил есть.

— Ты имеешь в виду выборы? — спросил Баттяни.

— Не только. Пора всерьез подумать о сообществе единомышленников. Нам нужна не только общая предвыборная программа, но и нечто более важное...

— Это хорошо, хоть и пахнет заговором,— перебил Кошута импульсивный Баттяни.— Но давайте-ка возвратимся к крестьянам. Корень вопроса в них.

— Ни о каком заговоре не может быть речи,— отчеканил Кошут.— Я имею в виду абсолютно легальную оппозицию со своим уставом, печатным вестником и все такое. В вопросе же о крестьянах все мы давно согласны: крестьяне должны быть освобождены, а помещности уничтожены.

— Освобождены! — взорвался Баттяни.— Конечно же освобождены, но как?! Ты хоть представляешь себе это?

— Я давно думал над этим вопросом. Освобождение конечно же должно сопровождаться выкупом земли.

— И кто ее выкупит? — Граф недоверчиво прищурил глаз.

— Сами крестьяне и, разумеется, правительство. В равных долях.

— Да чтобы выкупить всю землю у помещиков, нужно двести, а то и все триста миллионов флоринтов! — возмутился Ласло Мадарас.— Откуда у народа такие деньги?

— Он прав,— граф назидательно цыкнул.— Нет таких денег, а «за так» свою землю никто не отдаст.



— Помните, что писал Штапчич! — воскликнул Йожеф. — «Разве не заплатили они кровавого выкупа, — говорил он о крестьянах, — веками неся все повинности да еще отдавая сыновей для защиты родины от врага?» О каком выкупе может идти речь?

— Мало ли глупостей в книгах, — хмыкнул Кошут.

— Все это так, — сокрушенно вздохнул Баттяни, — только нельзя без выкупа, никак нельзя. Иначе это будет не реформа, а революция, беззаконный грабеж... Вот и получается, что мы год за годом толчем воду в ступе, с места не двигаемся, а положение не терпит. Галиция та же... И урожай выдался такой, что не приведи господь. Зимой голод начнется. Того и гляди, голодные бунты вспыхнут.

— Лишнее напоминание, что время не ждет, — наставительно заметил Кошут. — Хватит спорить, хватит бесконечно теоретизировать. Пора приниматься за дело. Если позволите, я берусь подработать примерный манифест оппозиции. Думаю, что трех-четырех месяцев мне хватит. Спорные вопросы постараюсь по возможности обойти. Теперь я лучше представляю себе масштабы наших разногласий. Отрадно, что в главном все мы едины, все выступаем против абсолютизма и экономической зависимости от Австрии, требуем ответственного перед парламентом правительства. Так?

— Так, — подтвердил Баттяни.

— Свобода печати, — подсказал Йожеф.

— Да, мы требуем также свободы печати, — кивнул Кошут.

— Всеобщее избирательное право, — поднял указательный палец Ласло Мадарас. — Без него не может быть ни равенства, ни свободы.

— Категорически отрицаю! — воспротивился Баттяни. — И Деак на такое никогда не пойдет. Всеобщее избирательное право — это та же революция, республика!

— Согласен,— словно отстраняясь от чего-то, выставил руки Кошут.— С этим пока подождем. Я за постепенность. Она крепче, надежнее. Чтобы освоиться с переменами, людям необходимо время.— Он облегченно перевел дух, уверенный, что согласие достигнуто и можно торжествовать победу. Она пришла нежданно, сама упала в руки, разом вознаградив за все сомнения, за кропотливую, исподволь проведенную работу. Слепой случай, который свел в его кабинете вождей самых крайних течений оппозиции, помог найти кратчайший путь к успеху. Основа будущего сообщества, словно из воздуха, возникла почти в готовом виде, как по волшебству. Впрочем, какое там волшебство! Какой еще случай! Если бы не существовал уже центр приложения разнородных влияний и не была затрачена колоссальная мыслительная работа, позволившая заранее привести к общему знаменателю разнонаправленные усилия, ничего бы достичь не удалось. Только устроив одновременный приход Мадарасов с Баттяни, слепо метнула свои кости судьба. Остальным распорядилась закономерность. Финал был бесповоротно предопределен.

Служанка бесшумно вкатила столик, на котором был сервирован легкий завтрак. Вкусно запахло крепчайшим, как любят в Венгрии, аравийским мокко.

Кошут привстал уже, чтобы произнести приветливые слова и шуткой положить конец недавним спорам. Но совершенно неожиданно для него поднялся Ласло и твердо сказал:

— Нет, на этой основе мы не договоримся.

— Слишком разные у нас цели,— встал, обняв брата, и Йожеф Мадарас.— Деак нам не пример, граф. Меньше всего мы с братом мечтаем удовлетворить господ либералов.

Колос уропит зерно, и обернется оно новым колосом. Жизнь, как звездочки зодиака, вычерчивает во времени замкнутый круг. От жатвы до нового урожая провисит на матице<sup>1</sup> затейливый венок, сплетенный из последних пшеничных колосьев, связуя концы и начала, замыкая бессчетно повторенным кольцом причины и следствия. Посев за посевом, поколение за поколением. Человек — не зерно, хоть и зерпа, возможно, полны друг пред другом неповторимых различий, человек — не звезда, хоть и звездам исчислены сроки. Метеорным сверкающим следом прочерчены наши судьбы. Мы летим из темноты и стораем во тьме.

Был вечер последнего в году праздника девы Марии. За тополями нездешним светом горела даль. И мазапки Надь-Кароя то заливала бутафорская синька, то гасила непроглядная тень.

В «Олене» готовились к танцевальному вечеру. Убирали стены золотом тугих венков, выковыривали из позеленевших шандалов расплывшиеся огарки. Скрипачи в малиновых безрукавках истово натирали смычки канифолью.

Петефи вместе с Ришко решили прогуляться по главной улице, едва очнувшейся от зноя. Предвечерняя яркость нежной лаской блеснула в глаза. Из сада напротив пахнула цветочная сладость. Мир был словно застигнут врасплох в потаенный момент перемены дневных декораций. Жара спала, прохлада не спизошла, и сквозь выпитый воздух с неестественной четкостью различалось все, что прежде казалось невидимым: палитые кровью жилки листьев, ползущих по шершавой стене, полосатые улитки, облепившие водосток, острые пики садовой ограды, истекающие огнем.

---

<sup>1</sup> Главная балка потолка.

Но прежде чем все эти незначительные штришки очертились в мозгу, Петефи увидел девичье лицо и белое платье в тени абрикоса. Платье смутно синело, сливаясь с изгибом скамьи, но оставалось освещенным лицо, и мельчайшие его движения различались издалика. Весь облик был мгновенно постигнут, угадан, волшебным обмиранием отозвался внутри, а взгляд, расчленив вновь и вновь на детали, не уставал выхватывать то корону волос и пробор посредине, то лоб, высокий и чистый, то упрямые скулы, то влажно темневший капризный рот. Азиатским забытым бредом повеяло от этих скул угловатых, от мечтательных карих очей.

— Кто это? — прошептал поэт, придерживая разбежавшегося Ришко. — Вон там, на скамейке в саду?

— Где? Ах, эта. — Ришко, знавший всех хорошеньких девушек в округе, картинно подбоченился. — Это Юлия, дочка эрдёдского управляющего.

— Какого управляющего? — переспросил Петефи, не отводя глаз от скамейки под абрикосом.

— Игнаца Сендрен, управляющего замком Эрдёд. Он, кстати, принадлежит тому самому графу Каройи, которого ты позавчера так лихо разделал.

— Будь проклят граф и его продажные предки! — пылко воскликнул поэт. — Но я благословляю замок, в котором живет такая девушка.

— Неужели она тебе нравится?

— Да она прекрасна! Разве ты не видишь?

— Ну-ну, — скептически промычал Ришко. — На мой взгляд, ничего особенного. Обычная провинциальная барышня. Избалованна, как всякая единственная дочка, взбалмошна, к тому же заметно косит. Приглядиись хорошенько.

Девушка, ощутив на себе чье-то пристальное внимание, подняла глаза, но различила лишь темные тени за оградой, сквозь которую струился тягучий медлительный

свет. Она и в самом деле немножко косила, но это уже ничего не могло изменить. Ее встревоженный ускользающий взгляд лишь окончательно пленил восторженного поэта. Отныне действительность перестала существовать для него. Все творило воображение. Порвав оковы привычного времени, в котором живут и чувствуют люди, оно с непостижимой быстротой охватило необъятные дали и расцветило вселенную праздничными гирляндами. Полилась полузабытая мелодия, как из музыкальной шкатулки. Сказочная страна фей приоткрыла оплетенные вьющимися розами воротца. Поманила призраком счастья неосознанная мечта.

— Я хочу знать о ней все! — Жестом слепого он нащупал и крепко сжал руку приятеля. — Слышишь, все...

— Ее папаша, весьма несимпатичный, между прочим, господин, кичащийся своими дворянскими предками...

— К дьяволу папашу! — закинув руки за голову, мечтательно выдохнул Петефи. — Меня интересует только дочь.

— Вот я и говорю, — упрямо тряхнул головой Ришко. — Папаша лишь совсем недавно забрал ее из пансиона фрау Танцер, вернее, Лиллы Лейтеи, где дочерей из благородных семейств обучают иностранным языкам и хорошим манерам. Не знаю, как насчет манер, но по-французски она двух слов связать не может. Только и хватает, чтобы надписать на конверте «Mademoiselle Marie de Tereu». — Он указал на окна, блистающие в глубине сада. — Это подруга, у которой она сейчас гостит. Они переписываются чуть ли не ежедневно.

— Подруга, отец... Какое мне до них дело? Я хочу, чтобы меня представили ей. Незамедлительно.

— Думаю, это нетрудно устроить. Хотя бы сегодня же, на балу. Готов держать пари, что мы увидим ее в танцзале «Оленя».

Девушка в саду захлопнула книгу, лежавшую на коленях, бросила последний взгляд на улицу и ушла в дом.

— Ты мне поможешь? — спросил Петефи, глядя ей вслед.

— Охотно, но имей в виду, что отец просватал ее за барона Урай... По крайней мере, так говорят.

— Что граф, что барон — все едино. Плевать!

— Тогда смелее вперед! На тебя работает твоя слава. Весь город гудит по поводу недавней баталии.

— Это может мне повредить? — нахмурился Петефи.

— Совсем напротив. Дамы от тебя без ума. Как же: один против всех! Поэтому будь решительным, дерзким. Юлия ведь тоже воспитана на французских романах и наверняка мечтает о таком герое, как ты. Больше всего ее восхищает храбрость.

— Превосходно! — Петефи рванулся к парадному входу, убранному по торжественному случаю снопами пшеницы. — Я побегу одеваться!..

Поворачивая зеркало над умывальником то вверх, то вниз, Петефи в который раз оглядел по частям свой туалет.

Черная шнурованная аттила с отложным широким воротником была еще ничего, но серые суконные брюки и, главное, стоптанные башмаки не слишком подходили для бала. Впрочем, ничего, сойдет. Поэт, прихотью судьбы завернувший в неведомое захолустье, может позволить себе небрежность в одежде. Откуда ему знать, что в гостинице, где придется остановиться, состоится роскошный бал? Тем более он не танцует, не ищет знакомств. Просто забредет от нечего делать на огонек, послушать музыку, полюбоваться на барышень, опрокинуть стаканчик в буфете.

Так оно и получилось, как было задумано. Он с рассеянным видом остановился в дверях, когда вечер был

в самом разгаре. Только что отгремел галоп, и кавалеры разводили взволнованно дышащих барышень по местам. Отыскав взглядом приятелей — они уже сидели рядом с Юлией и ее подругой Мари, — Шандор пересек танцевальную залу. Шел нарочито медленно, хоть и стучало нетерпеливо и обмирало от волнения сердце.

На него оглядывались, перешептывались с улыбкой. Но атмосфера не казалась враждебной. Скорее наоборот, ощущалась всеобщая заинтересованность. Если появление прославленного поэта и явилось для кого-нибудь неожиданностью, то неожиданность эта была приятной. Она льстила самолюбию и дразнила воображение. От него определенно чего-то ждали, быть может нового, щекочущего первы скандала, чтоб удивлять потом рассказами соседей в долгие зимние вечера.

Но поэт и не помышлял о драке. Мирно и даже робко был настроен в этот раз, и разноцветные огни, как кометы, кружились перед его глазами, пока он проталкивался сквозь оживленное, надушенное столпотворение. До других ему не было дела, но девушка, которой друзья поспешили назвать его имя, уже знала о нем и явно его ждала. Она была и взволнована, и смущена, ей льстили известность представленного кавалера, и всеобщая заинтересованность, и осязаемая аура влюбленности, вдруг коснувшаяся ее.

В первое мгновение, впрочем, Юлия Сендреи разочарованно померкла. Поэт оказался совсем не таким, как она себе его представляла. Он ничем не напоминал ни графа фон Рудольштадта, ни других героев Жорж Санд, изломанных, сильных, прекрасных. Мальчишеская худоба, непокорный ежик волос и торчащий зуб, то и дело обнажавшийся в застенчивой улыбке, никак не вязались с шумной славой бретера и храбреца. Конечно, она слышала о нем и раньше. Ей даже попадались какие-то его



стихи, скорее всего слишком сложные, потому что она не поняла их и мгновенно забыла. Но литературная шумиха, слабо докатывавшаяся до отдаленных углов, и стихи, пусть самые распрекрасные, и даже разочаровывающая внешность — вскоре все это отошло на невидимый план, растворилось в упоительном чувстве своего собственного лучезарного блеска.

Этот юный герой, о котором вот уже третий день шумит весь Падь-Карой, определенно сделал ее, Юлию, царицей бала. Его почтительная робость и молчаливое обожание — как иначе можно истолковать эти угрюмо-пламенные взгляды? — приковали к ней всеобщее внимание. Кавалеры наперебой приглашали ее на танец, дамы расспрашивали о ней осведомленных подруг.

Кто она, эта Цирцея, так и слышалось в шелесте шелка, укротившая отчаянного буяна? Как зовут эту очаровательную волшебницу?

Чуткий на чужие переживания, одаренный проснувшейся вдруг печеловеческой зоркостью, поэт сразу же уловил перемену настроений. Обогретый благодарным вниманием — Юлия не могла не чувствовать благодарности к человеку, вознесшему ее на недосягаемый пьедестал, — он оживился, оттаял, начал непринужденно болтать, сначала по-французски, затем по-венгерски, когда обнаружил, что она смеется невпопад и вообще не всегда понимает его.

Жаль, что он не умел танцевать. Когда кружась в объятиях полужнакомых кавалеров, она ловила его напряженный и ищущий взгляд, ей становилось как-то не по себе. Что ж это, думала она, за наваждение? Откуда? Почему? По какому праву? И не могла понять и ощущала приятную, расслабляющую истому. Не хотелось противиться, не хотелось рвать толчайшую пить, что лопнет от одного лишь усилия воли, столь неожиданно, столь непозволительно возникшую между ними.

Любовь всегда подобна чуду, потому что необъяснима. Понять и исчислить ее нельзя, как нельзя понять и исчислить веру. Но была ли чудом эта крохотная искра, воспламенившаяся под поение провинциальных смычков?

Приближение музы, ее властный, как гроза, палетевший порыв поэт или рожденный стать поэтом может принять за любовь. Его закружит, завертит, вознесет в небеса и швырнет с размаху на грешную землю, где лишь острые камни омоются кровью. Ах, нет, не одни только камни... Боль, кровь, даже ставшая грязью в песках, перельются в заветные строки. И кто знает, что время оставит себе: восторги, молитвы или спазмы, кровавую массу на месте крушения. Равно благословенны полет и провал. Равно мудры нектар опьянения и горечь ошибки. И сколь бы краток ни был блистательный взлет поэта, его с лихвой хватит на сотни простых человеческих жизней, а порой и на все человечество до скопчания лет. Мудрено ли, что семнадцатилетнюю девочку втянул пробудившийся смерч? Завертел ее с такой быстротой, что память отшибло, что не только мамежкины совсты забылись, но и само ощущение времени исчезло?

К концу вечера Юлии показалось, что она знает поэта давно, что они, прожив долгую жизнь, приблизились к опасному пику, а может, обрыву.

Неприкаянный, одинокий, гонимый поэт всем существом рвался навстречу любви и безоглядно бросился на первый же огонек. Ему на помощь пришла вся скука провинции, где жили сплетнями и мечтою от бала до бала. Вся романтическая эпоха с культом порыва и преувеличенными восторгами божественного безумия, громыхая слегка проржавевшей сталью и попахивая нафталином, по первому зову встала у него за спиной.

Гремела музыка, сотрясая полы, скакали разгоряченные пары, распорядитель с газовым бантом что-то выкрикивал и делал ручкой.

Петефи и сам не заметил, когда заговорил о любви. Очнулся, лишь услышав уклончивый ответ.

— Я слышала, что поэты так непостоянны. Они быстро воспламеняются и еще скорее остывают.— Она первой ономнилась от наваждения. Стреляя глазками, как учили подруги, играла голоском, помахивала веером.— Разве девушке можно доверяться поэту?

— А Петрарка? А божественный Данте? — Он едва понимал смысл ее кокетливых простеньких слов. От него ждали легкого флирта, а он зачем-то звучно декламировал итальянские терцины.— Нет ничего возвышеннее, чем любовь поэта,— сказал под конец.— Она движет солнца и светила.

— Но мне трудно поверить, чтобы кто-нибудь мог по-настоящему влюбиться всего за несколько часов,— настаивала она, томно вздыхая.

— Порой достаточно и мига,— твердил он свое, так и не вспомнив, когда успел объясниться.— Данте видел свою Беатриче один только миг и до гроба сохранил ей верность.

— Верность в мечтах!

— Может и так, но разве он не обессмертил свою возлюбленную навеки?

— Я так и знала...— Она капризно ударила его веером по руке.— Нет, я устала, прошу простить,— отказала склонившемуся в поклоне кавалеру.— ...так и знала, что вы заговорите об идеальной любви,— вновь обратила томный взгляд на Петефи.— В каждом поэте сидит ловелас. Вы мечетесь из крайности в крайность между идеальной любовью и обманом и губите нас, бедняжек, рискнувших поверить прекрасным словам. Возможно, идеальная любовь и способна возникнуть с первого взгляда, но любовь настоящая, тем более верность...

— Но вспомните хотя бы Шекспира! — Литература, как всегда, выручала его. Волнение было не властно ему.

тить память.— Сколько времени понадобилось Ромео, чтобы полюбить па всю жизнь?

— Н-не помню...

— Минута, одна-единственная минута! А знаете ли вы что-либо более прекрасное, чем любовь Ромео и Юлии? Я не знаю! Ее звали Юлией, четырнадцатилетнюю пылкую веронезку, как и вас, Юлия!

— Но вы не Ромео!

— Да, я не Ромео. Я Александр Петефи. Но любовь считаю величайшим даром и презираю тех, кто не ценит его или любит лишь частицей сердца.

## 26

Туман над Веной, туман. Из окоп имперской канцелярии едва различимы абрисы соседних дворцов. Кунола и колючие шпильки словно пожаром обрезало. Высоту, перспективу, краски — все пожрала белесая мгла.

На ближайшем плацу глухо зарокотали барабаны. Донеслись, просочившись сквозь холодную пелену и двойные стекла, аккорды церковного гимна *Te Deum*, — тебя, бога, хвалим, — и взвился невидимый флаг. Вопреки прежнему тьме, вопреки непогоде воспарил над городами и весями двуглавый с жалом змеиным орел.

Императорского штандарта с орленой каймой над Хофбургом, однако, в то утро не вывесили. Он тяжело поднялся над Пражским градом, где обосновался временно Фердинанд, объезжавший богемских магнатов. Так же, под бой барабанов и такты того же церковного гимна, заполоскало белое полотнище на узорном флагштоке. Но били куранты на ратуше и тряс колокольцем скелет.

Настал новый день, хоть и горела экономно на столе бессменного канцлера одинокая свеча. Рядом с ней пять

огарков черпели в шандале. Как обгоревшие версты бессонной ночи. Правы древние: рано или поздно тайное становится явным. К счастью для Меттерниха, слухи о подозрительных махинациях Кауница выплыли на свет слишком рано. Интрига еще не созрела, не опутала сетями взаимных договоренностей всех заинтересованных лиц, не привела в движение фигуры, загодя расставленные на доске.

У старого канцлера, начинавшего утро с просмотра донесений тайных агентов, щедро рассыпанных по всем углам Габсбургской империи, а также за ее пределами, достало гибкости сообразить, куда нацелен главный удар. На такие вещи нюх у него был звериный, виртуозное было чутье.

Сперва перемоют косточки Кауницу, выставят на всеобщее обозрение его замарашенные простыни, а затем и до него очередь дойдет, до бессменного, на кого беспринципная придворная сволочь готова навесить любые грехи.

— *Himmeldonnerwetter*, — проворчал старый канцлер и повторил на мадьярский лад богохульство, благо именно Венгрия держала его теперь под прицелом, да и женат был на венгерке и кое-что знал. Особенно эти магические слова. — Нет, деточки, не выйдет у вас.

Уловив стратегию враждебного замысла, Меттерних разобрался и в истинной подоплеке прежде загадочной для него поездки Фердинанда в Богемию.

Сентиментальный монарх с юности души в Праге не чаял, и это обстоятельство помогло усыпить первоначальные подозрения канцлера, когда совершенно неожиданно было объявлено о высочайшем визите. Известие о том, что императора будут сопровождать эрцгерцог Людвиг и Коловрат, неприятно царапнуло душу, но не более. Врагов и без того было слишком много, а от этих — испытанных, старых — изощренных козней канцлер не ждал. Тем паче что положение казалось устойчивым, прочным. Гни-

лостные ветры из Венгрии, Италии и Славонии еще не задули тогда по венским коридорам, и сидельники в салоне княгини Шварценберг крепко держали язык за зубами.

Теперь же понятно, кто придумал эту мифическую поездку по старым замкам Средней Чехии. Интриганам срочно понадобилось изолировать слабовольного императора от его, Мегтерниха, влияния; оплести паутинкой в отдаленном углу, отравить чувствительное сердце чудовищным оговором где-нибудь на кабаньей охоте, на полянке возле форелевого ручья, на иру в Конопиште или в роскошном дворце Рогана.

Не приходилось сомневаться, каким возвратится государь в Вену. Если к тому часу муть вокруг Кауница не рассеется, не миновать опалы.

Следует незамедлительно вмешаться. Порвать лишнюю паутину, развеять слухи, наказать клеветников. Действовать, непременно действовать! Нужен естественный повод, чтобы увидаться с государем. Чем скорее удастся найти такой предлог, тем лучше. Поездка рассчитана на пять недель, но для того, чтобы настроить государя против первого министра, вполне достаточно и одной. Значит, необходимо нагрянуть немедленно, как снег на голову, но только так, чтоб не дать пищу для новых клевет. Мерзавцы не должны даже догадываться, что он почувал угрозу, тем более испугался...

Голова ломается от напряжения, двоится пламя свечи, не видно строчек в докладе, все смещается и плывет. Неужели нельзя ничего придумать? И быстро, быстро! Чтобы невредимо выскочить из очередного капкана, как это бывало раньше, и незапятнанным выйти, и новый блеск обрести. Да быть такого не может, чтобы он, король дипломатии, ничего не придумал. Пусть дело конфузное, даже несовместимое с честью, но интрига всегда интрига, и есть, несомненно, хитроумный способ без урона раз-

веять коварные наветы. Только не мудрствовать лукаво. Рецепт управления низменными страстями прост. Испытанные методы, бесценные рекомендации Никколо Макиавелли.

Канцлер слепо напарил в бумагах лорнет, нависнув над заваленным столом, отыскал колокольчик. Победно затряс им над собственным ухом, впивая ободряющий звон.

На пороге незамедлительно возник молчаливый как рыба Лука Бромелиус, личный секретарь, заменивший прежнего — иезуита, которого канцлер застал однажды роющимся в столе.

— Что граф Фикельмон? — спросил Меттерних, повернув к вошедшему ухо, которым слышал лучше. — Где он сейчас?

Не прошло и часа, как Фикельмон в придворном мундире — стоячий воротник внушительно подпирал бакенбарды — явился пред ясные очи своего угнетателя и патрона.

— Что нового в свете, граф? — встретил его непривычным вопросом всесильный канцлер, испытующе приглядываясь через лорнет. — О чем нынче болтают?

— Как всегда, ни о чем, — с благожелательным безразличием отреагировал опытный дипломат. — Или вас интересует нечто определенное?

Неуловимая тень усмешки, тропувшей обманчиво детские глаза графа, и его едва дрогнувшие поздри подсказали Меттерниху ответ: «Знает».

И, несомненно, сочувствует, решил он минуту спустя, хоть и не участвует лично из-за врожденного чистоплющества.

— Меня, бесценный друг, как обычно, прежде всего заботит Россия, а уж после все остальное, — жизнерадостно произнес князь, указав на кресло. — Как, по вашему мнению, отнесется к галицийским событиям Николай



Павлович? Вы ведь по-прежнему любите его, граф? — Меттерних поощрительно улыбнулся, дав понять, что далек от упреков.

— Да, в моих глазах он по-прежнему последний рыцарь уходящей Европы, — поклонился Фикельмон. — Но мне трудно предугадать его реакцию на польские дела.

— И все-таки, как вам кажется?

— Методы, примененные в Галиции, едва ли помогут снискать нам симпатии в Петербурге. Я вычитал из газет, — Фикельмон дал понять, что не прощает выпущенной отставки, — будто от беспорядков сильнее всех пострадали родственники графа Ржевуского, генерал-адъютанта и друга царя?

— Сдержанность, которую обнаружил русский посол Фонтон на дружественных переговорах в Хофбурге, полагаете, вызвана именно этими обстоятельствами? — с желчной усмешкой спросил Меттерних.

На этой встрече Фикельмон не присутствовал и мог не понять, что его держат где-то в сторонке.

— Разумеется нет, хотя я и не склонен преуменьшать влияние личных нюансов на вопросы политики. К сожалению, я лишен возможности непосредственно наблюдать за развитием событий, — не преминул все же вновь уколоть Фикельмон. — Но, как мне кажется, посла насторожила не столько Галиция, сколько наши заигрывания с Портой. Коловрат в своем флирте с султаном зашел, по-моему, слишком далеко. Русский император, почитающий нас за верного союзника, болезненно реагирует на такие вещи.

— Нам следует ждать демарша? — не на шутку озабочился канцлер. — Вам что-то такое уже известно? — Запоздало опомнившись, что зашел, кажется, слишком далеко, Меттерних даже позабыл на минуту о том, что Фикельмон давно уже не имеет доступа к дипломатической почте.

Но, увлекшись построениями привычных фигур политической планиметрии, позволил забыться себе и бывший чрезвычайный посол.

— Прежде всего это должно быть известно нашему послу в Петербурге,— сунулся он с непрошеными советами.— Почему бы не запросить графа Туна, *mon prince*<sup>1</sup>?

— Благодарю, любезный граф.— Меттерних встал, давая понять, что более не нуждается в Фикельмоне. Высветившаяся спасительная возможность уже обрела для него конкретные очертания.

— «Чрезвычайному послу его апостольского величества в Санкт-Петербурге графу фон Туну,— в торопливом азарте начал он диктовать секретарю, едва за Фикельмоном сомкнулись белые в золотых завитках створки.— Прошу немедленно прозондировать возможность личного свидания с государем императором Николаем Первым. Крайне спешно...»

Лука Бромелиус ссыпал с листа песок обратно в песочницу и выбежал из кабинета, но сразу вернул, обнаружив в приемной важного посетителя.

— Фельдмаршал-лейтенант фон Кауниц,— почтительно доложил он.

— Кауниц, Кауниц, Кауниц! — пробормотал Меттерних, барабанив пальцами по столу.

«Пронюхал, докатилось или уже началось,— вихрем пронеслось в голове,— зачем пожаловал?»

— Как же нам быть с Кауницем? — спросил себя, задумчиво массируя пергаментные складки на перепосице.— А не принимать этого Кауница, вот и все!

— Сегодня? — уточнил на всякий случай Лука.

— Сегодня, завтра и через год: не принимать!.. Погоди, впрочем,— задержал Меттерних.— Пусть пока посидит, а я тем временем кое-что набросаю.— Он раскрыл

---

<sup>1</sup> Князь (*фр.*).

бювар с бланками, помеченными личными инициалами под княжеской двугорбой короной, чтобы написать секретные записки, о которых не следовало знать даже секретарю.— Как отбудут фельдъегери, так и объявишь этому Кауницу: не принимать.

После продолжительного размышления Меттерних решил дать ход по трем приостановленным судебным искам. Первый касался девушки, выбросившейся или выброшенной с балкона уединенного особняка в аристократическом Йозефштадте, второй — депутата венгерского сословного собрания, который был зверски избит пьяными уланами на судне, курсировавшем между Веной и Пресбургом, третий — всего лишь экспорта токайских вин, хотя сумма предполагаемого убытка составила без малого триста тысяч форинтов. Во всех трех случаях были замешаны близкие друзья Кауница, и всюду он действовал самостоятельно, поставив канцлера перед свершившимся фактом. Меттерних не знал, что у бедного Кауница и без того уже горела земля под ногами. Сперва для него, словно по молчаливому уговору, закрылись двери великосветских салонов княгини фон Шварценберг, графини Антони и очаровательной княгини Турн-унд-Таксис. Это было чудовищно, ошеломительно, непонятно. Не успел фельдмаршал-лейтенант опомниться от неожиданного афронта, как беда, на сей раз беда настоящая, нагрянула с другой стороны. Векселя, которые он беззаботно подписывал под любые проценты, скупленные втихомолку неизвестными лицами, совершенно внезапно были представлены ко взысканию. Общая сумма превышала сто тысяч гульденов. Отсрочить уплату не удалось и на день, а банк Ротшильдов, обычно весьма любезный, отказался дать ссуду даже под солидное обеспечение.

Вот так примерно обстояли дела у Кауница, когда он в полном отчаянии бросился искать спасения у неизменного покровителя и тайного компаньона, которому пере-

падала львиная доля незаконных барышей с экспортом импорта и фуражных поставок для армии. У кого еще он мог обрести надежду на помощь? Тем паче что неприятности далеко не ограничивались денежными затруднениями и обидными для самолюбия уколами в свете. Самым грозным, самым неумолимым признаком явилась для Кауница новая инструкция прямого начальства. По ней выходило, что отныне он вроде бы утрачивал непосредственное влияние на собственный департамент. Что это, если не заговор, не сознательная травля преданных патриотов, вернейших столпов отечества? Канцлер поймет с полуслова, поможет распутать отвратительный клубок, которым инородцы, шпионы, а то и безродные приверженцы всемирного коммунистического братства опеленали его, верного Кауница, со всех сторон.

Бросив на руки швейцара шинель, как на крыльях, взлетел он по беломраморной лестнице и едва не задохнулся от бешенства, когда какой-то безымянный чиновник неведомых кровей предложил обождать. Кому ждать?! Ему, Кауницу?! Что ж, он может и обождать, если того требуют высшие интересы.

Сидеть не доставало спокойствия. Он ходил, меря пустую гулкую залу шагами, нетерпеливо ломал пальцы. Его холодное, иссеченное дуэльными шрамами лицо передергивала недобрая улыбка.

Входили и выходили посетители, носились курьеры, а он ждал, прислушиваясь к простуженному бою напольных часов.

Ждал...

## 27

Какие дни настали, какие дивные дни! Самые дальние лесистые горы прозрачными волнами обозначились в безбрежности, переполненной светом.

Каждый тонко очерченный листик обрел невесомость перед скорым отлетом, и горел, и лоснился неповторимым, немыслимым совершенством.

Красен был на закате замок Телеки в Колто в окружении буковых рощ. Алебастровым глянцем леденили его безвоздушные лунные ночи. И били фонтаны под рыданья цыганских скрипок, и фейерверк осыпался над гребнями, над вогнутыми скатами чешуйчатых крыш.

Петефи бросало то в жар, то в холод. Вещая струна дрожала на самой высокой ноте, почти за гранью слуха, натянутая сверх предела. Юлия измучила его ненужным кокетством. Невдомек было, что она ученически следует некой надуманной линии, копирует чей-то расплывчатый образ, вычитанный из книг. Покорный, затравленный, но всегда настороже, всегда готовый к бунту, он угрюмо принаравливался к ее капризам, принимая за чистую монету поверхностную игру.

Он требовал окончательного ответа, она уклонялась с умудренной улыбкой, корила его мнимым непостоянством, доводила до яростной вспышки внезапной шалостью, ветреной детской жестокостью. В этой любви, родившейся из одной лишь любовной жажды, оба словно следовали заигранной, набившей оскомину пьеске. Но что с того? Избитые звуки жалили с первозданной остротой, испытанные пассажи с безотказной верностью дергали пужные нити.

Петефи не догадывался, что Юлия инстинктивно сопротивляется закружившему ее смерчу, что не дано ей выпести и этот накал, и эту трагическую, словно от смерти вблизи, целеустремленность. Она не могла опомниться, разобраться, откуда палетело такое, он совершенно измучил ее непонятной серьезностью — ведь любовь — это радость и легкость, — извел ежедневными вымогательствами решения. Она была внутренне не готова, не хотела форсированного финала, наконец, просто противилась из

упрямства. Но не отталкивала, удерживала на краю. Кто был палачом, а кто — жертвой? Разнообразны вариации вечной простенькой темы. Напрасно поэт говорил о Петрарке и Данте, ощущая причастность свою к их тяжкому бременю, к беспримерному дару природы. Маленькой женщине все это было просто не нужно. Она могла довольствоваться лишь блеском самородка, и поэт, сам того не сознавая, был тоже низведен до заурядной роли. Безотказное чутье актера, пусть статиста бродячих театров, предостерегало, тревожило, слух стилиста коробила узость реприз, а он все приписывал страданиям неразделенной любви. Мучился и добивался ответа, но маленькая фея не спешила впустить его в заколдованную страну.

Пока Юлия оставалась в Надь-Карое, Петефи не спускал стерегущих, тоскующих глаз с садовой решетки. Едва среди деревьев, бросающих длинные вечерние тени, показывалась белая фигура — порой он ошибался, принимая за Юлию Мари, — спешил к заветной калитке. И все опять начиналось сначала. «И мы вовек друг друга не найдем. К чему же медлить? Носит век во чреве грядущие божественные дни, — дни роковые жизни или смерти...»

Он не мог объяснить ей, что чувствует, и она не понимала его. Упорство знания наталкивалось на упрямство инстинкта.

Стихи — теперь он писал запоем — не приносили более облегчения. Роковое предвосхищение, прокатывающееся в них явственным эхом, начинало пугать творца. Он и сам не понимал, что грезилось впереди. «Я мчусь, подхватен бешеным потоком, и чувствую, что нет пути назад... О, как влечет он, до чего глубок он! Я утону! Звонарь, ударь в набат!»

Затем Юлию увезли в Эрдьёдский замок, и кончилась ежевечерняя сладкая мука. Теперь она вспоминалась почти как безоблачное счастье. Чреватая зловещей неопределенностью разлука казалась и вовсе непереноси-

мой. Петефи еле дождался ближайшей субботы. Попускаемый им ямщик чуть не загнал лошадей. Дни и недели проходили словно в угаре. Поэт не замечал, что ест, что пьет, не запоминал встреч, разговоров. Жил ради гонки в открытой пролетке по сатмарским прсселкам. Только когда над багряными кущами буков показывались круглые облупленные башни старого замка, он немного успокаивался, приходил в себя.

Каждой порой вливал, чуть не плача от счастья, ускользающий ласковый взгляд, и кружевные оборочки, и руку в перчатке, задумчиво брошенную на окаймленный перильцами борт лодки, и дорогое отражение, колеблемое в зеленой воде озера. И опять повторялось по нарастающей: прогулка в саду на замковых террасах, стихи в ее честь под неумолчный шум водяной мельницы, ревнивые расспросы, очередное объяснение, бурный разрыв и белый платок в окне старой башни, помнящей о легендарных рыцарских временах.

Он долго видел этот платок, удаляясь навсегда от Эрдеда по верхней дороге, огибающей холм. Словно вздох вечности был шум ветра, прошелестевшего в червленых кропах. Безутешной свежестью пахли дали, грозой и тревогой дышала повлажневшая к вечеру пыль.

Так провожали в крестовый поход, подумал он, без надежды на возвращение.

Медно блеснуло в последний раз озеро под шелковистой задумчивой ивой. Белая лодка с точеными балясинками на корме одиноко покачивалась в камышах. В последний раз, в последний раз. Все уходило, прощалось. «Вот под ивою плакучей встал на берегу я, и пайти соседки лучшей в мире не могу я. Ветви той плакучей ивы свесились в бессилье, как моей души поникшей сломанные крылья. Осень. Отлетает птица. Эх, вот так бы в небо из обители печали улететь и мне бы! Но огромен край печали...»



Он был предназначен для самозабвенной, всепоглощающей страсти, но ничего не понимал в занятой игре, которую вслед за англичанами мадьярские джентри прозвали флиртом.

Юлия сказала:

— Я никогда и никого не смогу полюбить. Видимо, природа обделила меня. Я навсегда отрекаюсь от чувства... Останемся просто друзьями.

И он поверил и, зажимая рану, из которой утекала жизнь, бежал.

Страха фей вновь просочилась сквозь окровавленные пальцы. На сей раз, кажется, навсегда. Он все оглядывался, оглядывался и не заметил, как из-за поворота вывернула бричка, запряженная парой гнедых.

— Э, друже, да ты, я вижу, совсем спятил, — услышал поэт знакомое приветствие. — Спал с лица, смотришь тучей... Никуда не годится. — Дикий граф Шандор Телеки подобрал вожжи. — Пересаживайся ко мне. И живо! Не могу допустить, чтоб зачахло солнце нашей поэзии.

Петефи покорно пересел и дал увезти себя в Колто. Его ждали каштановые аллеи, горный простор и веселые пирушки под зажигательный перепляс цыган. Поскольку замок Телеки был гнездом оппозиции, шумное застолье перемежалось ожесточенными спорами. Скучать было некогда. Быстротекущие дни целенали саднящую рану.

Умудренный жизнью, наблюдательный Телеки мгновенно поставил диагноз и незамедлительно приступил к лечению. Окружив поэта непамятливой заботой, старался как мог отвлечь его память. Захочет писать, пусть пишет себе на здоровье, лишь бы не задумывался, не уходил в себя, не оборачивался вспять, ибо бесплодно возвращение в мыслях. Оно съедает человека заживо, переполняет его черной отравой.

И пришло однажды утро в росе, и блеск его показался отрадным. Ощущалась бодрящая слитность с чуткой

лошадью под английским седлом. Белые цапли, готовясь в полет, кружили над скошенным лугом. Умопомрачительно пахло сено в стогах. И что-то обозначилось в синеве, где тихо светились изысканно желтые листья. Мудрое умиротворение почудилось вокруг. В запахе осенней, земли был привкус всепрощения и печали.

И пришла потом лунная ночь, когда погасли ракеты, выписывающие вензеля графских гостей, а Петефи застал в своей комнате премиленькую цыганку. Забравшись по дереву и вспрыгнув на подоконник, она ждала, затаив веселый испуг. Большие глаза и рот призывно темнели на худеньком личике, и луна в распахнутом окне заливала ртутью складки тесного платица, надетого прямо на голое тело.

— Как ты сюда попала, Апико, детка? — только я мог что спросить поэт, подхваченный приливом.

...Наутро завтрак был подан позже обычного, а обеденный стол накрыли в саду, под столетней шелковицей, дающей ягоды белые, как загустевший мед. Вино стояло в кувшинах, но пили его из дедовских кубков чеканного серебра. В дрезденских мисах для омовения рук плавали опаленные лепестки последней розы.

Настал черед графа провозгласить тост, и он грузно возвысился, роняя на амарантовый ментик винные капли. Постоял, сосредоточенно сдвинув густые упрямые брови, но так и не нашелся что сказать.

— Знаешь, друже, — он просительно обнял поэта, — я к речам не приучен... Скажи лучше ты. За меня скажи, за себя, за всех нас, прости нам, господи, прегрешения наши.

— Что ж, попытаюсь. — Петефи встал, взял свой нетронутый кубок и вдруг почувствовал неострый толчок и вслед за ним обмиранье. Руки сразу похолодели, стеснилось дыхание, и словно запруду прорвало могучее половодье. И он заговорил, чуть медленнее, чем обычно, под-

чиняясь метрике петоропливого разлива:— Бушует и гудит осенний ветер, звенит на ветках мертвая листва,— так на руках раба звенят оковы... О ветер, замолчи,— дай мне сказать!

Взлетели ликующие чаши. В честь вдохновенного пм-провизатора посыпались пышные здравицы. Лишь хозяин, храня молчание, катал хлебный шарик. Следил, как в полном безветрии опадает на белую скатерть благодатный тутовник.

— Ты записал, Шандор? — тихо спросил он, когда дворецкий пригласил в гостиную на кофе.

— Как? — самолюбиво обиделся поэт.— Ты разве ничего не понял?

— Я понял все. Присядь и запиши.

— Только этого мне не хватало,— отмахнулся Петефи небрежно.— Да и зачем?

— Ради нашей бедной родины,— ласково попросил дикий граф.— Ради тех, кто тебя так преданно любит.

Пришлось подчиниться, хоть и хотелось горячего кофе, потому что на вино после вчерашнего было противно смотреть, а от красного перца горела глотка.

— Скажу, чтоб принесли тебе в комнату,— кивнул догадливый хозяин.— Пойди, поработай, раз это пришло.

— Спасибо,— благодарно шепнул поэт.— Я дарю тебе стихотворение.

— А я тебе — комнату,— шутливо подмигнул Телеки.— Отныне она только твоя. Пока стоит замок, никто в ней не будет жить. Так и наследникам накажу.

— Вряд ли я сумею прожить так долго.

— После тебя, после нас,— поправился граф,— там будут лежать твои книги. И еще я закажу портрет в полный рост. Я знаю хорошего живописца. Пока ты здесь, он парсует.

— Но я и умирать не собираюсь так скоро!

— Живи на здоровье сто лет. Не забывай только рас-

пахивать на ночь окно. Это очень помогает продлению жизни.

Пока он записывал и правил стихи, слуга принес кофе с крошечными меренгами и пересланную из «Оленя» почту.

Отец сообщал, что окончательно разорился. Уже назначен день суда, и все имущество, как видно, пойдет с молотка. Жалкая фантазмагория: какие-то коровьи шкуры, неоплаченный вексель на семьсот двадцать пять форинтов, позор, нищета. И жалко, жалко, жалко...

Надо добиться отсрочки, шевельнулась замороженно мысль, и, пока рука поспешно разрывала второй пакет, все сжималось в ожидании добавочного удара.

Мор Йокаи, однако, прислал отрадные вести. Адольф Франкенбург собрал у себя молодых и пригласил их к себе в «Элеткенек». Начать предполагалось с будущей весны. «У нас все-таки будет свой журнал,— восклицал Мор в заключительных строках.— Виктория!»

Не пиррова ли, подумал Петефи, откладывая письмо. Вспомнилось распавшееся содружество, всколыхнулся прогорклый осадок, стало оттаивать приглушенное сердце. Старики, их дорогие морщины выплыли из пелены. Запахом убогой корчмышибануло, где он хлебал в последний раз похлебку, сглатывая слезу. И так больно сделалось, так жалко стало себя и всех, что кофе обожгло желчью, и он выплеснул его в окно.

Прощай, гостеприимный Колто! Прощай...

Вместо того чтобы преследовать отлетевшую музу в заоблачных высях, Петефи, вслед за Дантом, спустился в адское жерло. В надьбаньской вполне захолустной угольной шахте, озаряемой трепетным язычком, едва просвечивающим сквозь медную сетку, обозначились ему тайные руны мадьярской судьбы. Еще гимназистом мечтал он хоть одним глазом заглянуть в заповедные недра. И не удивительно, что шахта, расположенная неподалеку

от Колто, совершенно заворожила поэта. Сосредоточенный, молчаливый, день за днем он спускался в забой и, блуждая по беспросветным галереям, тихо следовал за людьми, медленно и неотступно врубавшимися в земную твердь. Они напоминали истощенных, подкошенных неизлечимым недугом узников ада. «И вырежу я сердце потому, что лишь мученьями обязан я ему, и в землю посажу...»

— Сервус! — окликнул его однажды полуголый откатчик, лоснящийся потом и угольной пылью. — Помнишь дорогу за старой корчмой?

— Так это ты, Лаци, незадачливый бетяр? — Поэт не сразу узнал батрака, которому отдал когда-то последний хлеб. — Ты, помнится, спалил чье-то имение?

— К сожалению, только амбар.

— И снова поймешь потом и кровью сиятельных трутней! — Петефи высоко поднял лампочку Дэви.

«И с громом полюсы вселенной с их вековой оси сорвет, — сложилось потом, — и в битву ринутся стихии, ниспровергая небосвод, и по залитым кровью струнам, последний возвещая бой, я в исступлении ударю окровавленной рукой».

## 28

Дожди над двухшпильными башнями Праги. Над Карловым мостом, над Голгофой в венце золотых письмен: «Кодауш, кодауш, кодауш» — святой, святой, святой бог.

В опустевшем соборе святого Вита толкуются чудища на безмолвном параде. Снуют крысы на задних лапах, ощерив острые зубы, толпятся химерические фантомы: нетопырные перенопки, совиные очи, хвосты драконов и скатов, клювы колпиц и попугаев, чешуя броненосцев, змеиные языки.

На взмыленных лошадях подлетают к чугунным воротам Пражского града курьеры из Вены. Ну и шутку сыграл фельдмаршал-лейтенант! Взял да застрелился. В белом парадном мундире, при всех орденах и золотой шпаге подъехал ранним утром к чугунным воротам штаба генерал-квартирмейстера на Штаубенринге, пробрался в кабинет, который занимал генерал-инспектор фон Эстерхази, и выстрелил себе в сердце.

Тело с алым пятном и темной дыркой в левом боку так и осталось в кресле, лишь накренилось слегка. Казалось, что Кауниц, поджидая хозяина кабинета, задремал ненадолго, уронив на ковер пистолет, словно погасшую трубку.

Невольно возникал вопрос, почему именно здесь? Слухи насчет того, что Эстерхази с помощью Кауница крепко нагрел руки на поставках гнилого сена для армии, никак не объясняли случившегося. Даже тот ставший известным в обществе факт, что генерал-инспектор отказался ссудить бывшему компаньону несколько тысяч гульденов, не оправдывал столь скандальной мести. Иное дело кабинет Меттерниха. Если бы Кауниц застрелился за столом канцлера, то наверняка был бы правильной понят. По крайней мере, этого ждала от него антиметтерниховская фронда.

Человек общества, тем более военный, перешептывались офицеры, обступившие труп, не волеи поступать как ему заблагорассудится. Каждый шаг должен быть обдуман и выверен, особенно такой — последний...

Кауниц явно сфальшивил в конце, нервы, очевидно, не выдержали. На это, кстати, указывала предсмертная записка, состоявшая всего из трех слов: «Non omnis mori»<sup>1</sup>. Ни обращения, ни подписи, ни числа — совершенная чушь! Намек, который нельзя понять. Сама собой родилась версия, что письмо, подробно объяснявшее

---

<sup>1</sup> Не весь я умру (лат.).

причины самоубийства и называвшее виновников, толкнувших Кауница на эту крайность, все же было отправлено. Неизвестно только, когда именно и в чей адрес.

Секретарь еще недавно могущественного вельможи ничего определенного о последних часах жизни патрона сообщить не смог или не захотел. Он лишь упомянул о холодном приеме, почти афронте, оказанном Кауницу в манеже бывшими товарищами по полку, что крайне того расстроило, и об орденском знаке «Черного орла», присланном из Потсдама.

Этот знак, раздавленный, очевидно, каблуком и вмятый в драгоценный паркет кауницевской спальни, был обнаружен чиновником, посланным опечатать бумаги покойного. Прусский орел с колючими крыльями, однако, почти не повредился. Лишь треснула и частично выкрошилась эмаль. Но странный девиз «*Suum quique*» — «Каждому свое», звучащий теперь как надгробная эпитафия, читался ясно и четко.

Менее века пройдет, и тот же прусский девиз осепит ворота кошмарного ада, созданного людьми на земле...

Проведенное по приказу эрцгерцогини Софии тайное расследование позволило выяснить, что орден был прислан Кауницу неким Штибером, обер-шпионом короля Фридриха-Вильгельма Четвертого, прозванного за приверженность к горячительным напиткам Фрицем де Шампань. Поскольку было известно, что фельдмаршал-лейтенанта объединяли со Штибером общие интересы, как меркантильные, так и политические, оказалось возможным дать многозначительной награде вполне правдоподобное объяснение.

Прусскому двору, как и прочим партнерам, Кауниц был нужен только в качестве ближайшего конфиденанта старого канцлера. Утратив покровительство Меттерниха, он разом терял все. Это был приговор, последняя точка. Кауниц понял прозрачный намек и распорядился сооб-



разно с обстоятельствами. Только в самом конце напортачил. Не пужна была бестактная демонстрация на Штаубенринге и глупая записка с неясной угрозой. И уж вовсе смешало карты загадочное письмо, которое, если только оно существовало вообще, словно сгинуло в чьих-то архивах. Притаилось до срока, как готовый смертельно ужалить гад.

Но кого, где, когда?

Нет, письмом Кауниц определенно выкинул недозволенный трюк. Оно не давало покоя ни Меттерниху, ни его могущественным врагам. Тайная полиция и невидимые братья из Общества Иисуса с ног сбились, разыскивая проклятый пакет.

Весть о самоубийстве Кауница застала Меттерниха в Праге. Прodelав головокружительный путь — в его-то годы! — из Вены в Варшаву, из Варшавы — в столицу Богемии, столь любезную сентиментальному сердцу монарха, он таки добился своего и, несмотря на всевозможные козни, предстал перед кайзером. Фердинанд, которого уже почти было склонили к переменам в кабинете, встретил канцлера с затаенной неприязнью. Ссылаясь на погоду и нездоровье, попросил не утомлять подробным отчетом. Это как нельзя более устраивало Меттерниха, чьи измотанные в дороге кости тоже ломала непогода. Да и немудрено. За высокими окнами града всю хлестал дождь. Третью неделю мокли, зловеще нахохлившись, химеры собора святого Вита. Оскаленные пасти водостоков без устали источали белую пену. И хотя в камине жарко пылали дубовые коряги, гнилостные сквозняки так и гуляли по бесчисленным закоулкам дворца.

И было сумрачно, дико, хоть и горели свечи в кенкетках<sup>1</sup>, отражаясь в узорчатых зеркалах, оплетенных позолоченными лепными венками.

---

<sup>1</sup> Настенные подсвечники.

Меттерних понимал, что враги не теряли времени даром и порядочно преуспели в своих намерениях. Неизвестно еще, как ухитрились они обыграть скандальное самоубийство этого фрукта Кауница. Действовать поэтому надлежало решительно и быстро. Заранее разработанный план — испытанный и весьма немудреный — позволял надеяться если и не на победу, то, по крайней мере, на достойное статус-кво. Канцлер слишком хорошо знал своего переменчивого сюзерена, чтобы всерьез опасаться за собственную судьбу. Кайзера не представляло особой трудности как убедить, так и переубедить в чем бы то ни было. Он всегда подчинялся первым побуждениям, недалеким, сентиментальным, легко направляемым. Сжав губы в ниточку и выпятив подбородок, Меттерних приблизился к императору и отдал поклон весьма сухо и сдержанно. Не начиная разговора, угрюмо уставился на красную дорожку, ведущую к возвышению, где стояло пустое тронное кресло. Он совершенно точно знал, что Фердинанд не выдержит молчания, залебезит, потеряет лицо, а там, после хорошенького нажима, и вообще почувствует себя виноватым. Краем глаза он уже видел, как дрогнули и удивленно расслабились мускулы надменно вскинутого чела.

— Вы совсем не щадите себя, милый князь, — лицемерно попенял слабовольный монарх, пряча глаза. — А ведь вы пужны нам и обязаны заботиться о своем здоровье...

— У меня иные обязанности, — тоном педанта, выговаривающего несмышленому шалуну, отбрил канцлер. — Нам угрожали серьезные осложнения, но милостью божьей мне удалось предотвратить опасное развитие событий. Я имею в виду отношение с Россией, ваше величество, точнее, ревнивые подозрения императора Николая касательно нашей политики на Балканах. — Меттерних говорил категорично, но нарочито расплывчато, не только без

деталей, но даже вообще без каких-либо уточняющих подробностей. В тех же выражениях он свободно мог охарактеризовать обстановку и где-нибудь в Патагонии.

— Примите нашу признательность,— меланхолично отвечал кайзер и, припомнив, что готовился не благодарить, а, напротив, требовать объяснений, робко осведомился: — Говорят, вы испытываете некоторые затруднения в Венгрии?

«Говорят»,— мысленно передразнил Меттерних,— опять это безлично-трусливое «говорят»!»

— Не я лично, ваше величество,— ответил с достоинством,— но имперское правительство и Наместнический совет.— Он уловил намек Фердинанда, которому конечно же все уши успели прожужжать насчет каких-то там злоупотреблений, но не счел нужным опуститься до столь недостойного уровня.— Пока я жив,— как обычно, усиленно внушал главную мысль,— Австрия может быть спокойна за судьбу венгерской короны.

— Но мне рассказывали о совершенно наглых молодых людях,— упрямылся монарх, не находя внутренних сил объявить неугодному министру об опале,— поэтах, газетчиках, крикунах, призывающих к открытому мятежу...

«Рассказывали!» — усмехнулся внутренне Меттерних.

— И кто же, позвольте спросить, рассказывал? — вкрадчиво поинтересовался он.— Хотелось бы знать имя человека,— закончил сурово и жестко,— который осмеливается напрасно беспокоить ваше величество. Таким господам нечего делать на государственной службе... Позволю себе вновь повторить, что внимательно слежу за развитием событий и, когда понадобится, не замедлю принять надлежащие меры.

Фердинанд, чьей компетенции явно не доставало, чтобы мало-мальски углубить спор, поспешил оставить позицию и забежать с другой стороны.

— Вы хоть знаете, что пишут о вашем Каунице за границей? — мстительно уколол он старого канцлера. — И вообще, что за непонятная история с ним вышла?

— Непонятная? На мой взгляд, самая заурядная. Зарвался, запутался и предпочел уйти, не роняя чести. Мне жаль беднягу, хоть он и обманул мое доверие, — равнодушно пожал плечами Меттерних.

— Вот как? — Фердинанд все еще не решался от прозрачно завуалированных угроз перейти к откровенным обвинениям, но уже злился на людей, которые довели его до столь неравного и обременительного противоборства. — В свете ему приписывают невероятные по дерзости аферы, а коль скоро его имя неизбежно связывают с вашим, князь, мутные брызги ложатся и на ваши незапятнанные одежды. Это бесконечно печалит нас.

— Я прикажу произвести строжайшее расследование, — заверил канцлер. — Однако уже заранее смею утверждать, что молва, как обычно, усиленно преувеличивает. — И бросил вскользь: — О сознательных же попытках бесчестных интриганов хоть как-то скомпрометировать меня не считаю возможным даже упоминать.

— Да-да, — кивнул кайзер, словно узнал приятную новость. Исторгнув из сердца Меттерниха, он и к Коловрату, поставившему его в неудобное положение, проникся неприязненным раздражением и искал только повода, чтобы скомкать бесплодное объяснение, оставить все до поры без существенных перемен. Он чувствовал себя смертельно усталым, обиженным и разбитым. Его все обманывали, каждый стремился вить из него веревки.

Проницательный Меттерних, все еще чуткий на кратковременную, без дальних хитросплетений, интригу, поспешил прийти к обожжаемому монарху на помощь.

— Коммунистические заговорщики рады любому случаю ослабить единство населяющих империю народов. Отсюда и такое преувеличенное, я бы сказал, внимание к

венгерским делам. Политические агитаторы, вроде заросшего волосами мужлана Штанчича, переезжая из столицы в столицу, сознательно мутят воду и только руки потом потирают, когда узнают, что посеянные ими плевелы взошли. Прямо диву даешься, когда видишь, как некоторые вроде вполне здравомыслящие люди из общества повторяют, подобно ярмарочным попугаям, чужие слова.

Намек был брошен, и оставалось лишь терпеливо ждать, пока Фердинанд сумеет его переварить. В том-то и крылась слабость Коловрата и подпиравших его честолюбивых высочеств, что, не дождавшись громкого, открытого скандала, они вновь прибегли к нашептываниям, намекам, семейным, в сущности, дразгам.

Меттерних таким оружием владел превосходно и легко выбил шпагу из вражеских рук.

— Я очень стар,— буркнул он, опуская сухие полупрозрачные веки.— И мне немного осталось. Единственное, о чем я мечтаю, это еще при жизни увидеть достойного, столь же горячо преданного вашему величеству приемника в кресле канцлера.— И пояснил, как малому дитяти, с обезоруживающей простотой:

— На корону-то не всякий замахнется — страшно, вот и прибегают поэтому к окольным путям. Они как полагают, враги-то? Сначала свалим преданного сторожевого пса, благо ослабел от старости, а затем и до хозяина доберемся. Путь-то свободен будет, некому станет лаять, некому предупредить...

Фердинанд часто заморгал, обидчиво пожевал губами. Утром еще ему все казалось предельно ясным, и вот пришел старый Клеменс и неожиданно повернул дело так, что даже голова пошла кругом. События и явления предстали в двойственном освещении, страшно вдруг сделалось и одиноко, особенно здесь, в мистической Праге, где идут беспрерывно дожди и мылкая цена потоком забвения изливается из химерических морд.

Фердинанд порывисто бросился к старику и, неожиданно для себя, чмокнул его в сухой морщинистый лоб.

— Не оставляйте нас, князь.— Он растроганно всхлипнул, но тут же спохватился и бросил как бы вскользь; — Даже, если нам придется просить вас об этом.

— Простите старика, государь! — Меттерних как бы не слышал последних слов.— Забыл самое главное! — Он хлопнул себя по лбу.— Вчера у Рогана я имел частную беседу с герцогом Медина Сели, командором ордена «Золотого руна». Интереснейшие открываются перспективы.— Загоревшиеся увлеченностью глаза канцлера тронула лукавая улыбка. Он умолк и зорко взглянул на кайзера.

Так и есть! По лицу Фердинанда уже блуждала тихая сомнамбулическая улыбка. Он не только принял подброшенную игрушку, но и проникся желанием как можно скорее ее усовершенствовать.

— Нам бы хотелось, чтобы реформу ордена взял на себя именно Роган,— мечтательно произнес кайзер, вспоминая изысканное гостеприимство чудаковатого цэра Франции, превратившего свой чешский лен в крошечную очаровательную страну.

— Уверен, что он даст свое согласие,— пообещал канцлер.— Я еще поговорю с ним...— Он вдруг потерял нить беседы. Забыл нечто исключительно важное, о чем собирался заговорить под самый конец. Жутко повеяло, немотой. В свинцовой мгле зеркала, возвратившего Рудольфу Великолепному облики незабвенных усопших, не отражались даже острые язычки свечей. Захлопнулось, померкло алхимическое зеркало. словно протекла последняя струйка песка через узкое горло часов, упала последняя крупинка.

Почувствовав внезапное удушье, канцлер пошатнулся и схватился за грудь. Но Фердинанд не заметил его мгновенной слабости, очарованный бликами литого тельца.

В усохшем старичке, сумевшем вновь выкрутиться из трудного положения, узрел он вдруг своего Альбу.

— С вашей помощью, князь, мы возродим древнюю славу ордена,— мечтательно вздохнул император.— Командорство «Золотого руна» объединит благороднейших кавалеров Европы. Мир еще не безнадежно испорчен.

Тени и призраки витали под сводами Пражского града. На другом берегу беспокойной, вздувшейся Влтавы дрожал колокольчик в фалангах беспощадной истребительницы. Заливали лужи мозаичный мальтийский крест у ступеней коллегиума. По узким улочкам гетто блуждал слепой глиняный болван, ища утерянный пергамент с магической формулой. Жертвенные камушки на высоком надгробии Лёва ворошила стекающая вода.

Император и канцлер играли в бирюльки. Тешась отзвуками былого, мнили себя властелинами грядущих времен. Но были исчислены сроки...

## 29

Осень скликает в дорогу бродяг и бездомных. От барских хором потянуло поэта к привычным делам и заботам. Случайно или как будто случайно увидев Юлию Сендреи,— ему показалось, что она искала встречи,— Петефи еще сильнее затосковал по столику, испятнанному кружками кофейных чашек, по добрым друзьям, жарким спорам и шуткам в накуренной милой кофейне. Слов нет, он крепко поработал в Колто, по графский замок, хоть и звучат там крамольные речи, та же золоченая клетка. Певец кабаков должен знать свое место. Деревенская корчма, сеновал, а то и овчина, расстеленная у цыганского костра,— вот его графские покои. И дворянская дочка ему не пара, если смеет медлить и взвешивать, если боится послушаться зова любви. Разве любовь



не волшебство, которому повинуются беспрекословно, не размышляя, с восторгом и мукой? Иначе это не любовь, не потрясение мира, а только сухая гроза, обманчиво дразнящая дальней зарницей. Юлия, кажется, просвата-на за какого-то там молодчика с баронским титулом, то ли исправника, то ли судью, вот пусть за него и выходит. Значит, она не фея. Феи безоглядно избирают бродяг ме-нестрелей, случайно заночевавших в сказочном лесу, не исправников. Девушка в замковой башне, дай ей бог вся-ческого счастья, не дождется своего паладина. Он погиб-вет в крестовом походе, а может, женится на крепенькой крестьяночке из славного племени кунов, с глазами, как черные вишни, с ямочками на смуглых щеках. Одним го-лый мальчик с колчаном и луком готовит розы и флердо-ранж, другим — полынную горечь, холодок мяты, запах теплого хлеба и молока. Любые дары его благословенны. Их принимают со слезами радости, как благодатный ли-вень, плодотворящий землю, не раздумывая, всем сердцем, всем существом.

Домой, скорее домой. Ждет помощи бедолага отец (едва удалось добиться отсрочки), ждут друзья, немногие, но верные из верных, и зовет вдохновение схватки. Пыль-ный смерч над опустевшим жнивьем. Молния, ударившая в окно замковой капеллы. Баррикада в клубах порохового дыма. Буря и натиск, буря и натиск! Колокольный набат эпохи, ее зарева, ее мистические огни. «За вольность юно-ша боролся — и брошен, скованный, в тюрьму; и потряса-ет он цепями, и цепи говорят ему: «Звени, звени сильнее нами, но в гневе проклинай не нас. Звени! Как молния, в тирана наш звон ударит в грозный час!»

Но откуда эта опустошающая растерянность, эта бес-просветная тоска? Бессмысленно бежать от самого себя. Здесь ли, в отцовской корчме или в Пеште — всюду на-стигнет чувство, одолеет воспоминание. И сдавит горло — не разрыдаться, не продохнуть.

Прощай, дикий граф, прощайте, заповедные рощи, и ты прощай, Анико Пила, проказливый, милый зверек. Так уж случилось, что глаза опалило солнцем. Куда ни глянешь потом, всюду видится ослепительный диск.

Ничего еще не решено. Колеблются в неустойчивом равновесии невидимые чаши. На последней нечаянной встрече Юлия призналась, что любит. Лишь об одном умоляла: не спешить, дать ей время. Всего только год или даже несколько считанных месяцев — хоть до весны. Разве трудно понять? Она чтит и боится отца, не решается сразу разбить надежды семьи на почетный и выгодный брак. О, она сделает это, но исподволь, постепенно, когда успокоится, соберется с мыслями. Ей пока не хватает решимости, недостает душевных сил. Неужели не ясно?

Воистину клеймом страдания метят своих избранников боги. Любой другой на месте Петефи был бы, наверное, счастлив, а его то сжигает отчаяние, то лихорадит надежда. Поэт и сам до конца не понимает, чем нестерпимо ему ожидание, какая недобрая сила торопит, подгоняет его. Скорее всего, он просто не верит — вопреки слезам и клятвам — в любовь, которая способна ждать. «Любовь и свобода — вот все, что мне надо! Любовь ценою смерти я добыть готов. За вольность я пожертвую тобой, любовь!»

Обуздай свое сердце, поэт. В магический круг строф замкни бушующие в нем силы. А потом постарайся забыть. Такова твоя участь: от века влачить за собою кровавый, не остывающий след.

Загадочна память. Даже собственную жизнь не дано нам хранить в себе целиком. Так, отдельные события высвечиваются в суете буден, отрывочные видения, бессвязные образы. Мы забываем самих себя, свое детство, открытия и печали. Лишь иногда во сне, когда приоткрываются сумрачные глубины подсознательного, схоронившие все без остатка, возвращается к нам утерянное пережитое. Капризен выбор, причудливо искажены видения,

но даже их не донести к рубежу пробуждения. Что сон, что память — все едино. Забываются страхи, невзгоды, остается туманный ностальгический свет, и властно тянет назад к позабытому источнику смутно памятных радостей.

По пути из Колто в Пешт надумал Петефи завернуть в старый, добрый Дебрецен, где Эрато — муза любовных песен и Мельпомена увенчали его первыми лаврами. О лютой, едва не убившей зиме, о голоде и унижениях он почти и не вспомнил. Что было, то навеки прошло.

В театре, куда бывшего актера сами собой привели ноги, давали «Два пистолета» Сиглигети. Игрою случая легкомысленной пьеске и подозрительной гостинице было даровано одно и то же имя. Так уж выпали кости, что протянулась меж Пештом и Дебреценом судьбоносная нить. Поэт не знал, что именно в пештской гостинице была подложена мина под его детище — «Содружество десяти», тем более не мог он знать, что ждет его на «Двух пистолетах» в дебреценском театре.

Заранее предвкушая радость встречи с друзьями, толкнул он дверцу боковой ложи, обитой изрядно потертым, некогда алым плюшем. Скушающая публика встретила его радостными улыбками, на галерке раздались аплодисменты. Актеры, обрадованные случаю прервать пудное представление, наградили бывшего собрата дружным «Эльен!». Все встали со своих мест. Приятно взволнованный зал и сцена аплодировали, посылали воздушные поцелуи поэту, поэт, раскрыв объятия, победной улыбкой приветствовал сцену и зал. Директор театра в соседней ложе пустил растроганную слезу, но быстро справился с волнением и взмахом руки дал знак продолжить спектакль. Представление, щедро сопровождаемое холостыми выстрелами, покатилося по наезженной колее, и на ложу, в которой сидел поэт, постепенно перестали оглядываться. И только игравшая баронессу Корнелия Приелль, хорошо знакомая Петефи по Пешту, нет-нет да и поглядывала

туда с задорным любопытством. Когда же настал момент для вставного номера, она резво нагнулась над ямой, что-то шепнула арфистке и вдруг запела на радость публике: «Нельзя запретить цветку...»

Вновь вспыхнули овации, и благодарный поэт ответил на них глубоким поклоном. Давно он не ощущал в себе такого подъема, такой упоительной легкости. Вот что значит сцена! Недаром его с самого детства влекло вечно пьянящее искрометное чародейство. Эти огни, этот ни с чем не сравнимый запах и, главное, легкое головокружительное волнение, которое невольно овладевает каждым, кто только вступает в наполненный праздничным ожиданием зал. Упоительный холодок, незабываемый, дразнящий озноб. Как хорошо, что такое вновь повторилось.

Петефи едва дождался последнего акта. Как только опустился занавес, он поспешил, благо путь был знаком, за кулисы.

— Здравствуй, Дюлан! Ты прекрасно выглядишь, Фелеки! — как лучших друзей, обнимал он знакомых актеров. — Привет, Давид! — крепко пожал руку восторженно вспыхнувшему статисту.

По ту сторону опущенного занавеса гасили огни, расходилась, шаркая ногами, публика, но здесь, на сделавшейся вдруг такой тесной сцене, еще продолжался праздник. Пахло гримом, горелым маслом, пудрой и ароматическими эссенциями, которыми щедро умащали себя разгоряченные актрисы.

Петефи был счастлив, ощущая с радостным испугом, как трепещет и молодо бьется каждая жилка. Он и мечтать не мог, что случайный заезд в Дебрецен обернется истинным возвращением в юность, физически ощутимым обновлением души. Жизнь разворачивалась травяной изумрудной дорожкой, зовущей в солнечную бескрайнюю даль. И он стоял в самом ее начале, и не было груза потерь за спиной.

— Спасибо, друзья! — шептал он, не уставая прижиматься к жирным от краски щекам. — Вы доставили мне наисладчайшее удовольствие, возлюбленные братья и сестры во Христе и Мельпомене! Не знаю, чем заслужил столь любезный прием...

— Оставайся с нами, Шандор, — добродушно прогудел маститый Дюлаи. — Только здесь ты будешь чувствовать себя дома.

— И вправду останусь! Вот только улажу в Пеште самые неотложные дела... Но где же наша божественная Корнелия? — Петефи оглянулся, ища недавнюю баронессу, но перед глазами, словно сцена превратилась в ярмарочную карусель, плясали расплывчатые цветные пятна. — Я, кажется, совсем опьянел от счастья, — махнул он рукой. — И Корнелия куда-то пропала...

— Как вам это правится! — прозвучало где-то совсем рядом возмущенное восклицание. — Меня уже не узнают! — Актриса картинно сорвав парик, с милой гримаской взъерошила коротко подстриженные волосы.

— Нелике! — безоговорочно признавая свою вину, сокрушенно поник Петефи. — Достоин ли я прощения?

— Достоин! — провозгласил Дюлаи под общий смех.

— Так и быть! — Одну за другой протянула она руки для поцелуя и благодарно коснулась горячей щекой. — Я прощаю вас ради ваших стихов, которые знаю наизусть. Все-все!

Мимолетная ласка, артистическая шалость, прелестная выдумка, наконец. Но как согрели они поэта, как заразили изумленной, восторженной дрожью.

— Нелике, — шепнул он украдкой. — Нам нужно о многом поговорить.

— Приезжайте завтра сюда, — так же тихо ответила она, слегка побледнев от волнения. — Я занята только на репетиции. У меня короткая роль где-то в самом начале, а потом я свободна как птица.

Ничего больше не было сказано, но промелькнувшая полная ясность перехватила дух. Свободно и смело, без малейшего жеманства ответила она на неосознанный робкий призыв. Петефи был покорен и этим мгновенным пониманием, и этой высокой свободой.

Что ж, думал он, так и должно быть между нами, актерами, привыкшими играть для публики, товарищами по ремеслу. Может быть, эта девушка послана мне во спасение. Она повинуется голосу сердца, ей чужды холодные расчеты, как чуждо притворство за театральными стенами. Она смыывает его с себя, словно грим.

Восторженное воображение пылало своим независимым светом. Не сверяясь с оригиналом, рождался образ и обретал чарующую реальность.

Войдя на другой день в маленькую, небрежно обставленную комнатку Корнелии, Петефи ощутил болезненный тоскливый толчок. Меньше всего ожидал он увидеть тут портрет Лайоша Кути, обрамленный к тому же лавровым венком. Это было подобно падению в танце среди хохочущей толпы. Нелике еще уносили волны музыки, вихри, а он, скрывая гримасу боли, отряхивался под издевательский гогот.

— Кути? У вас?

Его взгляд сказал Корнелии больше, нежели любые слова. Чувствуя, что краснеет, и сердясь за это на Петефи, но еще более на себя самое, она досадливо прикусила губку.

— Почему бы и нет? — спросила Корнелия с вызовом. — Он был добр ко мне. — Она приблизилась к поэту и мягко опустила руки ему на плечи. — Я узнала, что он женат, чуточку позже, чем нужно. Но это уже моя вина.

Петефи внутренне съежился, точно под градом ударов. Своей смелостью и прямоотой Нелике — как она была хороша в эту минуту! — причинила ему новую боль. Он чувствовал себя безнадежно опоздавшим.

— Ненавижу! — процедил, стиснув зубы.

— Ах, пустое.— Она неожиданно блеснула лукавой улыбкой.— Ведь это было так давно,— объяснила, коснувшись губами упрямой складки над переносицей.— «Скажите, видели вы море, которое вспахала буря?» — спросила словами его стихотворения.— «Ответьте, видели вы вихрь?» Не надо хмуриться, ладно?

Она утешала поэта, словно разобиженного малыша, не уставая при этом восхищаться его стихами. Усвоив однажды простую истину, что по отношению к артисту никакая лесть не покажется слишком грубой, Корнелия уверенно пускала в ход свое оружие.

Короткий осенний день пролетел незаметно. Когда настало время зажечь свечу, Петефи напрочь забыл и про Кути, и про его засохшие лавры. Не сводя с Корнелии восхищенного взгляда, он читал ей отрывки из «Шалго», благодарно выслушивал ответную декламацию, незаметно соскальзывая на темы любви. В конце концов, того требовал хороший тон, неписанные правила века, когда предложение руки и сердца были лишь прелюдией любовной игры, куртуазной вежливостью по отношению к даме.

— Если вам на самом деле так нравятся мои вещи,— сказал внезапно поэт, припав на колено,— то возьмите их вместе с именем. Берете? — в тревожном ожидании поднял глаза.

— Кто же откажется от королевского дара? — прошептала, потупив очи, Корнелия, принимая скоропалительное предложение, как и должно, всего лишь за пылкий комплимент. Прославленный поэт ухаживал за ней, комедианткой, как за девицей из знатной семьи. Она не могла оставаться неблагодарной.

— Значит, вы согласны? — переспросил он и, скрывая испуг, прижал к губам подол ее муслинового платья.

Она пошатнулась, прикрывая лицо, и, в поисках опоры, коснулась жалобно заскрипевшей кровати.



— Корнелия! — хлестнул неожиданный окрик из-за дощатой перегородки.

— Что прикажете, мадам? — испуганно вздрогнув, она схватилась сперва за сердце, затем за пылающие виски и выразительно кивнула на стену: «Все слышно».

— Вам пора одеваться. Вы опоздаете.

Сжимая кулаки, Петефи отошел к окну.

— Мы еще продолжим этот разговор, — вымолвил, прижимаясь лбом к холодному, залитому непроглядной синькой стеклу.

— Интересно, когда? — усмехнулась она через силу. — Вы же уезжаете на рассвете, — вздохнула с неожиданной горечью. — Разве не так?

Нелике позволила себе на мгновение забыться, увлечься, но действительность достаточно властно заявила о себе, и приходилось срочно перестраивать неписанные правила игры. Ей и в голову не могло прийти, что для Петефи все развивалось значительно серьезнее. И уж никак не могла вообразить Корнелия Приелль, что даже время, что провели они вместе в этом жалком гостиничном номере, по-разному текло для каждого из них, что за эти считанные часы Петефи пережил целую жизнь, дошел до грани смерти и вернулся к исходной точке, придумав новый поворот. Ее как громом поразило, когда он обреченно заметался в тесном пространстве между письменным столиком, кроватью и вдруг бросился к двери.

— Я не позволю, чтобы глупые обстоятельства распоряжались моей судьбой! — выкрикнул он на прощание.

«Милый мальчик, — сказала она себе, — это всего лишь шутка». И принялась одеваться к вечернему представлению. Но пальцы почему-то дрожали, не слушались. Она едва не опоздала, путаясь в шнуровках, ломая неподатливые крючки. Пунцовая от досады, проклиная все и вся, сорвала напоследок венок, растерла засохшие, ломкие листья.

Как назло, ей предстояло сыграть невесту в «Семи сыновьях Лары», а впору было изобразить разгневанную фурию. «Что со мной? — подумала бедная Нелике. — Неужели и вправду влюбилась?.. Ненавижу, ненавижу себя!»

Но, по-видимому, так уж сложился этот совершенно изумительный сумасшедший день, что за одной неожиданностью следовала другая. Воля поэта, одержимого навязчивым бредом, преображала явления и смещала понятия, опрокидывала условности и снимала запреты.

Это было похоже на колдовство, темное наваждение, роковым образом меняющее привычный мир. Корнелия просто не понимала, что происходит. Но и поэт едва ли сумел бы определить захлестнувшее его чувство. Нечто тайное, долго прятавшееся в сокровенных извилинах неожиданно вырвалось, расправило крылья и увлекло за собой в головокружительный полет. Не было слов на обычном людском языке, чтобы назвать это властное побудительное движение. Временное помрачение? Упрямый каприз? А может быть, просто любовный удар на французский манер? Ходульные определения, бледные тени ненайденных слов. Поэту трудно быть таким, как все. Преобразованная воображением реальность жестоко мстит за блистательное насилие, размывая нечеткие грани. Пророческая зоркость оборачивается близорукостью школяра, и явь химерически смешивается с мечтою. Из-под пера в такие мгновения срываются чарующие гротески, но не дай господь перепутать с фантазией жизнь. Поэт уподобится лунатику, блуждающему по крышам.

Петефи поклялся себе, что на сей раз все переиначит по-своему. До сих пор судьба упорно разрушала его мечты об идеальной любви, но всему есть пределы. Хватит покорно смиряться с навязанными извне обстоятельствами, пора продиктовать свои условия. Он бунтовал, в сущности, против миропорядка, но думал, заблуждаясь, что сражается за любовь.

Женская всепроницающая интуиция подсказала бедняжке Корнелии, что выбор поэта был во многом случаен. Она просто вовремя подвернулась под руку.

Оглядев перед третьим актом себя в трюмо — белое платье и фата на диво красили и молодили ее, — актриса уронила слезу и понравилась себе еще больше. С мстительной радостью подумала, что сумеет затмить Фелике в любой трагической роли. Кажется, Нелике начинала понимать поэта. Ей показалось даже, что она видит себя сейчас его глазами. Если им суждено еще когда-нибудь встретиться, то она обязательно наденет белое. Напрасно она слушалась эту дуру мадам, желтое вовсе не ее цвет. Белое и только белое, быть может, простеганное серебряной нитью...

— Ах, невеста уже готова? — В зеркале отразилось возбужденное лицо Петефи. — Превосходно. — Он нервно потер руки и остановился у нее за спиной. Суетные мысли мигом вылетели из головы Корнелии. Вот уж сюрприз, так сюрприз! Она прикрыла глаза и суеверно ксснулась дерева подзеркальника, заставленного бесчисленными флаконами и баночками. Фантазмагория длилась.

— Жених тоже, кажется, на месте? — справившись с внезапным волнением, подыграла Нелике. — Священника только недостает.

— За ним дело не станет, — пылко заверил поэт. — Стоит вам лишь слово сказать... Вы действительно согласны?

— Пожалуй, — протянула она, пропикаясь неуверенной мыслью, что для него все обстоит гораздо серьезнее, чем это могло показаться.

— Ждите меня здесь! Я возвращусь еще до того, как закончатся ваши «Семь стенаний Лары».

— «Семь сыновей»...

— Пусть сыновей, отцов, матерей... Мне безразлично! Разве вы не видите, что со мной? Я совершенно потерял

голову... Не уходите без меня из театра, Корнелия. Мы сегодня же обвенчаемся.— Он припал к ее руке и, как это уже было сегодня, стремительно кинулся к двери.

Она понимала, что происходит непоправимое, что ей нужно остановить его, задержать, но не было сил пошевелить даже пальцем. Слова воспринимались замедленно, едва задевая сознание.

— Куда тебя несет? — возмутился Ференц Дюлаи, которого поэт едва не опрокинул в узком коридорчике.

— За пастором! Скорей домучивайте свою пьесу и готовьтесь к свадебному пиру. Сегодня мы с Корнелией венчаемся и приглашаем всех, кто нас любит! — поспешно объяснил Петефи и убежал.

Одетый мавром Дюлаи с выпученными глазами ворвался к Корнелии. Долго не мог обрести дар речи и лишь беззвучно разевал рот.

Корнелия не выдержала и расхохоталась. Напряжение требовало разрядки, и она долго не могла успокоиться.

— Это правда? — наконец смог спросить Дюлаи, кивнув на оставшуюся открытой дверь.

— Наверное,— пряча глаза, пожала плечами Корнелия.— Откуда я знаю.

— Он сумасшедший! — уверенно заявил непревзойденный трагик.— Но ты, Нелике, ты-то куда смотрела?

— Ах, оставь,— она передернула плечами.— Я совсем ничего не понимаю... Пусть будет, как будет.

— Разве ты не видишь, что он не в себе? — Дюлаи опустился прямо на пол у ног Корнелии.— Это горячка, которая завтра пройдет.— Он едва успевал вытирать пот с черного и жирного от грима лица.— Опомнись, Нелике! Вы оба будете жестоко раскаиваться.

Возразить было нечего. Стиснув зубы — ее начала бить холодная дрожь,— Корнелия встала с пуфика и, шатаясь, проковыляла к софе. Упала ничком и, не выдержав напряжения, разрыдалась.

Когда Нелике немного пришла в себя и смогла сделать несколько глотков из услужливо поднесенного стакана, в уборной собралась чуть ли не вся труппа. Судя по хмурым, встревоженным лицам, актеры уже знали новость, и она не слишком обрадовала их. Одна только Фелике взирала на Корнелию с жалостью и пониманием.

— Скажи нам, что вы пошутили.— Она вынула кружевной платочек, принялась вытирать заплаканное лицо подружки.— Правда? — продолжала увещевать, испытующе заглядывая в глаза.— По крайней мере, не сегодня, не сейчас? — И упала вдруг на колени, умоляюще осыпая поцелуями злополучное белое платье.

В комнате стало так тихо, что, когда забренчал — в который раз — колокольчик, актерам показалось, будто возвестили конец света, а не начало нового действия.

— На выход, господа, на выход,— потребовал обеспокоенный антрепренер, обрывая трудное объяснение. Чувства чувствами, а играть надо. Нетерпеливая публика ждет. И топают ногами, и возмущаются, и свистит...

Когда Корнелия в наряде певесты выходила на сцену, Петефи что было мочи стучался в ставни Тота Кёпешеша, смиренного протестантского пастора, привыкшего ложиться с наступлением тьмы, а вставать с петухами.

— Что вам угодно, сударь мой? — осведомился наконец заспанный служитель господа, приоткрывая дверь. Был он в ночном колпаке и защищал от ветра зажженную свечку.

— Я хочу обвенчаться.

— Превосходно. Приходите завтра с утра.

— Я уезжаю на рассвете. Мне нужно немедленно.

— Невозможно, сударь.— Пастор сделал движение закрыть дверь, но Петефи проворно просунул ногу.— Протестантская обрядность препятствует венчанию при свечах. Мы не какие-нибудь католики, милостивый государь, так-то, и предпочитаем для совершения таинства божий день.

Вновь судьба жестоко мстила поэту. Он проваливался в бездну в ту самую минуту, когда таким близким виделся зенит. Поражение казалось нестерпимым: Корнелия ждет, они дали друг другу слово, и все обрушивалось из-за упорного противодействия абсолютно чуждых, неопостижимых сил.

От пастора он вернулся подавленным, готовым на любую крайность.

— Все против нас: земля и небо,— сказал, мрачно потупившись, поджидавшей его Корнелии.

— Значит, так угодно судьбе,— промолвила Нелике. Ее обуревали самые противоречивые чувства. Но над всей этой внутренней бурей, над сожалением и над едкой досадой преобладало все-таки облегчение. Несмотря ни на что, она была рада, что разрешилось именно так, ничем, и не верила в продолжение. Все кончено, но она почти счастлива, что в ее жизни было такое. Она навсегда сохранит в себе ощущение взлета. Ее любви помогали многие, но еще никто не предлагал ей свое имя.

Украдкой поглядывая на замкнувшегося в своем одиноком горе поэта, провожавшего ее до гостиницы, Корнелия мысленно благодарила его за этот поистине удивительный день.

— Нас бы все осудили,— попыталась Нелике развеять свою и чужую печаль.— Даже самые близкие.— Она улыбнулась сквозь слезы, ободряюще и облегченно.

— Чтоб он сгорел в аду, этот пастор! — выругался поэт.— Проклятые попы!

— Почему пастор? — спросила Нелике, примеряясь к его торопливым шагам. Только теперь она начала понимать, что произошло.— Ведь я католичка!

— В самом деле? — удивился Петефи, загораясь внезапной надеждой.— Тогда все еще можно поправить. Если католический священник окажется более сговорчивым, чем пастор, я готов в ту же секунду переменить

веру. Почему бы нам не обручиться по католическому обряду?

— Не будем больше об этом,— вздохнула Нелике не без сожаления.

Она подумала о том, что еще могла бы вернуть утраченное и привязать к себе крепко-крепко этого упрямого, страдающего мальчика, но что-то уже навсегда изменилось в ней, и она не воспользуется минутной слабостью.

«И все-таки я ни о чем не жалею,— дивясь себе, подумала Корнелия.— Он мой товарищ и великий поэт. Ему ведь так мало нужно: чуточку ласки, душевного тепла, несколько хороших, искренних слов. Если это поможет ему вернуть веру в себя, немножко передохнуть и залечить душевные раны, я охотно пожертвую собой. Это ведь такая малость...»

Отперев свою комнатку, Корнелия Приелль сочувственно улыбнулась, и оставила дверь открытой, и поманила за собой.

Часы на башне ратуши пробили полночь. Курьерская карета отправлялась в шесть утра.

### 30

Замшелые скалы в угрюмых моравских лесах, где сам Вельзевул прикорнул на часок в ночь весеннего полнолуния, запеленали снега. Волнистые белые шапки укрыли соломенную нищету голодных деревень, шпили притихшего Брно, бараки покинутых фабрик, набитые товаром лабазы, монашеские обители. Бережно укутали заколоченных в деревянные коробки Психей и Аполлонов в дворцовых парках и чугунных Христов — на кладбищах у свежих могил.

Пустые амбары, погасшие стекловарные печи, нерасчищенные рельсовые пути. Всюду оцепенение, спад, затаянная лютая злоба. И не понять, откуда пришла беда,



как без войн и кровопролитных волнений распатались устои привычного бытия. Голод в мадьярских комитатах, остановленные спиртозаводы в Славонии, последний на всю семью поделенный мучной кнедлик в хижине моравака. Да и в Тирольских Альпах дела обстоят не лучше. Падеж скота от бескормицы, заносы, лавины, тоска. За что ни возьмись — все плохо, катится под откос, вываливается из рук. Любые попытки как-то выправить положение, разобраться, наладить прежний порядок кончаются ничем. Не помогают ни бесконечные парламентские дебаты, ни бумажные циркуляции по канцелярским столам. День ото дня все хуже, что-то исчезает из жизни, что-то безнадежно теряется или окончательно приходит в негодность. Уж лучше вовсе не вмешиваться, не растравлять язвы, пусть себе катится своим путем. Не надо присматриваться, не стоит задумываться, будем жить сегодняшним днем.

— Что вы все твердите мне: будущее, будущее, — осадил Меттерних чересчур ретивого администратора. — Завтра может и не наступить. Оно не гарантировано человеку.

В имперской Вене, хоть и падают на бирже курсы ценных бумаг, — зимние медлительные балы. С земляникой, жареными лебедями в перьях и тортом — слегка уменьшенная копия собора святого Стефана — на триста порций. Игристый херес бьет из подсвеченного фонтана, повинуюсь мелодии вальса, снизу доверху заполнены именами присяжных танцоров балльные карточки трепетных дебютанток, сукно ломберных столиков бело от мела — сплошные нули. Как-нибудь пронесет, утрясется. Слава богу, есть тысячи способов компенсировать убытки. И валит снег за освещенными окнами, и сказочно мерцает в ночи убеленная рождественская столица.

Но безмолвны спящие поля Моравии, ее округлые холмы и суровые черные ели. Только волчий вой проплывает над снежной пустыней, и бормочет без умолку неза-

мерзающий пенный поток, потонувший в сугробах. Саваном колыхнется железистый пар над лесистой излучкой. Льнет к неприступному склону, где на самом верху, у скругления кварцевой жилы, врос в скалу древний замок «Вольфштейн».

Эту горную цитадель, с четырьмя круглыми башнями — ронделлами по краям и высоким четырехугольным донжоном посредине, еще никому не удавалось взять приступом, что не мешало ей переходить из рук в руки. Построенный в тринадцатом веке неприступный «Вольфштейн» служил убежищем таборитам во времена гуситских войн и центром крайней католической реакции в годы контрреформации. Им последовательно владели немецкие бароны, богемские рыцари, финансовый воротила, купивший герб с дворянской пятизубчатой короной у британского баронета, умершего от заноя, графы из благородной фамилии Хотек и даже отдаленный потомок мудреца Маймонида, крестившийся почему-то в Варшаве. И о каждом из них осталась память в сводчатых залах и суровых холодных кельях древнего замка.

В ротонде юго-восточной ронделлы гербы чешских папов, казненных на Белой горе, соседствовали с лотарингскими хищными птицами. Выцветшие знамена с изображением гуситской чаши хранились в одном ларе с траченными молю хоругвями крестоносцев, пасхальные семисвечники стояли рядом с чудотворным распятием из Кордовы.

Менялись веры и догмы, государственные символы и языки, но неизменной оставалась дворянская кровь, соединяющая Европу. В переменчивом лоскутном узоре феодальных владений только извивы рек никогда не изменяли своих очертаний с течением лет. Гербы на карнизах «Вольфштейна» увековечивали незримые, но столь же устойчивые русла, по которым бежала благородная кровь. Она могла обагрять клинки в междоусобных схватках и

на дуэлях, заливать плахи и изрытые окопами поля, высокородные семьи могли переменить веру, до последнего колена сгинуть в темницах и даже потерять герб. Не это заботило склонных к геральдическим изысканиям владельцев замка. В противоборстве, как известно, заключен источник вечного движения жизни, и каждый вправе распорядиться собственной судьбой. Иное дело, кто на ком женился, каких оставил наследников и что унаследовал сам. Все это подлежало самой строгой и неукоснительной регистрации. В архивных записях, переходивших из рук в руки вместе с неприступной цитаделью, снабженной подземными ходами, всевозможными мостиками и бесчисленными бойницами, постоянно ощущалась личная причастность владетельных сеньоров к феодальному таинству, на котором зиждется мир. Все остальное, по их мнению, не стоило внимания.

Нынешний властелин «Вольфштейна» граф Колло-до-Турри, состоявший в родстве чуть ли не со всеми царствующими домами христианского мира, слыл великим охотником. Самозабвенно отдавшись излюбленному пристрастию, он беспощадно изничтожал в своих владениях, а также в заморских краях все, что только могло плавать, бегать, летать. И столь же ревностно изготовлял трофеи: чучела птиц и зверей, рога и клыки, слоновьи ноги, превращенные в корзины для макулатуры, львиные шкуры, клешни омаров, отделанные в виде пороховниц. С его легкой руки — указательный палец, привыкший к курку, почти не разгибался — «Вольфштейн» превратился в кошмарный мемориал бессмысленного уничтожения. Согласно охотничьей книге, бережно сохраняемой в библиотеке вместе с полным выпуском Готтского альманаха, отражавшего метаморфозы высокородных семей, от пуль, рогатин и всевозможных снастей графа погибло в общей сложности около двухсот тысяч представителей животного мира. Чуть ли не из всех его царств: от рептилий, за-

стреленных в Индии и на Замбези, до человекообразных млекопитающих вроде орангутангов, которых неутомимый граф сумел добыть на острове Ява.

В настоящий момент граф гостил в Индии у пизама Хайдарабада и, наверное, лихо отстреливал беззащитных слонов. Замок и поместье он охотно предоставил в распоряжение гостя, которого письменно рекомендовал ему нунций его святейшества в Праге. Перед тем как уехать в далекую экспедицию, Колло-до-Турн вызвал к себе управляющего и оставил самые подробные инструкции насчет ожидаемой особы, которую папский легат охарактеризовал весьма неопределенно: один, мол, родственник, путешествующий инкогнито дворянин. Под таким статусом мог скрываться и владетельный принц, и студент, живущий на хлебах у влиятельных родственников. Во всяком случае, граф едва ли догадывался, что ему оказана высокая честь приютить у себя самого «Черного папу», некоронованного владыку невидимой империи.

И вновь Бальдур предстал перед всевидящими очами своего генерала. Прodelав трудное трехнедельное путешествие в утепленном возке с самоваром и печкой по зимним дорогам Славонии и Моравии, добрался он наконец до каменного гнезда на скальном обрыве, чтобы держать ответ за все свои прегрешения. Ничего хорошего от этой аудиенции Бальдур не ожидал, ибо знал уже, что провинциал из Вены, вызванный для подобной беседы, назад не вернулся, а прямым отправился в Италию, в неведомый монастырь.

Проигравший всегда виновен, особенно если ему нечем платить. Привыкший взирать на мир, как на призрачный сон, Бальдур легко свыкся с мыслью о возможной опале и не сомневался в том, что не дрогнув выслушает любой приговор.

— Я призвал вас не для отчета, — выдержав положенное молчание, объявил свою волю генерал ордена. — Ваша деятельность в Венгрии не свободна, конечно, от ошибок, все мы только люди на этой земле, но может быть признана, безусловно, полезной. Вы хоть и не сумели предотвратить образования общества, именуемого «Оппозиционный круг», но постарались по возможности ослабить его. Кошут фактически одинок в этом союзе и вынужден всячески лавировать, теряя старых приверженцев. Не очень значительный, но тем не менее успех. Куда более успешными представляются нам меры, предпринятые вами по отношению к «Молодой Венгрии». — Ротоан замолк, словно прислушиваясь к непривычному словосочетанию, затем, удовлетворенно кивнув, продолжил: — «Общество десяти», в каком бы качестве оно ни возникло, не представляет собой серьезной политической силы, тем более что острые противоречия между молодыми и «Оппозиционным кругом» ослабляют оба лагеря. Если же присовокупить сюда третью соперничающую силу, либералов, сгруппировавшихся вокруг Сечели, то мы можем уверенно говорить о стабильности положения. Для успешной революции в Венгрии нет ни достаточно мощной организации, ни потенциального вождя, чья популярность была бы для всех безусловна...

Бальдур как откровение выслушал констатацию, построенную на выводах из его же собственных докладов.

— Но! — Многозначительный возглас заставил провинциала насторожиться. — Один досадный просчет вы все-таки допустили. Нам представляется, что в отношении популярного поэта Петефи, которого ваши советчики явно недооценивают, была применена неверная тактика, не говоря уже об израсходованных впустую средствах. Вы позволили ему вырасти в фигуру европейского масштаба. Генрих Гейне в восторге от немецкого перевода его стихов и предпринимает попытки заинтересовать

французских издателей. Джинн выпущен из бутылки, и едва ли возможно ныне успешно противодействовать дальнейшему нежелательному для нас развитию.

Бальдур смиренно склонил голову, признавая вину. На сей раз генерал опирался на сведения, почерпнутые от других информаторов. Упоминание о Гейне производило, надо признать, сильное впечатление.

— С такими людьми бессмысленно играть, они не понимают нюансов. Их можно только давить грубой безостановочной силой, чтоб не смели ни передохнуть, ни разогнуться...

И здесь эпоха новых горизонтов благополучно скопчалась, отметил для себя Бальдур, даже самые тонкие и умные люди вынуждены в конце концов возвращаться к испытанному примитиву. Курьезно, но такова логика власти. Нет различия между холопом и господином, оба — рабы...

— Однако все, о чем я счел нужным упомянуть в качестве своего рода преамбулы, не идет ни в какое сравнение с трудным положением, в которое поставили нас венские события.

«Вот оно», — подумал Бальдур.

— Вы, конечно, осведомлены, что нас вынудили отозвать тамошнего викария? Он оказался скомпрометированным в придворной интриге, и князь Меттерних потребовал его удаления, — небрежно, как о чем-то весьма несущественном пояснил генерал. — Боюсь, что теперь на очереди вы, мой друг, — вполне безмятежно заключил он.

— Я готов, монсеньор, — еще ниже склонился Бальдур. — Все документы приведены в надлежащий порядок.

— Что ж, это никогда не лишне, — кивнул генерал. — Но я не считаю нужным опережать события. Поэтому возвращайтесь пока назад, в Паппонию, и постарайтесь вести себя тихо... Положение, как вы понимаете, изменилось, и выводы напрашиваются сами собой. Общество

Иисуса больше не воюет с имперским канцлером. Напротив, оно его всемерно поддерживает и вместе с ним выступает против злонамеренного безбожия, коммунизма и так далее...— Последовало небрежное мановение руки.— Надеюсь, вы понимаете все без лишних слов? При этом, однако, надлежит знать, что линия, которой вы будете отныне следовать в Венгрии, а новый провинциал — в Вене, несколько отлична от генеральной... К сожалению, в Италии, благодаря крайне вызывающей, неумной политике Австрии, мы вплотную приблизились к революции. Пока только авторитет его святейшества удерживает карбонариев и раздраженных обывателей от решительного выступления. В нынешних условиях от революции в первую очередь пострадают наши коллегиумы. Урон, который мы понесли в прошлом, лишь бледная тень предстоящих испытаний. Если вспыхнет всеевропейская революция, с нами будет покончено. Столь сложная ситуация вынуждает нас на известные тактические маневры. Надеюсь, вам все ясно, мой друг?

— Вполне, монсеньор.

— Короче, как бы ни сложились отношения Общества с имперским правительством в государствах Италии или в иных странах, у себя в Папнонии вы будете вернейшей опорой Габсбургов и князя... Вы не очень последовали тогда в Вене?

— Что было, того не исправишь, монсеньор.

— Отныне прекратите всяческие сношения с дворцовой оппозицией. Исходите из того, что Меттерних, Коловрат, Фикельмон — одно целое. Так оно, в сущности, и есть. Они не могут существовать по отдельности, никому из них окончательно друг друга не одолеть, и все вместе они одинаково нужны государю... Что вы успели предпринять за границей?

— Известные вам документы были подброшены некоему Штапчичу, коммунистическому пропагандисту.



— Сейчас за ним охотятся агенты князя по всей Европе. Лучше бы он исчез навсегда. Постарайтесь, по крайней мере, заманить этого субъекта на родину. В австрийской тюрьме, как вы, наверное, догадываетесь, до него скорее доберутся люди Меттерниха.

— Могу ли я оказать князю какую-нибудь услугу, монсеньор? Значительную услугу?

— Это было бы просто великолепно!

— Насколько я знаю, он пытается сдерживать венгерский национализм, заигрывая с сепаратистами в Хорватии и Славонии...

— Ищите подходящих людей, Бальдур,— с полуслова понял генерал.— Мне приятно сознавать, что я не переоценил вас. Вы действительно умеете заглядывать вперед.— Благосклонно подставив перстень для поцелуя, он отпустил викария с миром.

### 31

Бараньи изогнутые рога и бесовские острые рожки, копытца, овечья нечистая шерсть. Ишь распоясалось, сатанинское отродье! От дома к дому, от улицы к улице перебегают глумливые кучки, тешат дьявола страшными масками, вывороченными тулупами, хвостами из пеньки, крошечною сажей гогочущих морд. Весело на масленицу, сыто и пьяно после обжорного четверга! Отяжелев от студня и пончиков, кружатся в песклях танце козы и лошади, старики и цыганки, невесты и женихи. Шутейную свадьбу играют прямо на мостовой, разбрызгивая навозную жижу, и тут же ряженого покойника на кладбище провожают. Кошунствуют над самым святым — над смертью и воскресением.

Дьявольский праздник, масленица, бесстыжий. Мужчины в женщин преображаются, девки надевают мужское платье. Праздник торжествующей плоти, вызывающий

праздник греха. Недаром духовенство — и католическое и протестантское — не одобряет языческих игрищ.

Но разве можно заглушить зов пробуждающейся от зимней спячки природы? Рев быка и пение лопнувших почек, шепот прорастающего зерна, птичий щебет, олений сокрушительный гон. Для мадьярской души особый соблазн в масленичном ряжении скрыт. Как не воспользоваться удобным случаем, не напомнить кичливому Габсбургу о древней государственности, о веселых старых королях?

Дьёрдь Сереми, историограф Лайоша Второго, павшего в тысяча пятьсот двадцать шестом году в Мохачском сражении против турок, так отзывался о своем повелителе: «Он начиная с детских лет ко злу был приучен. В каждый год в конце масленицы злых духов тешил, дурные поступки совершал, в разврат вовлекал женщин... Каждый год в заговенье на голову Люцифера воловьи рога приделывали, воловьи ноги устраивали, и с головой анста и со змеиным хвостом, что против господа было и против всех святых».

Бьют палки в тазы и сковороды, катится вниз по Вац дьявольское гулянье. Жирные от сала губы бунтующей кровью палиты, зубы сверкают, смеются жаркие глаза. После разгула масленицы начнется у католиков долгий пост, когда танцам, развлечениям и всяческому веселью придет конец. Протестанты хотя постов и не соблюдают, но все ж и у них затишье наступит: ни свадеб, ни шумных праздников, ни балов.

И так продлится до самого вербного воскресения до веселого дня «изгнания кисе», когда где-нибудь на окраине или возле реки сожгут соломенное чучело, одетое в бабьи тряпки. Пустят по ветру горячий пепел, развеят воспоминания о голодной зиме, прогонят думы о владычице смерти. Песнями, шутками встретит молодежь конец изнурительного поста, когда убирают из дома падоевшую









постную пищу и торжественно вносят на широких блюдах дымящиеся колбасы, жирных каплунов, подрумяненных поросят.

Haj ki, kisse, haj!  
Jöjj be, sodar, jöjj! <sup>1</sup>

Далеко не всем суждено пережить эту зиму. Не в каждый дом внесут тарелки с жирной едой. Подкосивший Европу экономический кризис прежде всего ударил по неимущим, по самым беднейшим. А тут еще катастрофические неурожай последних лет. Языческий бог венгерцев отвернулся от своего народа, словно задался целью ввергнуть его в беспросветную нужду.

Отчего так?

«Посмотрите на сотни тысяч людей богатой хлебом Венгрии,— писала торговая газета «Хазалк».— Лица измождены от голода и нищеты. Не потому голодает наш народ, что в стране нет хлеба, а потому, что его не имеет народ — тот самый народ, потом которого он возвращен».

Цены на мясо и хлеб за какие-нибудь месяцы возросли в пять, а то и в шесть раз. Но по-прежнему отгружались на вывоз мешки с пшеницей.

«Österreich»,— ляпал весовщик черное клеймо.— «Австрия»,— макал в краску и снова ляпал.

Габсбургская таможня, конечно, изрядно срезала доход, но негоция получалась все-таки выгодная, кое-что оставалось хлебному оптовику, грех жаловаться. На вырученные от продажи хлеба деньги магнаты закупали дешевое кукурузное зерно и продавали его затем втридорога в голодающей Венгрии.

В надежде очистить города от обездоленных крестьян, безработных ремесленников и прочих праздношатающихся, Наместнический совет начал спешно организовывать всякого рода общества помощи нищим, работные

---

<sup>1</sup> Уходи, кisse, уходи! Входи, окорок, входи! (венг.)

дома, приюты для бедных. Езус-Мария! Сохрани люди твоя от казенной благотворительности! Да не коснется нас полицейское милосердие. О том, что представляли собой работные дома и какой определился статут для вынужденных постояльцев, красноречиво свидетельствовал Устав Пештского дома, превращенного в самую настоящую тюрьму. Не странноприимным убежищем, не монашеской обителью, но мышеловкой «для людей безнравственного образа жизни», нищих обернулось габсбургское заведение, бессрочной каторгой для всякого, «кто при полном отсутствии имущества не мог доказать наличия честного источника заработка». «Не мог доказать!» Презумпция невиновности. «Пусть погибнет мир, но восторжествует закон!»

Голод сделался символом безнравственности, бедность превратилась в преступление, наказуемое чуть ли не в уголовном порядке.

Но, в отличие от тюрем и крепостей, благотворительные заведения приносили изрядный доход новоявленным добрым самаритянкам.

Работный дом комитата Пешт сразу же был сдан в аренду двум предпринимателям, дом комитата Чонград в первый же год расширил производство, обзаведясь добавочными пристройками, а приют в Кашше превратился в обыкновенную суконную фабрику, где совершенно бесплатно трудились восьми-девятилетние дети. Предприятие осчастливило внутренний рынок восьмью тысячами пятисот восьмью локтями первосортного материала, который был продан за семнадцать тысяч шестьдесят шесть пенгё-форинтов и целиком пошел на мундиры для господ офицеров.

Вот и приходилось сидеть на жалком клочке земли, цепляться за него, как за родную могилку. Лучше голод и смерть дома, чем сиротская краяха под чугунным замком.

«В комитате Загреб,— писал в дневнике Штанчич, вернувшись на родину,— свирепствовал голод. Чтобы поддержать свое существование, бедняки мололи просо, смешанное с кукурузой, и подбавляли в эту муку опилки».

И впрямь призрак Альбы, опустошившего Фландрию, заструился над оттаявшим черноземом Альфёльда. Против взбунтовавшихся крестьян, доведенных до отчаяния голодом и феодальными притеснениями, направили войска. Холостых залпов не давали, стреляли прямо в толпу. Волнения, охватившие венгерские комитаты, перекинулись в Трансильванию, в словацкие и хорватские земли. Сколачивались эшафоты, заботливо обтесывались бревна для виселиц. Карателями в подвластных венгерской короне провинциях выступали, разумеется, венгры.

Вот тебе кисе, вот тебе жирный окорок в святое вербное воскресенье. Густела, отстаивалась ненависть.

Поэту — он снимал компатенку с окнами во двор в доме Янковича по улице Хатвани и по-прежнему страдал хрипическим безденежьем — новый, тысяча восьмисот сорок седьмой год тоже особых радостей не обещал.

Правда, Шандор Петефи торжественно отметил свое совершеннолетие, наступившее с двенадцатым ударом часов, а затем получил долгожданную корректуру сборника стихотворений с чудесным портретом работы Барабаша. Но жизнь вздоржала, издатели не стали щедрей, а критики не подобрели.

Густав Хирш, он же Зерфи, преподнес рождественский сюрприз, выдержанный в лучших традициях: «уродливая безнравственность», «неестественные мужицкие пороки», «пастушьи драки», «низменные забавы», «пьяные спотыкания».

Нельзя сказать, чтобы столь утонченная критика так уж глубоко задела поэта, притерпевшегося к перманент-



ной травле. Но оптимизма она ему, мягко гогоря, не прибавила. В день именин Этельки, которой уже не прибавлялись года, он навестил заснеженный могильный холмик. Плакал, положив еще сочившуюся скипидаром кипарисовую ветку. Стоя в сосредоточенном молчании у ограды, где посвистывала желтогрудая птичка — синичка, поймал себя на том, что мысленно перебирает журнальную ругань. Оказывается, один абзац у Зерфи запомнился почти целиком:

«Как будто умышленно изыскивает искаженные образы, лишь бы не пришлось ему склонить голову перед прекрасным, глубоким и божественным. От подобной писанины поэтическая душа отворачивается с отвращением. Лишь отечественные ослы могут сравнивать пиита с Гейне или Беранже», — звучал внутри глумливый омерзительный голос.

Чутье стилиста отстраненно отметило тавтологию: «отворачивается с отвращением». Гневное жжение в груди не позволяло сосредоточиться.

Что же они сотворили со мной, пронеслось в голове, если в такую минуту я способен помышлять о подобной пакости...

С кладбища возвратился больным и провалялся, сотрясаясь от кашля, почти две недели.

Но солнце уже всю катило на весну. Настали дивные, куда-то зовущие дни, наполненные необыкновенным ликующим светом. «И лучи на рдяной глади вод завели, как феи, хоровод, и звенят невидимые хоры, и бряцают крохотные шпоры».

За окном, сверкая, таяли сосульки. Капли, вобравшие в себя всю яркость мира, падали в ноздреватый снег, буравя его до самой земли, истосковавшейся, теплой.

Пришел Мор Йокаи и бросил прямо на незаконченную рукопись букетик подснежников. Смахнул стопку книг с табурета, сел лицом к запотевшим стеклам.

И стало еще светлее от его золотистой бородки, мокрой от дыхания, от налитых уличной свежестью глаз.

— Плохие новости,— сказал, жизнерадостно потирая руки.— Кошут забрал из «Элеткепек» статью.

— Почему? — удивился Петефи.— Хотя я и не очень люблю этого господина, но пишет он дельно. Мысль о том, что нация, развивающая лишь сельское хозяйство, подобна одnorукому человеку, весьма своевременна.

— Видишь ли,— осторожно начал Йокаи,— в декабрьском номере в списке сотрудников твое имя было набрано более крупно, чем остальные...

— Разве я кого-то об этом просил?! — мгновенно взорвался Петефи, смахнув со стола цветы, дышавшие холодком первых проталин.

— Не в том дело,— поморщился Йокаи.— Этого хотел издатель, я, все мы. Это, наконец, справедливо, но Кошут...

— Обиделся! — подсказал Петефи.

— Да,— кивнул Мор,— и прислал за статьей. Сказал, что не желает числиться после какого-то поэта!.. Кичливый аристократ.

— Поборник равенства! — гневно воскликнул Петефи.

— Черт с ним.— Йокаи вынул из кармана свернутый в трубку журнал.— Я принес тебе свежий номер... Даже наборщики хвалили твой «Куст задрожал»,— попытался он отвлечь взволнованного поэта.

— Чего же нам ждать от других,— не мог, однако, успокоиться Петефи,— если сам Кошут позволяет себе такое!

— Не нужно сердиться,— мягко улыбнулся Мор.— Ты слишком взволнован сейчас, чтобы судить беспристрастно.

— О, мне постоянно приходится слышать от вас про мою несносную неуравновешенность.— Петефи пичего не

мог поделаться с собой.— Да, я неуравновешен! — Он уже почти кричал, захваченный буйным воображением, подстегнутый незаслуженной обидой.— К сожалению, это правда, но зачем удивляться? Не наградило меня небо такой судьбой, чтобы я мог прогуливаться в прелестных рощицах, сплетая песенки в тихом счастье и тихих горестях с трелями соловья и шелестом ветвей. Моя жизнь протекает на поле битвы, на поле страстей и страданий. Моя полубезумная муза, как заколдованная принцесса, которую стерегут на необитаемом острове чудища и дикие звери, поет среди трупов былых прекрасных дней, предсмертного хрипа казнимых надежд, насмешливого хохота несбывшихся грез, злобного шипения разочарований.

— Таково проклятое время, в которое угораздило нас родиться,— поигрывая тросточкой, где скрывался длинный штык, согласно кивнул Йокаи, верный единомышленник.— Таков наш трижды проклятый и замечательный век. Мы мучимся ожиданиями и страдаем от постоянных разочарований.

— Это ты превосходно заметил, старина! — одобрил Петёфи, постепенно успокаиваясь.— Все паци, все семьи, более того — все люди разочарованы.— Он задумался, подыскивая точное, всеобъемлющее определение.— Знаешь, о чем я думаю? С эпохи средневековья прошло не так уже много лет, и человечество до сих пор носит средневековые одежды. Кое-где они, правда, расставлены и подштопаны, но здорово теснят грудь. В них трудно дышать, их стыдно носить при ясном свете. Так стыдится юноша, вынужденный выйти на улицу в детских штанишках... Мы прозябаем в позоре и нищете, внешне спокойные, но внутри напряженные, пылающие, как готовый извергнуться вулкан. Ты прав: таков наш век. Но могу ли быть иным я — верный отпрыск этого века?!

— Тогда позвольте вручить вам державный скипетр.— Йокаи поспешно вскочил, раскланялся, шаркнув ногой, и жестом фокусника разъял трость.— От имени его величества века полноправному наследнику и кронпринцу.

— Спасибо,— без тени улыбки принял странный подарок Петефи, попробовав пальцем вороненое острие.

Верный себе, Мор Йокаи исчез столь же неожиданно, как и появился.

Дневное сияние постепенно померкло. Под столом увядали сморщившиеся цветы. На кровати сурово синела заточенная сталь. Поэт раскрыл журнал и нашел свое стихотворение.

Если не любишь меня —  
Благослови тебя бог!  
Если ты любишь — стократно  
Благослови тебя бог!

Это был зов в темноту, в заворуженную синюю даль, где за горами и реками остались пузатые башни, стены с зубцами и белый платок в глубине амбразуры. Цвет верности и утешения.

Друзья из Сатмара сообщили, что Юлия должна повенчаться с исправником Ураи, красавцем танцором и классным наездником. Даже сидя на облучке, говорят, он ухитрялся выписывать колесами изящные вензеля. Сейчас, должно быть, выводит рисунок сердца у озера, на непросохших лужайках.

Корнелия тоже не подавала о себе вестей. В то раннее утро, прежде чем сесть в курьерский экипаж, Петефи оставил ей письмо, где почтительно просил принять его имя, и доверенность на оглашение по любому из христианских обрядов.

Но она не воспользовалась ни тем, ни другим. Вернула поэту его неприкаемую свободу. «Фея книг прелестна, но жестока: глянешь в книгу — фея схватит душу, и на звезды вознесет высоко, и не спустит, а столкнет, обрушит...»

После триумфального бснефиса Габора Эгреши пештские театралы с приятным волнением ждали повторения «Ричарда III» в Национальном театре. По мнению знатоков, актер был неподобен в роли преступного короля. Особенно в последней сцене, когда, катаясь на полу и ловя слабеющей рукой львиную ножку кресла, он шептал, словно в бреду, заключительный монолог. Именно этого коронного момента, затаив дыхание, ждали подлинные ценители. И когда после сцены с похоронной процессией, где Ричард добивается обручения с вдовой убитого им человека, зал взрывался восторженными аплодисментами, они с тонкой улыбкой давали понять, что главное впереди.

— Превосходно! — одобрил Бальдур, опуская лорнет на плюшевый карниз ложи. — Поистине великолепно. Я рад, дорогой метр, — он улыбнулся вошедшему в антракте Лайошу Кути, — что вы проявили настойчивость и все-таки вытащили меня на это представление.

— Честно говоря, в моем поступке больше своекорыстия, нежели альтруизма.

— В самом деле? — Бальдур беглым, но все запоминающим взглядом окинул публику и привычно отодвинулся в тень.

— Увы. Мне надоело слышать, будто я иезуитский шпион, и я, дабы разом пресечь сплетни, решил показаться рядом с вами открыто. Вы, надеюсь, не в претензии?

— Во всяком случае, вы избрали не худший метод, — уклончиво заметил провинциал. — Но, право, не стоило принимать к сердцу злонамеренную молву... О чем еще болтают в свете?

— Вас действительно интересует свет или наш больной артистический мир?

— Меня интересует все, где бьется живая жилка.

— Много говорят об аресте Штанчича, например, — пагловато ухмыльнулся Кути. — Вы, конечно, не знаете? — спросил он почти с вызовом.

— Почему, знаю, — спокойно ответил Бальдур. — Не в подробностях, конечно, а так, в общих чертах. И что же общество? Удивлено?

— Чему же тут удивляться? Коммунистические писания нашего малограмотного самородка ничем иным закончиться не могли. Непонятно лишь, почему одним все сходит с рук, а других власти наказывают, причем весьма сурово. Тайнственность, с которой был сопряжен арест Штанчича, слух о том, что ему до сих пор не предъявлено никаких конкретных обвинений, согласитесь, первирует публику.

— Соглашусь, — убежденно кивнул Бальдур. — Я вообще не сторонник подобных мер. Нельзя человека лишать свободы только за его убеждения, какими бы дикими они ни казались властям. Тем более, вы совершенно правы, не один Штанчич проповедует утопические идеи грядущего братства. Но я не знал, что ему не предъявили обвинений.

— Вот уже месяц сидит в Будайской крепости без передач и свиданий, а его даже к следователю ни разу не вызвали.

— И откуда тогда стало известно, если без свиданий?

— Разве вы сами не твердите постоянно, что тайны долго не живут?

— Вы правы.

— Вот и эта не выжила. Арестован Штанчич, а с какой целью — непонятно... Может, по наущению иезуитов? — съехидничал Кути, снисходительно поклонившись знакомым дамам. — Как вы понимаете, не я высказал подобное предположение. — Он выжидательно замолк.

— Ах, вот в чем дело! — Вопреки ожиданиям, Бальдур не обнаружил заметного волнения. — В подсобной выдумке столько же правды, сколько и в пущенной о вас клевете, — несколько двусмысленно высказался он. — Но меры властей, бесспорно, достойны сожаления. Нельзя действовать подобными методами в девятнадцатом веке. Я постараюсь добиться освобождения Штанчича, когда острота момента пройдет.

— И этим лишь подтвердите свою причастность к его аресту.

Бальдур бросил на Лайоша Кути мгновенный взгляд. Он явно недооценивал проницательность этого внешне чрезвычайно мягкого, склонного к рефлексии себялюбца. Определенно он что-то такое знал о неудавшейся сложной интриге против старого канцлера, припугавшей случайным витком Михая Штанчича.

Это было не только нежелательно, но и опасно. Тем более что попытка обмануть Кути голословными утверждениями явно провалилась. Этот человек слишком высоко ценил себя, чтобы удовольствоваться второстепенной ролью.

— Кого конкретно вы имели в виду, дорогой мстр, когда сетовали на то, что за общий, так сказать, грех расплачивается один Штанчич?

— Да мало ли... Нашего общего любимца Петефи, например. Разве он не проповедует революцию?

— Революция — это еще не коммунизм, антиавстрийские выпады — еще не призыв к республике, — четко обозначил грани Бальдур. — Но в принципе вы глубоко правы, — поспешил согласиться он, искусно направляя беседу. — Я заблуждался, питая некоторые надежды относительно этого человека. Он неисправим. Вместо авансов, которые мы, по наивной слабости, делали ему, следует пачать против него бескомпромиссную борьбу. Всеми дозволенными в литературе средствами.

— В литературе? — Красивое полное лицо Кути тронула насмешливая гримаса.

— К сожалению, власти не могут позволить себе роскошь посадить его вместе со Штанчичем, — иезуит ответил с грубоватой, тщательно отмеренной прямоотой. — Да это и не нужно.

— А что пужно?

— Ну, скажем, можно попробовать увеличить, существенно, я бы сказал, увеличить, наш фонд, предназначенный для поощрения патриотически настроенных литераторов... Таких, как господин Зерфи, например... — Бальдур выжидательно глянул на Кути, давая явно понять, что не только безоговорочно признает права масти того литератора на львиную долю этого тайного, пигде официально не зарегистрированного фонда, но даже готов повысить ставки.

— Патроцировать искусству весьма благородно, — заметил Кути после кажущегося раздумья. — Оно одинаково пуждается как в благожелательном меценатстве, так и в бдительной охране от низменных посягательств, — глубокомысленно изрек он и с истинно светской непринужденностью переключился на «Ричарда III». — Вы обратили внимание, как она выронила занесенный для удара кинжал? Как наклонилась с нерешительной дрожью над обручальным колечком, протянутым королем? Бесподобный момент...

Момент в самом деле был бесподобный. И Эгреши с его крохотными сатанинскими глазками и ухмыляющимся чувственным ртом превзошел самого себя.

— Скажите, любезный друг, — спросил Бальдур, сочтя добавки к молчаливому договору о взаимном сотрудничестве окопчательно согласованными, — у вас случайно нет близких друзей, имеющих владения или крупные деловые интересы где-нибудь в Хорватии?

— Нужно подумать.



— Может быть, военные, которым доводилось служить в Хорватии, Воеводине?

— Военные? — Кути озадаченно сморщил лоб и вдруг озарился обрадованной улыбкой. — Да вот хотя бы майор Зичи, видите, у прохода в первом ряду?

Бальдур ненароком, чтоб не привлечь внимания, навел лорнет на представительного офицера во втором ряду партера, беседовавшего с судейским чиновником.

— Я, правда, не знаю, служил ли он когда-либо в Хорватии, но у него там имение, в Загребском комитате, это точно. — Кути прищурился, припоминая. — Кажется, оно сильно пострадало во время недавних беспорядков, и граф лично ездил к тамошнему фёйшпану улаживать дело.

— Ну и как, уладил?

— Чего не знаю, того не знаю.

— Он нуждается в деньгах?

— А кто в них не нуждается? Особенно, если разгулявшаяся чернь разграбила и сожгла твое родовое гнездо.

— Вы близко знакомы с майором?

— Состоим в одном жокей-клубе, — не без удовольствия отвечал Лайош Кути, гордясь принадлежностью к закрытому, сугубо аристократическому заведению.

— Значит, он увлекается лошадьми, — задумчиво констатировал иезуит. — Так-так...

— Лошадьми, жепщинами, старинными италиями<sup>1</sup>, — пожал плечами Кути. — Всем прекрасным на свете. Майор в самом высоком смысле слова благороднейший человек.

— В лошадях я не разбираюсь, увлекаться жепщинами мне не позволяет обет, но по части италией я бы рискнул побеседовать с графом Зичи, — улыбнулся Бальдур так, что слова его можно было приять за шутку.

---

<sup>1</sup> Драгоценные и полудрагоценные камни с углубленной резьбой.

— Что ж, готов споспешествовать вашему знакомству,— ответил Кути, давно раскусивший манеру иезуитского патера. Свыкнувшись с тем, что интерес Бальдура, о чем бы ни шла речь, никогда не бывает праздным, он скоро научился в самом начале обрывать ненужную словесную канитель. И внутренне любовался своей проницательностью, тешился неким свободомыслием.

— Сделайте такую милость,— без особой теплоты принял предложение провинциал, сочтя его не совсем деликатным по форме.— Можно сразу же после спектакля или в любой удобный для вас день.

— Лучше сразу,— правильно смекнул Кути.— Зачем упускать удобный случай?

Взаимное представление состоялось, как и было намечено, в тот же вечер. Отец-провинциал, любезно предложивший майору место в экипаже, вскоре увлек нового знакомого захватывающим рассказом о тайне пропавших камней Гонзаго и обещанием продемонстрировать самоцветный букет работы мастера Михаэля Гроссера.

Неприпужденно выполнив свою посредническую миссию, Кути отправился с букетом чайных роз в уборную Эгреши. Он самодовольно поправил пышный, заколотый черной жемчужиной галстук, готовясь явить себя сегодняшнему кумиру, как вдруг услышал голос за дверью, показавшийся очень знакомым.

Быстро оглядевшись, не видит ли кто, Кути приблизил ухо к двери, а затем заглянул и в замочную скважину. Так и есть, у Эгреши сидел этот несносный выскочка Шандор Петефи!

— Можешь не сомневаться, Габор,— убеждал актера поэт.— Ты сыграл гениально. Много лучше, чем в первый раз.

— Но ты и тогда говорил то же! — возразил Эгреши, видимо, не совсем довольный своей игрой.— Мне не нужны лживые комплименты.

— Эту сцену и я не сумел бы сыграть лучше, — с полной убежденностью заявил поэт. — Потрясающая сцена! Шекспир написал ее, вероятно, в состоянии опьянения, с трезвой головой и он не посмел бы за нее взяться.

«Наглец! — стиснув зубы, прошептал Лайош Кути. — Говорить о Шекспире словно о каком-то кабацком собутельнике!» Он с отвращением швырнул букет в угол и поспешил уйти.

### 33

В день святого Георгия, или Дьёрдя, на местный лад, праздновали первый выгон скота на пастбище. Прежде чем вывести животных из стойла, хозяйка бросала наземь железную цепь, а за порог осторожно укладывала куриное яичко, чтобы наливались твердостью и силой кости, чтоб округлялась утроба.

Во многих деревнях в Георгиев день нанимали пастухов, окуривали крестьянские дворы очистительным горьким дымом. Древние венгры буйным праздником, конными играми отмечали переход с зимних пастбищ на летние, тешили духов земли и неба, окропив на четыре стороны ветер пенным хмельным молоком. Но стали желанные гости гостями незваными. Осевшие в междуречье Дуная и Тисы венгерские племена забыли древних помощников, стали бояться таинственной мощи невидимых сил, усматривая в ней козни искуателя. Безгрешная радость и упования, с которыми прежде встречали праздник Георгия, сменились опасениями, неясной тревогой. Широко распространилось поверье, что в этот день особенно злокозненной становилась нечистая сила.

Подобная точка зрения получила своеобразное юридическое подкрепление в протоколах многочисленных судебных процессов над ведьмами, заканчивавшихся, как пра-

вило, «веселым» костром. Согласно материалам процесса, происходившего уже в восемнадцатом веке в Сегеде, «одна из ведьм в этот день продала дождь, и в том году в той области была сильная засуха». Если дождь действительно можно «продать», словно какую-нибудь краденую кобылу, то нечего говорить уже о таких типично ведьминых проделках, как заговор трав, коровьего вымени и прочих шалостях. Такое, надо полагать, творилось чуть ли не повсеместно. Вот почему и возник на мадьярской земле обычай обходить усадьбы в канун святого Дьёрдя с колючим прутиком в руках. Если же эта не слишком обременительная церемония по какой-то причине выполнена быть не могла, в забор просто втыкали березовую ветку.

Именно так и поступила, чтоб зло не проникло в дом, окруженный роскошным садом, суеверная служанка, к тому же словачка, живущая в добром семействе Терей, хотя до праздника оставалось верных три недели. Мадемуазель Мари, просвещенная девица, разумеется, даже внимания не обратила на какие-то веточки, просунутые сквозь прутья ограды. Ей вообще было в то утро не до пустяков. Она буквально купалась в кипении страстей, не своих, к сожалению, но лучшей подруги.

Уведя, не без умысла, Юлию на ту самую скамью под абрикосом, Мари молча протянула ей только что полученное по почте издание.

В напряженном молчании Юлия долго перелистывала книгу, делала вид, что рассматривает колер обреза, любитесь изящным тиснением кожаного, пахнущего клейстером корешка. Слово она не различала. Стихотворные строчки прыгали перед глазами. Да и что нового могли сказать ей в эту минуту стихи? Зато портрет, оберсгаемая папиросной клеечкой плотная гравюра, на котором поэт был изображен с вдохновенно поднятой головой и, конечно, с распахнутым воротом, произвел на юную Сендрей неизгладимое впечатление. Ее взволновал и даже

ошеломил не столько образ, на редкость привлекательный и романтический, сколько сам факт: портрет, напечатанный в книге, был неопровержимым доказательством славы. Самой ослепительной, которая только есть на земле. По крайней мере, так казалось Юлии. Она была поражена, причем поражена неприятно, и думала о себе как о последней дуре. Впрочем, и лик, вышедший из-под вдохновенного резца Барабаша, вначале почти незаметно, но, чем далее, тем сильнее, тоже оказывал разъедающее воздействие. Вскоре поэт уже виделся ей именно таким, как был изображен на рисунке, а реальный, запомнившийся образ его растворился, померк.

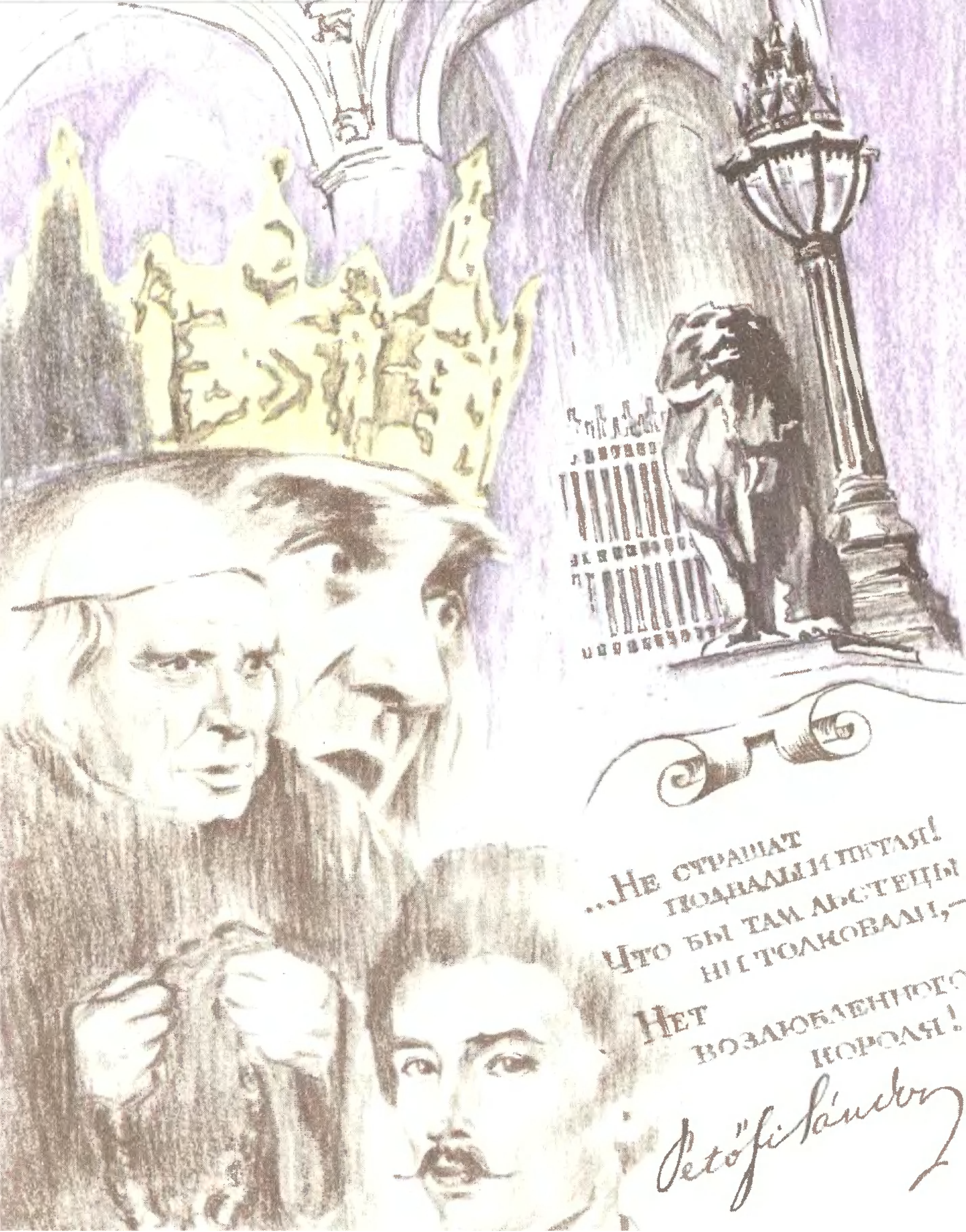
Мари следила за подругой, чьи внутренние борения молниеносно отражались на лице, с анатомическим любопытством и несколько ревнивым сочувствием.

— Больше он ничего не написал? — спросила наконец Юлия, терзая матерчатый розан на корсаже новельного перкалевого платица с прихотливой отстрочкой.

— Только эта записка, — оживленно зашебетала Мари и поспешила вновь прочитать короткие строки: — «Уважаемая барышня! Прошу прощения за беспокойство, но я не нашел лучшего и более верного пути для передачи этой книги в руки барышни Юлии С. Прошу милость вашу сообразовывать передать это ей и одновременно пожелать от моего имени очень-очень счастливой семейной жизни, ибо я слышал, что она выходит замуж. Целую вашу ручку, поручая себя в ваше любезное благорасположение, честь имею быть покорным слугой уважаемой барышни»... Зачем, ну зачем только ты распустила этот ужасный слух? — сладостно зажмурившись, спросила подруга. — Ты же сама говорила, что барон тебе ну писколечко не нравится.

— Никаких слухов я не распускала. Просто его друзья дурно истолковали мои слова и поспешили изложить их в письме.





...НЕ СТУШАЮТ  
ПОДВАЛЫ ПИТАЯ!  
ЧТО БЫ ТАМ ЛЬСТЕЦЫ  
НИ ТОЛКОВАЛИ,  
НЕТ  
ВОЗЛЮБЛЕННОГО  
КОРОЛЯ!

*Peto'si l'andov*





— Но ты могла бы...

— Не могла. Рарá категорически воспретил мне вести переписку. Ты же знаешь.

— При желании все можно исправить... Однако я слышала,— Мари игриво прижалась щекой к теплой коре,— будто он тоже намерен жениться. Тебе ничего не известно?

— Нет. А тебе?

— Мне? — Мари Терей удивленно раскрыла глаза.

— Ты же сама сказала, что слышала...

— Ах это!.. Да, кто-то мне говорил, что он собирался присмотреть для себя подходящую крестьянскую девушку. Конечно, кунку, которая была бы достойной парой пародному поэту. Но это только так, разговоры...

— Разговоры тоже рождаются не на пустом месте.

— Прости меня, но ты совсем не умеешь разбираться в людях. Еще недавно ты твердила мне, что первый поэт Венгрии наш милый Ришко, а первый поэт — вот кто.— Она мягко высвободила книгу из рук Юлии, которая все еще не могла собраться с мыслями.— «И вырежу я сердце потому, что лишь мученьями обязан я ему»,— выхватила первую попавшуюся строчку.— Как это прекрасно!

— Нет, моя милая,— Юлия досадливо смахнула упавшую на лоб небрежную прядку,— в людях я разбираюсь, но ты, должно быть, права, я совершенно не разбираюсь в поэтах.

— Прости, но я не хотела тебя обидеть,— прошептала Мари, почувствовав вызов в ответе подруги.

— Что же мне делать? — Юлия сжала обтянутые белой перчаткой пальчики.— Что делать?.. Знаешь, Мари,— сказала она решительно,— поступай как сочтешь пужным, только бы мне снова увидеться с ним! Мари, ангел мой, моя судьба в твоих руках!

— Чем я могу помочь тебе, дорогая? Ведь ты же знаешь, я всей душой!



— Мне пужно, обязательно нужно поскорее ему написать. Я даже точно знаю, что именно, хоть моя любовь так безгранична, что ее нельзя выразить словами.

— За чем же дело стало? Пойдем ко мне в комнату, и я дам тебе все необходимое.

— Нарушить запрет отца? Нет, невозможно...

— Тогда попроси кого-нибудь.

— Но кого?

— Хотя бы Кароя Шаша! Знаешь, такой представительный молодой человек, что любит жилеты фазаньих расцветок? По-моему, он даже служит у вас в конторе или где-то там еще...

— Разве он переписывается с Шандором?

— По-моему, да.

— Ты золото! — Вскочив со скамьи, Юлия чмокнула подругу и забрала у нее драгоценный томик.

На следующее утро она уже подстерегала молодого служащего в нижнем саду Эрдёдского замка.

— Погуляем? — смело предложила, как только увидела, что он вышел немного размяться на весенней травке. — Чудесный день.

— День и правда загляденье! — Карой Шаш с наслаждением потянул еще прохладный воздух, напоенный ароматом цветения. — Однако ж, к великому моему сожалению, безумно много работы, мадемуазель.

— И чем же вы так заняты? — Тесная юбка заставляла Юлию переступать маленькими шажками, и она то отставала, то вырывалась вперед.

— Я должен приготовить несколько деловых писем и кое-кому чиркнуть несколько строк от себя.

— Разумеется, женщине?

— Не обязательно, но и женщине тоже.

— А кому еще? — Юлия не сознавала, что в своем любопытстве давно переступила дозволенную грань. Одержимая одной мыслью, она даже не подумала о том,

что подобная настойчивость может показаться кому-нибудь дерзким, почти неприличным кокетством.

— Что же вы не отвечаете? — понукала она неразговорчивого спутника.

— Другьям, и ему в том числе, Шандору Петефи, — ответил, глядя в сторону, Карой Шаш. Он все видел и понимал. Ему было жаль и эту издерганную, очевидно, искренне переживавшую барышню, и самого поэта, чье неумное беспокойство отчетливо ощущалось в письмах, проглядывало между строк. Но жалость преходяща, а жизнь длинна. Не пара эта девчонка Шандору. Не такая ему нужна жена. Он — совесть нации и ее надежда, она — таких в любом венгерском городе тьма.

— Не сердитесь на меня. — Юлия взволнованно заглянула Шашу в глаза. — Но я рискую просить вас об одной услуге... О, совершеннейший пустяк для вас, а для меня необыкновенно важно.

— Слушаю вас, мадемуазель Юлия. — Дойдя до искусственного озера, он остановился и невольно залюбовался низко летящим лебедем, взрезавшим перепончатыми красными лапами неподвижную воду. Задорно хлопали крылья и бежал далеко расходящийся клин, качая прошлогодние травы.

— Вы не могли бы приписать к своему письму несколько слов от меня? — робко взмолилась она. — Всего только два слова или даже вовсе одно?

— Сделаем лучше так. — Шаш не мог отказать ей в таком действительно пустяке. Да и зачем? — Я отдам вам свое письмо, с тем чтобы вы сами приписали все, что сочтете необходимым, и вернули мне его запечатанным, — сказал он, старательно избегая ее умоляющих глаз. — Оно будет отправлено с первой же почтой.

— Спасибо, — просияла Юлия Сендреи. — Вы отнеслись ко мне с исключительным благородством. — Она уже совершенно точно знала, что ей следует написать.

Все эти долгие, наполненные неуверенностью и изнурительным ожиданием месяцы Петефи на глазах Венгрии, на глазах целого мира буквально засыпал ее зашифрованными, ей одной понятными посланиями, а она молчала, чего-то ждала, не отвечала ему.

Как только Шаш отдал ей свое незапечатанное послание, она вскарабкалась по винтовой лестнице на самую верхушку башни, где чувствовала себя в относительной безопасности, и дрожащей рукой начертала:

«Стократно — Юлия».

Это был ответ на его стихи в «Элеткепек».

Юлия Сендреи не знала или, вернее, предпочитала не знать, что Мари уже послала поэту маленькую, сугубо приватную записку:

«Адресованную мне книгу,— писала она, обливаясь умиленными слезами,— я получила и переслала Юлии... Мы с Юлией так дружны, что читаем в душах друг у друга, мы делимся с ней своими чувствами, и поэтому я знаю, как горячо вас любит Юлия... Вы сами должны наладить то, что испортили своим долгим отсутствием, приезжайте как можно скорее. Знаете ли вы, почему Юлия не отвечает на ваши письма? Потому, что она обещала это своему отцу... Можете себе представить, как она страдает... Но любовь ее сильна, и не такие еще испытания может она выдержать. Никому не под силу оторвать друг от друга горячо любящие сердца...».

Что знала она о любви, столь же юная воспитанница госпожи Танцер? Что знали о любви они обе, Юлия и Мари?

Эталоном был роман Авроры Дюдевап «Графиня Рудольштадт», пишущей под псевдонимом Жорж Санд.

Сама Аврора переживала минутное увлечение Ференцом Листом. Век играл душами, как хотел, не отличаясь этим существенно от минувших времен и грядущих эпох. Танцевали марионетки. Звенел колокольчик.

Едва пропали за поворотом мазанки пропахших салом дебреценских окраин, земля разгладилась и распахнулись белые, прокаленные солнцем пески. Уныло поскрипывала ось запряженной мулами двуколки. Казалось, что невидимым приводом она связана с несобъятным, медленно покачивающимся горизонтом. Ветер завивался мутными вихрями в выцветшей синеве, сдувал песок с невысокой гряды, поросшей жесткими травами.

По всей Венгрии не сыскать более однообразной дороги, чем этот утопающий в пыли тракт между Дебреценом и Надь-Кароем. Петефи слишком хорошо его знал, чтобы надеяться на спасение от вязкой дорожной скуки.

«Одно и то же,— думал поэт, ощущая на зубах едкую белую глину, которую не сумели прибить даже весенние ливни.— С утра до вечера одно и то же. Время растянулось, как слоеное тесто, и едва удастся стряхнуть сонную одурь одного бесконечного часа, как следующий уже стоит перед тобой с такою же скучно-нравоучительной миной».

Но глаза не поддавались унынию, и тело не смирялось с тоской. Хотелось выскочить из этой бескрайней пустыни, воспарить над дорогой, ликующей, оперенной огнями стрелой пронзить мироздание.

«Славная, славная девушка! — благодарно шептал Петефи, нетерпеливо постукивая подошвой.— Чтобы изобразить эту душу во всем ее блеске, нужно обмакнуть перо в солнце. Такую и искал я с самой юности. Приближаясь к каждой женщине, склоняясь ниц и боготворя, думал, что это она. И только стоя уже на коленях, замечал, что ошибся, что вместо истинного божества прославил идола. Я поднимался, шел дальше, все меньше надеясь на чудо. Лишь с той минуты, как я увидел ее в том благословенном саду, переменилась моя обманчивая судьба. Лишь

тогда возникли миллионы миров в бесконечном пространстве, и любовь родилась в моем сердце...».

Сколь мало нужно было ему, чтоб окрылиться, воспрянуть, со слезами благодарного счастья почувствовать себя вечным должником.

Однако, чем меньше миль оставалось до Надь-Кароя, тем чаще благодарное умиление сменялось настороженной тревогой. К объяснению с господином Игнацем Сендреи поэт готовился словно к решительной битве. В сущности, так оно и было, ибо на письмо, в котором Петефи просил руки Юлии, управляющий Эрдедским замком ответил категорическим отказом.

Но письмо письмом, а живое слово тоже немало значит. Петефи не терял надежды произвести благоприятное впечатление на непреклонного отца, смягчить его суровость пламенным красноречием. Удача окрыляет. Счастливые вести из Надь-Кароя и неожиданный успех «Полного собрания» преисполнили поэта уверенностью в благополучном разрешении. У него были веские основания взирать на будущее с известным оптимизмом.

Три тысячи экземпляров первого издания разошлись в книжной лавке Эмиха со сказочной быстротой. Мاستный критик Пульски приветствовал выход книги восторженной рецензией, ему вторил знаменитый Этвёш в «Пешти хирлап», самой влиятельной и популярной газете страны. Злобные голоса недоброжелателей и клеветников потонули в приветственном хоре. Ни Вёрёшмарти, которому посвятил свой сборник верный ученик, ни даже Эгреци не видели такого всеобщего ликования, не встречали таких благодарных оваций.

В непривычно многолюдный, расцвеченный флагами и праздничными лентами Эрдед, где шумела, сверкала, неистовствовала в своем простодушном веселье всевенгерская ярмарка, Петефи въехал как раз накануне пасхи. Во дворах дружно красили яйца, мальчишки стреляли

из самодельных луков в намалеванного на стене петуха, подвыпившие парни с хохотом обливали из ведер визжащих девок. Поэту почудилось, что он переместился совсем в другой мир. Как непохож был скромный, празднично принаряженный городок на грохочущий улей Пешта, с его конками, несущимися по запруженным улицам Ури и Хатвани к забитому каретами проспекту Керепеши, с его страстями и бесконечной борьбой. Запряженная тягловыми лошадьми майтенского старосты бричка остановилась перед постоянным двором, окруженным телегами. Поправив шапокляк и подхватив дорожную сумку, Петефи поспешил нанять комнату, чтобы засветло попасть в замок.

Солнце еще висело над посиневшими колокольнями далекого Сатмар-Немети, когда он вошел в сумрачную арку ворот. Повеяло сыростью и мгновенной прохладой. Потом снова ударил в глаза золотой предвечерний свет, и пахнуло щемящим позабытым теплом. Все помнил, все узнавал поэт: сад за поросшей бурьяном стеной и каждое дерево в нем, грядки с ранними овощами, пасеку под сенью побеленных яблонь и слив. А вот и дорожка, ведущая к большому, в четыре хольда, озеру, и камыши, над которыми реют стрекозы.

— Я благословляю не только деревья этого сада, но и человека, который их посадил, — сказал поэт.

Игнац Сендреи принял его в конторе, где повсюду стояли блюда, в которых мокла отрава для мух. Застарелые чернильные пятна покрывали бюро и полки, на которых вместе с сельскохозяйственными проспектами валялись годовые пропыленные подшивки газет.

— Что ж, прошу, — указал управляющий на дальний стул.

Он уже знал, что господин, устроивший в прошлом году скандал и поносивший последними словами графа Каройи, владельца замка, прибыл в Эрдёд требовать в

жены его, Игнаца Сендреи, единственное дитя, такую наивную, такую неопытную Юльчу.

Что ж, поглядим, как поведет себя этот ловелас и пропойца, этот охотник за приданым и прирожденный бунтовщик. У него даже места постоянного нет. Прослужил без года неделю в каком-то журнальчике и бросил, вернее, выгнали, потому что ни один порядочный предприниматель не потерпит на службе безобразия и вольнодумств. Нет, он, Сендреи, не против поэзии. Имея солидное положение, счет в банке, недвижимое имущество, а еще лучше — поместье, отчего бы и не сочинять на досуге стишки? Но превращать стихоплетство в самоцель способен только заведомый вертопрах.

— Итак, сударь, что вам угодно? — спросил господин Сендреи, водружая на нос очки.

— Я приехал просить руки вашей дочери.

— Я уже имел честь письменно отказать вам в этом.

— Но Юлия...

— А что Юлия? — запальчиво перебил Сендреи, ударяя рукой по столу. — Я уже все решил. Непонятно, на что вы надеетесь, сударь.

— Я не знал, что в наше время с дочерью можно обращаться, как с крепостной, — не сдержался поэт.

— Да как вы смеете? — Управляющий угрожающе привстал, но тут же плюхнулся обратно на заботливо подложенную на сиденье подушку. — Оставьте меня.

— Я готов немедленно убраться, но предупреждаю, сударь, что мне придется увести Юлию с собой. — Петефи окончательно потерял сдержанность и перешел к угрозам. Все благие намерения вести себя мудро, терпеливо и осмотрительно напрочь вылетели из головы.

— Вон! — Сендреи повелительно указал на дверь. — Впрочем, постойте, — он вернул поэта усталым мановением руки и уставился на него тяжелым, изучающим взглядом.

Настало время пустить в ход испытанное средство, решил управляющий после внимательного обзора. Сейчас он сорвет с молодчика романтическую маску. Пусть идеалистка и сумасбродка дочь узнает, каков на деле ее возвышенный избранник. Ведь можно держать пари на тысячу форинтов, что парень сидит на мели и ни о чем другом, кроме приданого, даже не помышляет.

— Вы говорите, что любите мою дочь? — Сендреи даже заставил себя приветливо улыбнуться.

— Больше жизни! — воспламенился надеждой поэт.

— Пусть будет по-вашему, — Сендреи сделал вид, что сдался. — Бедной Юлии придется выбирать между вами и мной, ее отцом. Однако имейте в виду, господин... э... Петефи, что я не дам за ней и медного крейцера!

— Вы не перемените вашего решения, сударь? — побледнев от волнения, спросил поэт. — Нет? — Его голос дрогнул.

«Вот оно, — торжествуя, подумал эрдёдский управляющий. — Задело за живое! Сейчас я выведу тебя на чистую воду, господин рифмоплет!»

— Я никогда не меняю своих решений, да будет вам это известно, господин Петефи. Так будет и на сей раз, даю слово дворянина. — Игнац Сендреи горделиво выпрямился.

— Спасибо, сударь! — Петефи сорвался с места и даже попытался обнять изрядно шокированного управляющего. — Вы подарили мне жизнь! Кроме Юлии, мне ничего не нужно, и ей, я знаю, нужен один лишь я.

«Бедняжка Юльча, — подумал управляющий, провожая счастливого жениха смятенным, бегающим взором, — дело, оказывается, гораздо хуже, чем я предполагал. Парень просто-напросто сумасшедший. Одно слово — поэт».

А Петефи уже бежал сломя голову, прямым через сад, вспугивая пыльных кузнечиков, разлетающихся из-под его ног.



«Свершилась огромная перемена.— Он все еще не верил себе.— Я не думал, что такое может произойти даже за целое столетие. Господи, господи! Я счастлив! Навеки!»

Венчались восьмого сентября, ровно через год после знакомства. В светлый день девы Марии, на исходе мадьярского междуженствия, начало которого празднуют на усение. Богоматерь, ее забытая языческая предшественница, а заодно и щедрые духи пшеничного поля сулили молодым свое высокое покровительство и радостное прибавление семейства.

Церемония, обставленная по всем канонам феодальной романтики, проходила в капелле Эрдёдского замка, где витали духи героизма и предательства. Во всяком случае ветры, залетавшие в выбитое грозой окно, обдавали то холодом, то вязким томительным зноем. Желтый лист, запесенный порывом, осенний предвестник, словно кораблик, кружился в чаше со святой водой, сделанной из испалинской раковины тридакны. Во всем ощущалась странная несопоставимость, случайность: в смешанном протестантско-католическом обряде, в этой вмурованной в стену раковине, неведомыми судьбами попавшей в Венгрию, далекую от морей, в нарядах брачующихся.

Невеста была, как полагается, в белой фате до пят, жених — в шелковой черной аттиле, но без галстука, который наотрез отказался надеть даже на свадьбу. Обоим было смешно, они переглядывались, сдерживая улыбку, стараясь не смотреть на госпожу Сендреи, с убитым видом сидевшую возле исповедальных кабинок.

Сам управляющий валялся на оттоманке, запершись у себя в кабинете, и курил сигару за сигарой. Призывая кары небесные на голову обретенного зятя, поминутно вскакивал и подбегал к окну глянуть на дожидавшуюся молодых коляску. Когда дочь, переменив фату и миртовый венок на дорожный костюм, уже сидела в экипаже, господин Сендреи мучительно застонал, раздавив в ку-

лаке очередную сигару. Нет, он не даст благословения и даже не спустится попрощаться. Пусть знает, неблагодарная, что навеки разбила отцовское сердце...

Шандор Телеки, дикий граф, уступивший молодым свою вотчину на время медового месяца, шумно расцеловал невесту и, отведя Петефи в сторону, тихо сказал:

— Замок в полном твоём распоряжении, друже. Я убрал всех слуг, как ты просил.

— Спасибо тебе за все! Если бы не ты...

— Ах, пустое, пустое,— Телеки хитро подмигнул.— Я только не знал, как поступить с Анико?..

— Ее в первую очередь! — взволновался поэт, бросив взгляд на молодую жену, принимавшую последние наставления родственников и домочадцев.

Они еще раз крепко, от души расцеловались. Петефи вскочил на подножку, счастливо улыбнулся и, обняв жену, в последний раз оглянулся на замок.

Он чувствовал себя победителем. В его лице куруцы взяли реванш.

Ямщик потрянул поводьями, чмокнул на лошадей.

— Если что будет нужно, пиши! — крикнул вдогонку Телеки.

— Верный, верный друг! — взволнованно прошептал Петефи.— Подумать только,— он наклонился к Юлии,— целых шесть недель мы никого не будем видеть! Вот уж подарок, так подарок. Прямо не верится!

— Не слишком ли долго для медового месяца? — с тонкой улыбкой спросила она.— Не соскучишься?

— Никогда! Мой медовый месяц продлится до самой могилы...— Петефи безмятежно вздохнул и прищурился на яркое, еще совсем летнее солнце, поднимавшееся из-за далеких гор, синих, как волны.

Счастливое сердце было глухо к пророчествам, и слова, слетевшие походя с языка, не пробудили болезненных струн. Но извечная близость любви и смерти, часовня

замка, средневековый обряд... Все уже слагалось таинственным образом, будило в памяти уснувшие видения.

Каменные рыцари, сложив на груди руки, стерегли надгробья в готических церквах. Солнце, бьющее в витражи, рядило их в цветные плащи Арлекина. «Ах, если ты бросишь ходить в покрывале, повесь мне, как флаг, на могилу свой креп. Я встану из гроба за вдовой вуалью и ночью тайком унесу ее в склеп. И слезы свои утирать буду ею, я рану сердечную ею стяну, короткую память твою пожалею, но лихом и тут тебя не помяну».

Зеленые, пронизанные лучами своды смыкались над пыльной дорогой. Убаюкивающе шумела листва.

Колесо отлетело, когда этого меньше всего ожидали, на водопое в деревне Мистот.

— Видимо, не напрасно я поэт кабаков! — Петефи с досадой хлопнул себя по колену. — Придется ночевать на постоялом дворе. Графская спальня не для нас с тобой, дорогая...

### 35

В лучезарно-благоуханной зале венской оперы заливались миланские тенора, а в Хофбурге что ни вечер гремели оркестры. Старый, наполненный огорчениями год, слава богу, без особых потрясений закончился, и хотелось верить, что европейский кризис, голодные бунты, грызня партий и недород навсегда отошли в прошлое.

Выступив неожиданно в непривычной для себя роли сивиллы, австрийский канцлер писал:

«Фридриху Вильгельму Четвертому, королю Пруссии  
11 января 1848 года, Вена

Ваше величество!.. Я не ошибусь, если скажу, что 1848 год ярко осветит все то, что до этого было покрыто

туманом, и тогда я, несмотря на мой обскурантизм, стапу ратовать за свет, так что, в конце концов, новый год будет мне более приятен, нежели минувший, в отношении которого я не в состоянии воскресить никаких добрых воспоминаний...

Ваш покорный слуга

*Меттерних»*

Сменивший Священную римскую империю Германский союз — опора одряхлевшей Европы. На Вене и на Потсдаме покоится союз тридцати девяти немецких отечеств. Отсюда и обмен новогодними пожеланиями, общие светлые упования.

Странно, однако, что в письме от одиннадцатого дня января князь Клеменс ждет для себя в будущем какого-то особенного света, если еще шестого в Мессине грянула революция, а не успело письмо дойти до адресата, двенадцатого числа восстание перекинулось на Палермо, охватив всю Сицилию.

Впрочем, что такое Сицилия? Полудикий, наполненный тайными преступниками остров. Маленький пожар можно погасить еще до того, как пламя начнет лизать Апеннины. По ту сторону Мессинского пролива относительно спокойно.

Австрийские гарнизоны всюду: в Милане, Вероне, Ферраре, Венеции. Габсбургское влияние распространяется на Модену, Парму, Болонью. Где не блещит на солнце оружие, успешно орудуют в тени тайные агенты Вены и шпионы иезуитского ордена. Одним словом, несмотря на Сицилию и с поправкой на бурный итальянский темперамент, на полуострове царит спокойствие. В казармах, где льется дешевое кьянти, слышны венгерские и кроатские песни, рекрутов с По уводят служить на Дунай, Мораву и Тису.

Но новый год принес новые неожиданности. Сицилианская зараза поползла по Апеннинскому сапогу. Весь

Милан, чья опера услаждала Вену, вдруг прекратил курить на улицах. Самые застарелые любители табака, поджуженные карбонариями, оставляли дома сигары и трубки. Кто же осмеливается пускать дым? Конечно, габсбургские наймиты, ненавистные австрияки! Пришлось приставить к таким заядлым курильщикам секретных агентов, охраняющих от расправы разгневанной публики, все припимающей близко к сердцу. Итальянцев, конечно, не переделаешь, но, к сожалению, и сами габсбургские ландскнехты проявили себя полными идиотами. Утратив присущий им юмор, они третьего дня все как один вышли на улицы с вонючими сигарами в зубах: офицеры, солдаты, шпионы. Переходя из траттории в тратторию, из кафе в кафе, нарочито пускали дым в лицо дамам и мирным обывателям, решившимся на столь невинный и даже полезный для всеобщего здоровья протест. Издевательски хохотали, окуривая встречных хорошеньких синьорин. Бедные парни из Тироля или Венгерского Альфёльда, оторванные от семей и дичающие за стенами форта, просто развлекались, получив от начальства такое смешное задание. Они совсем не хотели ничего плохого.

В результате двадцать миланцев предстали перед господом, а шестьдесят окровавленных тел оттащили в монастыри и больницы. Среди убитых оказался и семидесятилетний советник миланского апелляционного суда. Маганнини, поднятый на штыки только за то, что вступился за мальчишку, которого избивал пьяный австрийский капрал.

Соборный священник Опицони, несмотря на преклонный возраст — восемьдесят пять лет! — велел отвести себя к вице-королю.

— Ваше высочество, — он поднял дрожащую руку, — за мою долгую жизнь я видел много вторжений: русское, французское, австрийское, но никогда я не видел, чтобы резали безоружных граждан. Я должен довести до све-

дения вашего высочества об этих злодействах как христианин, как брат, как священник.

Вице-король, австрийский эрцгерцог Райнер, попытался успокоить народ неопределенными обещаниями.

— Ход государственного правления, — увещевал он, — нуждается в прогрессивных улучшениях. Но буйные манифестации могут только замедлить исполнение высших решений. Я не буду в силах довести до сведения его императорского величества желания народа, которые не имеют должной поддержки в умеренном образе действий.

Меттерних, начинавший утро с чтения донесений, не мог не ознакомиться с прокламацией Райнера, но отнесся к курительной эпопее как к забавному пустяку.

Его державным голосом, но со своими особенными интонациями, эрцгерцогу ответил либерал Фикельмон:

— Я имею верное средство заставить добрых миланцев забыть Пия Девятого, их идола и все желания независимости, вкравшиеся в их детские манифестации. Приближается масленица, я им дам грандиозный спектакль в La Scala.

Сам он получал живейшее удовольствие от прославленной оперы и верил в облагораживающее, смягчающее влияние святого искусства на души людей.

Австрийский фельдмаршал Радецкий выразился более твердо:

— Солдаты, я горжусь, повторяя слова его императорского величества: «Преступные усилия фанатизма сокрушатся о вашу верность и мужество, как стекло о камень». Я еще крепко держу шпагу, которой владел во многих сражениях в продолжение шестидесяти лет. Я употребляю ее для водворения порядка в стране, еще недавно благоденствовавшей, но находящейся теперь в опасности. Солдаты. — Тут он прослезился и со свистом рассек воздух клинком. — Ваш император полагается на вас! Ваш седой главнокомандующий надеется на вас! Этого до-

вольно! Кто помешает мне развернуть знамя с двуглавым орлом? Крылья этого орла еще не подрезаны.

В этом храбрый воин был, безусловно, прав. Крылья были пока не подрезаны.

Забили барабаны, офицеры вскинули пальцы к киверам, знаменщики развернули бархатные полотнища.

Потом проворные капралы, как обычно, принялись раздавать сигары. По пять штук на человека. Некурящие отроки из Моравии украдкой обменивали их на сахар.

Семнадцатого марта, на рассвете, эрцгерцог Райнер тайно бежал в Верону, а на следующее утро толпы миланцев заполнили площадь перед кафедральным собором, чьи резные готические арки и контрфорсы казались белыми, как слоновая кость. Рабочие, студенты, мелкие лавочники и городская голытьба срывали со стен прокламации, в которых император обещал пойти на «разумные» уступки. Миланцы не забыли пролитой крови. Уличные ораторы требовали немедленного освобождения политических узников, отмены смертной казни и вывода австрийских войск. Под градом камней пали охранявшие губернаторский дворец венгерские гренадеры, других часовых разогнали студенты. Но поистине всенародным восстание сделалось после расстрела демонстрантов у городской ратуши. Женщины, мальчишки и даже согбенные старики бросились на поиски оружия, дружно принялись разбирать мостовые. После пяти дней баррикадных боев Радецкий обрушил на город всю мощь артиллерии и под грохот разрывов, под ослепляющие огни ночных пожаров покинул город.

Мрачно гудели колокола, из замка, где перед отступлением тирольские стрелки и кроатские драгуны сожгли своих мертвых, несло гарью и смрадом. Вскочив на свою знаменитую белую лошадь, фельдмаршал обронил шпагу, которой еще недавно воинственно размахивал перед



построенным в каре гарнизоном. Зеленые перья его треуголки были черными от копоти.

На юге, в королевстве Обеих Сицилий, уже вовсю палили пушки. Осажденный восставшими, развернувшими трехцветное знамя итальянской свободы, королевский наместник герцог Майо послал из Палермо в Неаполь пакетбот с просьбой о помощи. На военные таланты генералов и огневую мощь форта Кастелламаре он не надеялся. В тот день, когда Радецкий зачитывал свой приказ, отряд из пяти тысяч солдат в сопровождении шести батарей и девяти паровых фрегатов высадился в Палермо.

Но ни артобстрел с суши и с моря, ни прицельная ружейная пальба не смогли остановить восставших. Королевские твердыни падали одна за другой. Восемнадцатого король Обеих Сицилий Фердинанд Второй соглашается на некоторые реформы. Но поздно, поздно. Восставшие уже приступом взяли монастырь Новиццато, банк и королевский дворец, обезоружены гарнизоны в других городах.

В следующие дни поступили известия, что движение захватывает Калабрию, что лагерь инсургентов в Салернской провинции насчитывает уже более десяти тысяч бойцов, которые готовы со дня на день двинуться на Неаполь.

И вот уже — это случилось двадцать седьмого — огромная масса неаполитанцев заполнила Толедскую улицу. Люди плясали, обнимались, нарядные дамы и женщины из престолярства развернули над морем голов трехцветные трепещущие платки. Требования толпы, настроенной еще весьма мирно, были противоречивы.

— Да здравствует Пий Девятый! — кричали одни.

— Да здравствует конституция! — вторили им другие.

— Да здравствует король! — выкрикивали благонамеренные.

— Да здравствует свобода! — неистовствовали карбо-нарии-горлопаны.

И все-таки это была революция. Когда пошла в атаку конница и несколько всадников поскользнулись на каменных плитах, хохочущие манифестанты подняли их, посадили в седла и, проводив дружелюбным шлепком по заду, принялись скандировать:

— Кон-сти-ту-ция! Кон-сти-ту-ция! Кон-сти...

Армия в растерянности. Король колеблется. Но время, подстегнутое время новой долгожданной эпохи, не терпит. И сообразуясь с его стремительным полетом, Фердинанд Второй выходит на улицу брататься с народом. Всеобщий восторг, слезы радости, надежды, надежды...

Конституция, спешно подготовленная, отпечатанная, подписанная королем и контрассигнованная министрами, десятого февраля вступает в силу.

Не понимая до конца, что происходит, деспотичный и капризный король видит двигательную причину событий не в народном волеизъявлении, а в интригах либерала папы и Карла-Альберта, сардинского короля.

— Они меня толкают, ну и я их толкну, — мстительно заметил он, подписываясь под самыми радикальными из реформ. — Пусть-ка теперь покрутятся.

Карлу-Альберту действительно пришлось покрутиться. Одно дело — робкие реформы, которые он, подгоняемый честолюбием, решился предоставить своим подданным, иное — конституция, ограничивающая самодержавное право. К подобным уступкам пьемонтский монарх, сумевший снискать некоторую популярность, еще не был склонен.

Седьмого января он отклонил требование демонстрантов, собравшихся на улицах Генуи, об изгнании иезуитов, а несколько дней спустя отказался принять депутацию торгового сословия города Турина, пожелавшую

встать под знамя савойского креста и начать поход за освобождение Италии.

Намерения граждан выглядели как открытый бунт против императора. Посягательство на самодержавный принцип неизбежно развязывало руки ниспровергателям габсбургской идеи. Наконец, Карл-Альберт вообще не знал, сможет ли обойтись без поддержки невидимой власти, поскольку вот уже второй десяток лет правил страной вместе с иезуитами и через иезуитов.

Прав, тысячу раз прав был предусмотрительный генерал Ротоан, провидя в грядущем бунте народов прежде всего угрозу орденскому влиянию. Всякое выступление против австрийцев заканчивалось разгромом коллегiums и разгоном иезуитских монастырей.

Нет, не хотел Карл-Альберт идти на такие уступки.

Но Генуя уже плясала и пела под неаполитанский секстаккорд. Сицилианская эпидемия распространялась, словно сенная лихорадка, от поцелуя.

Горели факелы. Раздавался *Te Deum*. Гремели крики:

— Да здравствует конституция! Да здравствует неаполитанский консул!

— *Viva Carlo Alberto!* — взывал народ к королю, подталкивая его следовать примеру неаполитанского собрата. — *Viva Pio Nono!* — поминал он любимца папу. — *Viva il Risorgimento dell' Italia!*<sup>1</sup> — заклинал освободить поруганную отчизну.

Пиза, Флоренция и Ливорно вслед за Генуей славили неаполитанский пример.

Пришлось и сардинскому королю раскошелиться на конституцию, что и было сделано в том же очистительном феврале, когда по всей Италии празднуют день Канделоры — конец зимы, наступление долгожданной отте-

---

<sup>1</sup> Да здравствует возрождение Италии! (ит.)

пели: «Per la Candelora dall' inverno siamo fora» — «На Канделору мы уже за пределами зимы».

Повсюду в церквах благословляли свечи, истовой надеждой и верой звучали гимны.

Вслед за Фердинандом и Карлом-Альбертом дрогнул и третий итальянский властитель — великий герцог Тосканы Леопольд. И он объявил об учреждении народного представительного правления, которое неожиданно оказалось сообразным с мыслью его августейших предков. Конституция, декларирующая великие принципы Французской революции: свободу, равенство и братство, была обнародована под гром пушек — стреляли, разумеется, холостыми — и ликующие возгласы. Настала очередь и либеральному папе «повертеться», как уповал на это раздосадованный владыка Обеих Сицилий.

Протесты австрийцев и дружеские увещевания французов до сих пор удерживали Пия Девятого от весьма рискованных новаций, да и сам он не слишком стремился урезать от бога, на сей раз действительно так, обретенную власть.

— Я не хочу осудить себя на вечную муку только ради того, чтобы доставить удовольствие либералам, — говорил он своим министрам, среди которых — доказательство свободомыслия — было и несколько мирян.

Но и римляне требовали для себя того же, чего столь страстно и нетерпеливо ждала вся Италия. Беспорядки в священном городе вспыхнули как раз первого января, что, кстати сказать, тоже было прекрасно известно канцлеру Меттерниху.

Третьего февраля, то есть сразу же после Канделоры, в день, назначенный для всеобщей иллюминации, в Риме, впервые после тридцати первого года, были подняты знамена трех национальных цветов: розового, зеленого и белого, а десятого Ватикан обнародовал прокламацию, где, в частности, возвещалось:

«Римляне, не думайте, чтобы первосвященник, получивший от вас в продолжение двух лет столько доказательств любви и верности, оставался глухим к изъяснению ваших желаний, ваших опасений. Нечего говорить о введении реформ в гражданских учреждениях, которые мы даровали, не будучи к тому нисколько принуждены силой, но руководствуясь единственно желанием доставить благоденствие народу».

И тем не менее ни о какой конституции в Папской области пока не было слышно. На Корсо клубились взволнованные кучки людей.

— Я желаю,— категорически высказался наконец великий понтифик, благословляя с высоты Квиринала народ, пришедший требовать конституции,— чтобы ваши просьбы не противоречили святости государства и церкви! Вот почему я не должен, не могу признать криков, принадлежащих не моему народу, а только небольшому кружку.

Под непосредственной светской властью папы находилось три миллиона подданных, но от него зависело спасение, по меньшей мере, еще двухсот миллионов душ. Поэтому он считал возможным твердо противостоять любому давлению как изнутри, так и извне.

Глубокой ночью, когда с римских улиц исчезают даже стаи голодных собак, молодой патриций Амадео Кавальканти собрал вблизи бань Каракаллы кружок карбонариев.

Речь, которую при свете потайного фонаря произнес красавец граф, содержала яростные обличения членов Общества Иисуса.

— В глазах народа они всюду, где еще жив деспотизм. Они уходят лишь тогда, когда наступает подлинная свобода. Опора тиранов, они ведут себя как самые ярые противники прогресса. Мы, римские патриоты, должны будем отсечь верхнюю голову гидры, и завтра ночью...—

Кавальканти недоговорил, захрипел и начал медленно валиться набок.

В узком луче фонаря, который подняли над бездыханным уже телом встревоженные заговорщики, зловеще чернела рукоятка испанской навахи. Ловко и сильно пущенный нож попал прямо в сердце.

Но это убийство ничего не изменило на чутких весах истории. На другое утро пришла всколыхнувшая Италию весть о восстании в Париже, цитадели вольности европейской.

Во Франции события развивались следующим образом. Когда вызванные министром внутренних дел графом Таннегию Дюшателем войска рассеяли демонстрантов, требовавших немедленных демократических реформ, в центральную часть города, очевидно по сигналу республиканцев, устремились обездоленные обитатели предместий.

Король поспешил объявить об отставке ненавистного народу кабинета Гизо, но это лишь подогрело всеобщий энтузиазм. Перед дворцом непопулярного министра на бульваре Капуцинов произошло новое столкновение, на сей раз кровавое. Офицеру, командовавшему кавалерией, показалось, что его оскорбили, он выстрелил, затем последовал залп, и десятки убитых и раненых парижан обогрили своей кровью древний булыжник, который столько раз в течение веков выворачивали для баррикад.

— Народ убивают! К оружию! — последовал гневный призыв.

В полночь тревожный набат собора Парижской богородицы призвал город к восстанию, а к утру двадцать четвертого февраля парижские улицы покрылись баррикадами. Всего за одну ночь их было построено около тысячи пятисот.

— Луи-Филипп приказал стрелять в народ по примеру Карла Десятого, — передавалось из уст в уста. —

Пусть убирается вслед за своим предшественником!

По настоянию ее величества король показался верхом перед построенными в каре полками и национальной гвардией, но никого своим видом воодушевить не сумел, ибо куда лучше смотрелся в сюртуке и с зонтиком, чем при аксельбантах и со шпагой в руке. Король-буржуа отрекся от престола в пользу внука, графа Парижского, и, прихватив портфель с ценными бумагами, укатил в Сен-Клу. Однако, когда герцогиня Орлеанская привезла будущего властителя Франции в палату депутатов, там уже было все подготовлено к низложению Орлеанской династии. Причем даже легитимисты поддержали в этом своих республиканских коллег, овеянных пороховой гарью парижских улиц.

Прав был в своих опасениях иезуитский генерал: уста поэтов возвестили приход новой эпохи.

После баллотировки, проходившей в ужасной сумятице и спешке, поэт Альфонс де Ламартин огласил состав Временного правительства: известные общественные деятели Луи Гарнье-Пажес и Ледрю-Роллен, астроном Доминик Франсуа Араго, адвокат Кремье... Каждое новое имя отзывалось восторженным эхом на ликующей площади: Дюпон, Флокон, Ламартин. По требованию баррикадных бойцов, завладевших дворцом Тюильри, были добавлены социалист Луи Блан и рабочий Альбер.

Двадцать пятого февраля рабочие добились провозглашения республики. Она еще не была провозглашена, а Временное правительство отправилось в городскую ратушу распределять обязанности. Королевская семья, кто в Англию, кто в немецкие государства, беспрепятственно разъехалась по чужим странам.

Февральская революция стала первой в истории буржуазно-демократической революцией, в которой рабочий класс выступил со своими требованиями как самостоятельная и решающая политическая сила. Но, как сказал



Маркс, он «завоевал только почву для борьбы за свое революционное освобождение, а отнюдь не само это освобождение».

Вторая Французская республика приблизилась к марту, а как говорят виноградари: «En mars s'il tonne, apprete cuves et tonnes» — «Если в марте гром гремит, соберешь много вина».

Будет и гром, и потоки алого сусла, выжатого, однако, не из ягод лозы...

От крепостных стен итальянских, покрытых пятнами сырости по весне, от церквей, расписанных великими мастерами, влечет нас в суровую, закованную в карельский гранит северную столицу. От парижских бульваров, пьяных вольностью, отвлекает и властно уводит четкая геометрия холодных проспектов, полосатых шлагбаумов и караульных будок, где греют руки о кружку с чаем поседевшие кантонисты.

Но не с фельдъегерем, везущим дипломатические вализы, возвратимся мы в Санкт-Петербург. Пока, загнав шесть пар лошадей и ободрав костяшки пальцев о ямщицкие волосатые хари, он будет тащиться от станции к станции, напрасно уйдет драгоценное время. Да и что нам за дело до тайных подробностей, которые сообщает посол Киселев своему государю? В великий век телеграфа непростительно промедление.

Офицер с депешей подкатил в санях прямо к *region de l'empereur* — царскому подъезду. Бросив треуголку подбежавшему лакею, а шинель с бобровым воротником уронив прямо на пол, кинулся к беломраморной лестнице, вдоль которой застыли статные гренадеры.

У створчатых дверей, где бодрствовали два великана в медвежьих шапках и два черных карлика в атласных тюрбанах да усыпанных блескучими камушками туфлях с загнутыми вверх носами, его уже поджидал дежурный флигель-адъютант. Забрал телеграмму и скрылся, позвя-

кивая шпорами, за изукрашенными сусальным золотом створками.

В кабинете в четыре скна, за которыми еще жидко синело морозное утро, кроме государя паходились канцлер, шеф отдельного корпуса жандармов и два офицера свиты. Николай в черном сюртуке с полупогончиками сидел за необъятным письменным столом, где рядом с бронзовыми чернильницами одиноко сверкала кавалергардская каска с орлом. Горели свечи, бросая живые блики на портрет покойного Александра, изображенного в полный рост.

Царь молча пробежал глазами депешу, коснувшись зачесанного вперед височка, передал ее шефу жандармов, затем сказал вполне буднично:

— На коней, господа, во Франции республика.

Об интервенции он, разумеется, и не помышлял, понимая, что в нынешних условиях подобный крестовый поход ни к чему хорошему не приведет.

— Зараза распространяется, ваше величество,— пожевав сухими губами, поддакнул карлик Нессельроде,— Меттерних постарел, и Австрия нынче уже не та.

— Унять, унять мерзавцев,— заключил Николай.

О судьбе Луи-Филиппа он не сожалел, восприняв его свержение как заслуженное возмездие. Но республика, конституция — это было выше всякого разумения. Николай ненавидел сам принцип народовластия, не мог постигнуть его и даже гордился этим. Думая о мерах против «мерзавцев», он не столько рассчитывал на карательные меры, сколько на санитарные, ибо больше всего боялся распространения французской заразы.

Однако вести о соблазнительном примере Парижа перелетали границы словно моровое поветрие. Не уберечься, не придержать.

Сообщение о низвержении династии, а также скандальное известие о том, что сокровища Орлеанского дома

распродаются с аукциона, повергло Людвига Первого, короля Баварии, в состояние шока. Страну и без того раздирала смута. Из-за проклятых буршей на мюнхенских улицах не осталось ни одного целого фонаря. Набив камнями карманы, молодые люди, вместо того чтобы спокойно сидеть в университетских аудиториях, устраивали шумные сборища перед оперой и королевским дворцом. У них не было ничего святого. Более всего мечтательного короля-поэта возмущало то, что мюнхенцы осмелились устроить обструкцию Лоле Монтеc. Насосавшись пива, они не только забросали красавицу танцовщицу тухлыми яйцами, но даже осмелились запустить в нее камнем, который по счастливой случайности лишь оцарапал висок. Людвиг пошел навстречу собственным подданным и все-милостивейше соизволил убрать непопулярного Карла фон Абея, а вместе с ним и все его клерикальное правительство. Но отказаться от Лолы? Нет, такого подарка мерзавцы — Людвиг относился к бунтовщикам с не меньшим отвращением — не дождутся от своего короля. При одной лишь мысли об этом у него разливалась желчь. Но вызванный в воображении пленительный образ смирал страсти. Мечтательно опустив веки, король предавался приятным воспоминаниям. Строил сладостные планы, напевая вполголоса полюбившуюся с детства французскую песенку: «*Cette petite bourgeoise d'une manière grivoise...*»<sup>1</sup>

И тут как по заказу подоспело разоблачение. «Маленькая буржуазка» оказалась не испанской танцовщицей, а ловкой ирландской авантюристкой Розанной Джильберт, которую разыскивала британская полиция. Пришлось вместе с министерством Абея удалить и прелестную диву, возведенную влюбленным монархом в графское достоинство.

---

<sup>1</sup> Эта маленькая буржуазка со своей манерой гривуазной...

Но было уже поздно. Парижский пример и уличные стычки в Гессен-Дармштадте придали притихшему было населению новые силы, и Людвиг предпочел покинуть королевский дворец. Отказаться от трона казалось легче, чем принять навязанную либералами конституцию.

Конституционные страсти и призрак уличных баррикад не давали покоя и Фридриху-Вильгельму, самодержавному властителю Пруссии, второй после Австрии державы в Германском союзе.

Наступали новые времена, и волей-неволей даже монархам приходилось скрепя сердце идти на уступки. Но только не в главном! В вопросе о суверенном праве божественных помазанников управлять подданными не могло быть компромиссов.

— Никакой силе на земле, — заявил в тронной речи Фридрих-Вильгельм не далее как в середине прошлого года, — не удастся убедить меня превратить естественные отношения, существующие между монархом и народом и отличающиеся в Пруссии такой глубокой внутренней искренностью и силой, в условные конституционные. Никогда я не допущу, чтобы какой-то кусок исписанной бумаги стал между господом богом на небе и моим земным царством и присвоил себе как бы роль второго провидения.

Хотя немецкие профессора не уставали нахваливать речь, произнесенную королем в Кенигсберге и признанную образцом ораторского искусства, чернь вышла на улицу и потребовала свое. Фрицу де Шампань оставалось лишь, по обыкновению, мертвецки напиться. Этот полный сил пятидесятитрехлетний мужчина, одаренный талантом и добросердечием, тоже питал непреодолимое отвращение к самой идее конституции. Восторгаясь германскими добродетелями и мечтая о доблести и рыцарской чести средних веков, он и слышать не хотел о каком-то «исписанном клочке».

Столь высокомерное пренебрежение реальностью чуть не закончилось для прусского короля трагически. Спасибо обер-шпиону Штиберу. Затащив упрямого идеалиста в первый попавшийся подъезд, он спас его от уличной расправы, а династию — от позора, ибо негоже королю пасть под тростями и зонтиками разъяренных подданных.

Однако и тайная служба бывает бессильна, когда события выходят из-под контроля. Бюргеры и студенты, осадившие королевский дворец, не пожелали разойтись даже ночью, когда отзвонили колокола древней Мариенкирхе. Генералу фон Приттвицу, под началом которого находилось двенадцать тысяч войска, с трудом удалось расчистить лишь небольшой участок между Унтер-ден-Линден, Лейпцигерштрассе и Александерплац. И хотя генерал клялся, что к утру штурмом возьмет баррикады, павший духом король велел прекратить пальбу. Он не только принял депутацию бюргеров, но и распорядился вернуть солдат в казармы.

Николай пожурил в письме прусского шурина, посоветовав поскорее ликвидировать следы «малодушия». Под последним русский царь понимал вырванную народом конституцию.

Но французское поветрие распространялось с пугающей быстротой, и, по-видимому, уже ничто не могло помочь монархам удержать в неприкосновенности унаследованный от феодализма правопорядок.

Даже крохотное Монакское княжество, окруженное королевством Пьемонт, не избежало революционных потрясений. Восстав против своего сластолюбивого князя, спекулировавшего даже на хлебе подданных и проматывающего доходы во Франции, маленькая страна — всего шесть тысяч человек — потребовала гражданских свобод. Князь Флорестан мгновенно согласился и представил проект конституции, который был сперва принят, затем единодушно отвергнут. Города Ментона и Рекебрюн,

равняясь на революционный Париж, объявили себя независимыми от княжеской короны, и Флорестан вынужден был укрыться в Монако, последней из оставшихся у него крепостей.

Примерно в это же время во всех городах Италии, а также почти во всей Европе начались шумные выступления против всесильного Общества Иисуса. Невзирая на то, что это подрывало консервативные режимы в самом центре Европы, ни прусский король, ни его венский советчик князь Меттерних не решились вмешаться. Сначала швейцарская конфедерация приняла решение об изгнании иезуитов. Только дошла до Турина весть о Париже, как оттуда под прикрытием войск и городской стражи прогнали иезуитскую конгрегацию. Когда же выгнанные члены братства попробовали высадиться в Генуе, их не только не выпустили на берег, но и вынудили принять на борт своих генуэзских единомышленников.

Пожар революции гнал иезуитов из одного места в другое, преследуя по пятам, опаляя, в полном смысле слова, затылок. Едва орденские братья успевали спастись, как загорались их укромные коллегиумы, замки, монастыри. Народ вымещал свой гнев на каменных степах.

Секретным архивам, однако, удалось избежать огня. Их увозили в первую очередь, вместе с немалым денежным состоянием, чтобы в чужом краю, пусть даже за океаном, дать новую жизнь тайне, чей символ — терновый куст и горящее на нем окровавленное сердце.

Двенадцатого марта сдался наконец и неаполитанский король, подписав рескрипт о закрытии коллегиумов в Обеих Сицилиях. Покинув сказочный лазурный залив — двугорбый Везувий едва проглядывал в солнечном тумане, — пироскаф, названный по имени грозного вулкана, взял курс на Мальту. Мистический остров давал приют гопимому Обществу Иисуса.

Горят города, пылают леса, трещат сухие травы в охваченной пламенем степи. Но вместе с дымом и пеплом летят невесомые семена и падают где-нибудь за тридевять земель, унесенные ветром, и прорастают... Иной раз скоро, иной — затаившись до срока в земле, через множество лет.

На «Везувии», увозившем на чужбину членов неаполитанской конгрегации, находился и отец Ротоан. Хотя покровительство папы еще защищало римский коллегийум от происков республиканцев, масонов и заговорщиков-карбонариев, генерал заглядывал вперед и решил лично позаботиться об устройстве штаб-квартиры ордена на новом месте.

### 36

Перед тем как покинуть итальянский берег, генерал ордена направил письмо канцлеру Меттерниху, где просил о немедленной помощи и заодно выдавал с головой всех заговорщиков из партии эрцгерцогини Софии.

— Что? — взбеленился князь. — Франца-Иосифа в наследники?! Окончательно ничего не решено. — Меттерних велел снешно позвать графа Аппони.

— Соблаговолите, ваше сиятельство, — предложил канцлер, — снестись с эрцгерцогом палатином. Я предполагаю направить на усмирение итальянских бандитов сто тысяч венгерских парней. Вместе с кроатами они живо установят порядок. Видит бог, я гуманный человек, но итальянцы заслужили хорошенькое кровопускание. — Порывшись в бумагах, он извлек заготовленный приказ, размашисто подписался и передал Аппони. — Не откажитесь контрассигновать.

Изысканный вельможа выпростал из кружевных, словно белая пена, манжет тонкие длани, вытер пальцы



надушенным платочком с вышитой монограммой и, пробежав документ глазами, осторожно отодвинул сразу свернувшийся трубочкой лист.

— Я едва ли могу одобрить такую меру, князь,— сказал он твердо.

— Почему, граф? — не веря своим ушам, спросил Меттерних. Впервые глава канцелярии по венгерским делам позволил себе не согласиться с волей всесильного канцлера.

— Мы не можем себе позволить оголить Венгрию.

— Разве у вас беспокойно?

— Спокойно,— неохотно признал Аппони.— Но после Парижа каждый день можно ждать вспышки.

— Пустое! — отмахнулся канцлер, сжав губы в ниточку.— Какое мне дело до Парижа? Францию вечно лихорадит, но это не значит, что мы должны прислушиваться к каждому чиху на Елисейских полях. Сегодня мне нужен порядок на Апеннинском полуострове, и я забираю войска из Венгрии. Как вам не стыдно, граф, противиться мне в такой момент.

— Именно требования момента, ваша светлость, и заставляют держаться настороже. В Славонии, в Хорватии, в Далмации весьма напряженная обстановка...

— Сами виноваты,— взорвался канцлер и, брызгая слюной, скатился с кресла.— Доигрались, господа мадьяры, с вашими антинемецкими интригами и либеральными заигрываниями!

— О чем вы, князь? — Аппони обреченно махнул рукой. Перед ним сидел человек вчерашнего дня, в сущности, выходец с того света. Всякому, кто еще питал надежды на будущее, следовало как можно скорее отделаться от этого высохшего вурдалака.— Бог с вами, князь,— сказал Аппони, замыкаясь в себе.

Но разошедшегося Меттерниха было уже не унять. Вымеряя шажками узорный паркет между окнами и ка-

мином, он обрушил на графа гору обвинений, возложив на него всю ответственность за нынешнее положение в венгерских комитатах. Особую ярость канцлера вызывали выборы в Государственное собрание.

«Оппозиционный круг», возглавляемый Кошутом, действительно добился немалых успехов. Сам Кошут, баллотировавшийся от комитата Пешт, далеко опередил по количеству поданных голосов своих главных соперников. Но что бы там ни болтали у себя внизу депутаты оппозиции, верхняя палата, чьим председателем, по совету Аппони, наместник утвердил Дьёрдя Майлата, стойко противостояла безответственным пропагандистам реформ. Да и Пал Шомшич, лидер проправительственной партии, не упустил случая выдрать у Кошута пару перьев. Сварливая брань Меттерниха, не утихавшая вот уже пятый месяц, была поэтому особенно непонятна. Наиболее глубоко его ранил, очевидно, поступок Сечени, который, выйдя победителем от комитата Мошон, поспешил перейти в нижнюю палату, где возглавил центр.

Выступая как против правительства, которое возглавлял не кто иной, как сам Аппони, так и против «Оппозиционного круга», Сечени заполнял опасный вакуум между обеими крайностями. Это стало совершенно ясно, когда развернулись прения вокруг тронной речи Фердинанда, кайзера и венгерского короля, который сразу расположил сердца всех честных патриотов, произнес несколько приветственных слов по-мадьярски. Неисправимый смутьян Кошут, конечно, поспешил выступить и против Аппони, и против своего короля, обвинив двор в проведении несправедливой, ущемляющей венгров политики. Но на то он и Кошут, чтобы всюду, где только можно, мутить воду. И никого, в том числе самого Аппони, несколько не удивило, что лидер оппозиции отверг предложение Шомшича направить его величеству благо-

дарственное письмо. На том бы все и застопорилось, если бы не существовало третьей, примиряющей силы. В ответ на демагогическое обращение Кошута к статье десятой законов тысяча семьсот девяностого года о правах Венгрии Сечени предложил сгладить формулировки, выдержать ответственное послание в самых общих, никого ни к чему не обязывающих, выражениях. Это ли не государственная мудрость, улавливающая основную тенденцию эпохи? «Мы должны обновить нашу родину и обезопасить от того безрассудства, которое ее окружает», — сказал в своем выступлении Сечени. Золотые слова! Ибо устами Кошута, не правительства, как раз и говорило это самое безрассудство: «Велики и трудны задачи нашего времени, но основная заключается в том, чтобы в полной мере развить конституционную форму нашей жизни». До сих пор в ушах стоит рев, в котором восторг перемешался с протестом и возмущением, поднявшийся в Пожоньском граде после этих поджигательных слов. Только окончательно утратив рассудок, можно не замечать трудностей, ежечасно испытываемых венгерским правительством. Да еще требовать от Венгрии войск для умирения беспорядков в чужих странах.

От мрачных раздумий о личной ответственности за судьбы родины Аппони отвлек почти истерический выкрик Меттерниха, который был вынужден уже в третий раз спросить его об одном и том же.

— Так не подпишете? — Канцлер сжал кулачки.

— Не могу, князь, ибо не считаю возможным, — пожал плечами Аппони.

— Хорошо, — заключил угрожающе канцлер. — Обойдемся без вас! Я сам поеду сейчас к его величеству.

— Воля ваша, князь, воля ваша...

Однако Меттерних был уже бессилён продиктовать кому бы то ни было свою волю. Революция уже достигла имперской столицы. Началось, как часто бывает, с пус-

тяка, на который даже тайная полиция не обратила внимания.

Напуганные грозными известиями из Парижа, венские бюргеры первым делом схватились за свой кошелек и бросились осаждать, требуя назад вклады, банки и государственные сберегательные кассы. Из очередей и уличных потасовок родилось некое нетерпеливое озлобление, которое непостижимым образом распространилось по городу и выгнало на улицы празднующихся, студентов, газетчиков и прочих взрывоопасный элемент.

Взволнованные толпы, очевидно под влиянием агитаторов, начали стекаться к зданию сословного сейма, открытие которого было приурочено к тринадцатому марта. Ворвавшиеся в залу студенты потребовали от депутатов немедленно обратиться к императору с требованием либеральных реформ.

— Да здравствует конституция! — грохотали они кулаками по депутатским пюпитрам. — Долой иезуитов!

Пока решался вопрос о составе делегации в Хофбург, толпа начала терять терпение. В охранявших сейм уланов полетели камни. Один из них даже чиркнул по каске эрцгерцога Альбрехта, почему-то оказавшегося среди офицеров. Грянул залп. И хотя серьезных жертв не было, вид крови настолько разъярил венцев, что они кинулись к императорскому дворцу.

С безоружной толпой ничего не стоило справиться, если бы в Хофбурге нашелся хоть один государственный муж, который бы рискнул взять на себя малейшую ответственность. Но в куче наряженных в парадные мундиры генералов, государственных советников и камергеров, заполонившей коридоры и передние императорского дворца, такого смельчака не нашлось. За долгие годы правления Меттерних добился того, что отучил военных и гражданских чиновников от какой бы то ни было инициативы. Не получив указания свыше, каждый думал,

что тот, кому положено, уже отдал необходимый приказ и остается лишь ждать, по возможности не теряя достоинства, дальнейшего разворота событий.

Меттерних прибыл в Хофбург, когда со звоном посыпались первые оконные стекла.

Натолкнувшись на вопрошающие взоры придворных, сверкавших золотом аксельбантов и эполет, и не понимая, что же собственно происходит, канцлер на секунду смешался.

— Что случилось, господа? — удивленно пролепетал он.

Ответом престарелому канцлеру был единодушный вопль:

— Долой! В отставку! Это он виноват! Это он довел нас до такого!..

Почувствовав себя козлом отпущения и заподозрив, что это санкционировано императором, хотя Фердинанд едва ли мог адекватно воспринимать обстановку, Меттерних окончательного потерял лицо и поспешил ретироваться. Пробормотав несколько жалких фраз насчет жертвы, последней жертвы, которую готов принести для спасения монархии, карлик попятился.

— Раз так, господа... — Он беспомощно развел руками и вдруг пропал, точно сквозь пол провалился.

Народ, который на улице уже требовал крови ненавистного министра, почему-то беспрепятственно пропустил хорошо знакомую всей Вене карету с гербом.

Так, без единого практически выстрела революция выиграла первый бой с апостолическим самодержавием. Оба лагеря, однако, пребывали в растерянности.

Во дворце по-прежнему не находилось никого, кто бы, пусть приблизительно, знал, что нужно делать. Брат императора эрцгерцог Людвиг совершенно растерялся без указаний или хотя бы противодействия вездесущего канцлера и готов был послушаться любого советчика.

Весь оставшийся и весь следующий день ушли на бесплодные пререкания с Францем-Антоном князем фон Коловрат-Либштейном, но так ничего путного и не возникло, кроме склоняемого во всех падежах ненавистного слова «Verfassung» — «Конституция».

Лишь пятнадцатого марта под давлением слухов — никто не взял на себя труд их проверить — о непрекращающихся волнениях семейный совет императорской фамилии составил следующее объявление:

«...Приняты необходимые меры для созыва депутатов всех провинциальных сословий с увеличенным числом представителей от бюргерского сословия и с соблюдением порядка, предусмотренного существующими провинциальными уложениями; этим депутатам будет предложено выработать общую государственную конституцию».

Ненавистное слово было не только названо, но и записано черным по белому, хотя неведомой казалась его дальнейшая судьба.

Семнадцатого император подписал рескрипт о создании ответственного министерства Коловрата — Фикельмона, куда вошли исключительно люди Меттерниха, его отжившие свой политический век креатуры.

— Было два упрямых глупца, — проворчал эрцгерцог Людвиг, — которые хоть уравнивали друг друга, теперь остался один.

Ругаться было, конечно, легко, но ничего иного ни он, ни эрцгерцогиня Софья, торжествовавшая победу, предложить не сумели.

«Его величеству Фердинанду, императору Австрии  
Ваше величество!

Я считаю себя обязанным сделать такой шаг, который подсказан мне моей совестью и в котором я искренне исповедуюсь перед Вашим величеством. Все свои чув-

ства, мысли и решения... я сформулировал в одной фразе, одном девизе, который хочу оставить моему преемнику в качестве постоянного напоминания... А именно: сила — в праве! Я уступаю превосходящей силе, ведь она — сама владыка.

Мои личные пожелания те же, что и были: оставаться надежнейшей опорой святейшей личности Вашего величества, трона и империи... Позвольте же, Ваше величество, выразить эти чувства в качестве подтверждения моего совершеннейшего почтения в момент моей отставки.

*Меттерних*

13 марта 1848 года, Вена»

Три месяца отделяли письмо с новогодними прогнозами Фридриху-Вильгельму от этого письма Фердинанду. Как, в сущности, немного, но целая эпоха уместилась, целая жизнь.

### 37

Просветлели желтые воды Дуная, весеннее жидкое золото заиграло в волнах. И ветерок задул с реки, душистый, зовущий, душу переворачивающий ветерок. Легкий озноб. Головокружительное сияние неба.

Вот так, наверное, и пахнет свобода... Магнетически притягивает к себе река. Особенно в сумерках, когда меркнет растворенный в ней маслянистый свет.

В Париже отменили предполагавшийся аукцион и решили разыграть достояние Орлеанского дома в демократической лотерее.

Волнения в Варшаве, демонстрации на улицах Праги. Закопченный песчаник вечно хмурого Дрездена и тот расцвечен национальными флагами. Саксонский король распустил совет министров и даровал свободу печати.



Даже Вену, имперскую Вену, треплет весенняя лихорадка.

Только в Пеште пока все спокойно. Густав Эмих откликнулся на бурные перемены в соседних странах, выставив у себя в книжной лавке портреты Кошута: фортис двадцать в большом формате и сорок крейцеров — в малом. Все литографии оттиснуты на прекрасной китайской бумаге.

Сам Лайош Кошут, правда, все еще в Пожони, где не утихают горячие дебаты в сословном сейме, что не мешает городу жить неторопливой размеренной жизнью. В часы дневного променада восторженная публика бросает в окна парламента алые тюльпаны, а по вечерам гуляющие девицы из злачного Цукерманделя отлавливают господ депутатов где-нибудь у воды, нежно покачивающей привязанные к кнехтам суда.

Два пироскафа, зафрахтованные для отправки делегации в Вену, терпеливо ждут назначенного часа.

Появление Кошута на трибуне встретили рукоплесканием.

— Эльен! — неистовствовала галерка. — Виват!

Дамы, по примеру итальянок, полоскали трехцветными платочками.

— Как он хорош! — перебегал тревожный шепот. — И как болен...

— Он специально ест мел перед каждым выступлением, — шипели недруги, — чтобы выглядеть бледным.

И, как ни странно, многие верили, хотя никому еще не удалось согнать румянец способом столь бесполезным и даже смешным.

Отточенным жестом опытного оратора Кошут унял волнение галерки и, завладев вниманием, нарочито спокойно выбросил главный тезис.

— Я глубоко убежден, что подлинной причиной развала империи является правительственный режим. — Он

обвел жарким лихорадочным взглядом передние скамьи, гипнотически подавляя самую мысль о каком бы то ни было возражении.— Протiwоестественные,— отчетливо акцентировал столь удачно подобранное слово,— правительственные режимы порой способны долго удерживаться у власти, поскольку, к сожалению, терпение народов велико. Однако некоторые политические системы, ведущие счет многим десятилетиям, настолько ослабли, что сохранять их было бы просто опасно. Они созрели для гибели, и эта гибель неотвратима! Я понимаю, что одряхлевший режим, так же как одряхлевший человек,— последовал красноречивый кивок на портрет императора,— цепляется за жизнь, ибо не может свыкнуться с мыслью о неизбежном конце.

По рядам депутатов, замороженных не столько смыслом, сколько страстностью речи, прокатился испуганный стон. Кошут явно намеревался идти дальше, чем этого желало лояльное большинство. Он вел себя как узурпатор. Но возразить, выкрикнуть слова протеста не решился никто. И, улавливая обостренными нервами общее настроение, оратор возвысил голос до последнего мыслимого предела.

— Мы, которым провидение вручило судьбу нации, не в силах задержать процесс дряхления смертного человека. И поскольку основа подгнила, роковая гибель неизбежна.— Казалось, вдохновенный пророк на трибуне с последним словом выдохнет из себя и жизнь, упадет или вовсе взлетит под купол.— Народ будет жить вечно! — громоподобно пророкотал.— Мы хотим, чтобы он навечно обрел свободную родину!

Едва Кошут закончил, председатель поспешил объявить перерыв. Никакое выступление, ничьи даже самые пламенные слова уже не могли поколебать впечатления от подобной заклvтию речи. Да и вовсе не словами определялся ее высокий побудительный смысл. Кошут гово-

рил от имени нации, и не было никого, кто бы решился публично выступить против него в такую минуту.

Напрасно прибывший из Вены советник Виркнер метался от Сечени к Баттяни, от Семере — к Сентивани. Он и сам не верил в тот жалкий лепет, которым пытался вооружить возможных противников вождя оппозиции, ставшего неожиданно лидером большинства. Даже Сечени, покинувший кресло в угнетенном состоянии духа, не нашел в себе силы для открытой борьбы. Да и против чего ему было бороться? События, чей неудержимый разворот не зависел уже ни от чьей сознательной воли, склоняли скорее к сотрудничеству с партией Кошута, нежели к противоборству, а это снимало непримиримость, удерживало от резкого, на глазах ожидающей нации, размежевания.

Оставалось лишь убеждать, терпеливо удерживая соперников, предостерегая нестойких союзников.

— Не требовать, а бескорыстно поспешать на помощь династии,— со слезами на глазах наставлял Иштван Сечени в парламентских кулуарах.— Вот что надлежит делать сейчас, коллеги. Только в этом случае мы еще сможем добиться, чтобы Венгерским королевством управляли не из грязной Будайской крепости, а из имперской столицы. Австрия еще очень сильна, поверьте, следовать за Кошутом — значит идти навстречу гибели.

Но это был глас вопиющего в пустыне. На Сечени — одутловатое лицо, трясущиеся руки, слезящиеся глаза — оглядывались с брезгливым сожалением, словно на безнадежного больного, измучившего жалобами и неисполнимыми требованиями близких.

— Лучше взойти на эшафот вместе с Кошутым, чем отказаться от национальных идей,— отрезал обычно осторожный Карой Сентивани.

— Но это дурно кончится,— хватаясь за голову, простонал Сечени.— Ты не боишься, что тебя упекут в

тюрьму? — обернулся он к подошедшему Баттяни. — А может, и того хуже, — обреченно выдохнул мрачное предсказание и побрел прочь, поминутно хватаясь за стены.

— А ты заработаешь вилы в бок! — крикнул Баттяни вслед. — Не умолять нужно, требовать!

— Лавирование имеет свои пределы, — упорствовал и Семере, который до того только и делал, что балансировал между крайними устремлениями «Оппозиционного круга». — Подчас оно оборачивается бесчестьем.

— Пусть решает судьба, — пробормотал Сечени, еле шевеля обметанными лихорадкой губами. — Видит бог, я пытался унять бурю.

Пожалуй, он несколько сгущал краски, ибо парламентская буря не означала немедленной революции.

Пароход «Франц-Карл» отвалил от набережной утром пятнадцатого марта. Чадя высокой трубой, хлюпая деревянными лопастями кормового колеса, он отозвался протяжным гудком на трубные звуки провожающего оркестра и вырулил на середину реки. Депутаты, отхлынув от фальшборта, разбрелись по каютам. Взволнованная приподнятость проводов улеглась, уступив место опасениям и заботам.

Меттерних, конечно, ушел, но это не значит, что в Вене действительно революция. Что, если делегацию встретят жандармы и, порвав петицию на клочки, препроводят всех прямехонько в Куфштейн? Чем черт не шутит.

Один Кошут сохранял спокойствие. Стоя у кормового трехцветного флага, приветливо помахивал оперенной шляпой медленно удаляющемуся берегу.

Второе паровое судно с почетной охраной уже отделилось от каменного парапета и медленно пристраивалось в кильватер.

Мрачный, сосредоточенный Сечени, едва повеяло свежестью, поспешил уйти с палубы. Он знал, сколь необходимо его присутствие на переговорах, и не мог позволить себе ни малейшего риска. Здоровье и без того внушало серьезное беспокойство: изнурительное сердцебиение, растрепанные нервы...

Одним словом, приходилось держать себя в узде. Тем более что не все потеряно и есть надежда на благополучный исход.

Он, Сечени, будет умолять императора передать верховную власть новому наместнику Иштвану, сменившему недавно Иосифа. Великодушный, исключительно порядочный, подающий большие надежды эрцгерцог устроит решительно всех. Он и сам тяготеет двусмысленной ролью наместника, а королевские прерогативы позволят ему расправить крылья. Венгерская нация, не посягая на вековые связи с династией, с восторгом примет молодого властителя. Ведь даже Кошут, со всеми его диктаторскими претензиями, не замахивается на корону. Эрцгерцог Иштван удовлетворит и его. Так будет сохранен драгоценный мир.

В два часа пополудни показались шпили и купола имперской столицы. Трепыхались на ветру разноцветные вымпелы, с Пратера, как обычно, долетали мажорные такты. Судя по всему, Вена готовила посланцам венгерского сейма достойный прием. Заполнившие палубу парламентарии заметно повеселели. Появилась надежда, что трудная миссия увенчается успехом. Такой уж ветер нынче гулял над Европой, что короли уступали требованиям народов.

Венские власти сердечно приветствовали прибывших. Под гром маршей депутатов разместили в открытых экипажах, и разукрашенный лентами кортеж торжественно покатыл по Охотничьей аллее. Веселое солнышко безмятежно светило над крепостными башнями. Мягкие тени

голых еще каштанов, платанов и лип мелькали под дружными копытами лошадей, высекавших летучие искры.

Несмотря на сияющий день, все фонари, вновь застекленные по случаю триумфального въезда, были зажжены. На балконах и карнизах домов горели масляные лампы. Бурши в корпорантских шапочках приветственно размахивали коптящими факелами.

— Виват Кошут! — встречали головную карету радостные возгласы на каждом углу.

Вчерашнего предателя и смутьяна, чье имя в Австрии стало символом анархии и злой воли, принимали как спасителя отечества, как оваянного славой суверенного государя.

Сладостное дыхание дунайской волны кружило головы, ветер свободы воспламенял сердца, творя чудеса на потрясенных подмостках Европы.

Венгерская молодежь, салютуя клинками, гордо вступила на праздничные улицы, украшенные матерчатыми розетками, флагами, горшками цветущей герани. Трехцветные темляки и перевязи вызывали одобрителный гул. Венцы приветствовали чужую независимость.

Опираясь на украшенную самоцветами саблю, Лайон Кошут принял, словно делал это каждодневно, парад австрийской национальной гвардии. Одобрително козырнув рапортовавшему офицеру, обошел строй рокочущих барабанов. Забыв походные ритмы, они выбивали жизне-радостную бесшабашную дробь.

В Хофбург венгерская депутация вошла при оружии и знаменах.

Меховые шапки с национальными кокардами и обшитые золотым позументом ментики привлекали всеобщее, отнюдь не враждебное любопытство. Национальная гвардия с трудом расчищала дорогу среди напирющей оживленной толпы. Но вот, наконец, и последняя арка. Офи-

церы, застывшие во главе эскадронов драгун, вскинули пальцы к треуголкам.

Гвардейский оркестр грянул марш Ракоци. Построенные в каре войска, затаив дыхание, внимали гимну мадьярской вольницы. Лишь на плацу перед самым дворцом угрожающе дымились фитили в руках орудийной прислуги. Жерла, в которые, надо думать, не закатили ядер, черными пустыми глазницами глядели в лица незваных гостей, вступавших в святая святых австрийской империи.

Предшествоваемые действительными и почетными кавалерами Золотого ключа, венгры поднялись по ковровой лестнице в бельэтаж, прямо в тронную залу.

Кайзер, пребывавший в сумеречном периоде, пугливо съежился и закрыл глаза. Однако ободренный нашептыванием Коловрата и Фикельмона, нашел в себе силы прочитать по бумажке несколько приветственных венгерских слов.

— Ур-ра! — вырвав сабли из ножен, преисполнились воодушевления народные представители.

Церемониймейстер, танцующим шагом приблизившись к Сечени, дал понять, что петиция будет всемилостивейше рассмотрена, а высочайшая аудиенция на сем исчерпывается.

— Мои соотечественники хотели бы увидеться с кровпринцем, — твердо заявил Кошут, подозревая, что дни императора сочтены.

После длительных перешептываний и консультаций венгров попросили все же покинуть тронную залу и спуститься на плац.

### 38

Бывают совпадения, безусловно, случайные, но тем не менее примечательные. Минувший год, недобро помянутый Меттернихом, принесший совер-



шеннолетие Петефи, ознаменовался рождением Союза коммунистов. Крылатый лозунг Маркса «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» предопределил весь ход дальнейшей истории человечества.

Поэт недаром называл себя сыном эпохи, он ощущал свою сопричастность с ней каждодневно и всесторонне. Конвульсии мира, его родовые схватки и боль отзывались глубоким органичным эхом, пробуждая сложные, зачастую едва осознанные цепи ассоциаций, вещие метафорические ряды. «И я участвую в сражении, я командир, а мой отряд — мои стихи: в них что ни рифма и что ни слово, то — солдат».

Очередная дискуссия в «Пильваксе» затянулась до позднего вечера. Обсуждали, как лучше провести на Ракошском поле праздник в честь республиканской Франции, в честь революционного Парижа. После ожесточенных споров решили пригласить всех: горожан, приехавших на ярмарку окрестных селян, студентов и господ из «Оппозиционного круга», хоть они и топтались на месте, увязнув в бесконечной говорильне.

— Вчера ночью, пока моя жена готовила себе народный убор к празднику, я написал стихи, друзья, — объявил Петефи, когда наступил его черед высказаться. — Я прочту вам «Национальную песню».

В прокуренной, до отказа набитой кофейне стало потише. Молодые поэты в карбонарийских плащах еще яростней задымили трубками и в знак одобрения вонзили фокоши<sup>1</sup> в деревянные табуретки.

По обычаю удивительных мартовских дней, поэт взобрался на столик и жестом призвал к вниманию:

Встань, мадьяр! Зовет отчизна!  
Выбирай, пока не поздно:

---

<sup>1</sup> Топорики наподобие бердыша, с которыми ходили по улицам вместо трости.

Примириться с рабской долей  
Или быть на вольной воле?

Сквозь пелену дыма мигали масляные огни. То разгораясь, то уплывая во мглу, кружились, словно загадочные планеты. Беззвездная пустота разверзлась за черными окнами, где, как в зеркалах, отражалось трепещущее пламя. И жутко, и упоительно было лететь в неизвестность.

Топот ног, удары топориков, одобрителные возгласы заглушили заключительные слова.

— Это будет нашим гимном,— воскликнул двадцатидвухлетний польский эмигрант Воронежский.— Нашей «Марсельезой»!

— Нужно действовать! — крикнул еще более юный Пал Вашвари, горячий поклонник Робеспьера, кумир студенчества и рабочих окраин.— Мы должны пойти дальше своих отцов. Пусть Франция будет для нас примером!

— Он совершенно прав! — внушительно изрек Йокаи.— Настало наше время. Все, кроме нас, молодых, словно уши ватой позатыкали, словно шоры надели. Не видят, не слышат, что происходит кругом. Собрание «Оппозиционного круга» так ничем и не кончилось...— Услышав, как хлопнула дверь, Мор оглянулся, пытаясь разглядеть, что происходит на другом конце залы, но все расплывалось в чаду.

— Послушайте меня, господа, только послушайте! — На середину пробился растрепанный молодой человек. Его шатало от волнепия.— Дайте мне слово...

— Тополянски, Адам Тополянски,— узнавали его за всегдатаи.— Пусть говорит.

— Прошу, друг.— Мор Йокаи показал на бильярдный стол и предупредительно подставил плечо.

— Господа! — Тополянски прижал руку к сердцу и, словно не веря себе, зажмурился.— Я послал к вам пожоньской молодежью! Только что прибыл пароходом.—

Он задохнулся, хватая горячий задымленный воздух, и едва не упал, но его поддержали.— Вчера, господа, началась революция в Вене! Меттерних свергнут, народ вооружается и строит баррикады!

— Встань, мадьяр! — грянул радостный вопль.— Даже Вена, лояльная Вена...— И все потонуло в шумной разноголосице и звоне топоров.

— А мы? Мы все еще колеблемся?!

— Так что там придумал «Круг», расскажи Йокаи?

— Предъявили требования к императору из двенадцати пунктов... Будут просить...

— Юридическая волокита.— Петефи издевательски свистнул.— Знаем! Дай бог, чтоб кончилось в двадцатом веке.— Он вновь вскочил на стол и, перекрывая чудовищную неразбериху, выкрикнул с гневом: — Какое убожество — просить, если время диктует требовать! Пора идти к трону с саблей, а не с бумажкой. Властители ничего не отдадут добровольно, только силой добудем свое!

Сидевший поблизости шпик не успевал делать в кармане памятные пометки. Слишком жаркий выдался для него вечерок. «Арестовать бы их всех,— думал он с философической грустью.— И дело с концом, никаких тебе беспорядков... Даже не всех, только самых заядлых или хоть этого, одного».

— Завтра или никогда! — провозгласил Вашвари, подводя итоги.— Вал революции накатывается на Вену. Так пусть за ним побежит другой сокрушительный вал. Волна за волной. Человек слаб, лишь покуда он одинок. Людское море непобедимо.

— Почему не сейчас? — слышался чей-то голос.— Пока нас не переловили поодиночке?

— Слишком поздно,— ответил Петефи.— Людей уже не подымешь, не выведешь на улицу. Успеть бы оповестить всех, кого можно. Значит, завтра все встречаемся здесь...— Он, как, наверное, и остальные, еще не знал,

как будет выглядеть это завтра, не ощущал, не видел его.— А теперь разойдемся, друзья.

Домой Петефи возвращался вдвоем с Йокаи. Оба жили теперь вместе в меблированной трехкомнатной квартире на улице Дохань. Одну комнату занимали молодожены, другую — Мор, а гостиная была общей.

Они шли по ночным опустевшим улицам, тронутым лунным отсветом, жирно лоснившимся на мостовых. Отчетливо и сухо отсчитывала шаги трость. Ломались длинные тени на стенах спящих домов. Ветер гнал к югу пепельные волоконца разрозненных облаков. Поскрипывали на цепях цеховые знаки: жестяные ножницы, кружки, исиолинские калачи.

— Люди живут, как на острове,— сокрушался Йокаи, обескураженный немочью «Оппозиционного круга».— Сегодня, например, в ратуше проверяли какую-то отчетность по поводу земельных участков... Тамашу Ленхарду выдан патент на устройство колбасной. В такие дни!

— Кушать хочется и в революцию,— саркастически усмехнулся Петефи.— О близорукие! Мне жаль этих голосистых витий, героев однодневной политики. Их блестящие деяния и не менее блестящие речи — не что иное, как письма на песке, которые будут сметены первым же порывом приближающегося вихря. Нет, не таким актерам суждено разыграть на мировой сцене грандиозную драму. Они только декораторы и статисты, задерживающие занавес, таскающие на себе реквизит.

То затухал, то разгорался лунный тревожный свет. Запущенный в небо диск летел в волнах тумана. С методичностью метронома отдавалось постукивание трости в ушах.

Внутренне обмирая, Петефи внезапно, словно молния промелькнула, осознал, что и сам он, подобно остальным, только и делал все эти дни, что слепо ждал, уповая на некий высший знак. Но ведь не будет такого знака, не

будет. Надо действовать самим, ничего более не дожидаясь. И завтра же! Вашвари тысячу раз прав. Послезавтра уже будет поздно...

«Я призван! — пробудился настойчивый голос. — Призван дать первый толчок. Завтра, завтра я всех позову за собой. Если ж нас расстреляют? Ну что ж! Кто смеет желать лучшей смерти? Может быть, я и был рожден только ради этого мига. И вся моя жизнь ничто по сравнению с ним?»

— Завтра, — сказал он Мору как о чем-то давно между ними решенном. — Пусть Вашвари поднимает своих мастеровых.

— Конечно же завтра! — с готовностью и облегчением, словно сбросив какую-то тяжесть с души, подчипился Йокаи. — Но с чего мы начнем?

«Вот и он сразу понял, что призван именно я, — подумал Петефи, — и остальные так же пойдут за мной, если сам я не дрогну, не усомнюсь в себе ни на йоту». И, заряжаясь непонятной, из неведомых родников бьющей уверенностью, увлеченно заговорил:

— Логически первым шагом революции, главнейшей ее обязанностью является освобождение печати... Этим мы и займемся. В остальном положимся на бога и на тех, кто продолжит начатое нами святое дело... Важен первый шаг, — поэт перешел на жаркий доверительный шепот. — Все равно какой. Или почти все равно. Пусть люди увидят, что кто-то избран, что кому-то дано. Понимаешь?

— Как Жанна д'Арк!

— Как Жанна д'Арк. Нельзя упустить свое время. А там покатится...

Мама, гостившая по случаю ярмарки в Пеште, и Юлия еще не ложились, поджидая поэта за чашечкой кофе. Петефи по напряженным лицам и поджатым губам сразу

понял, что произошла очередная стычка. С безнадежной грустью подумал, что обе не ведают, что творят. Линия фронта проходила через его душу, и, чья бы сторона ни одолела, стать жертвой было предназначено только ему. Иначе и быть не могло. Он любил обеих и поэтому не мог оказать предпочтение никому. Они же, причем совершенно искренне, воспринимали подобную половинчатость как предательство. Не в силах разделить надвое, он с головой зарывался в работу, инстинктивно спасаясь от боли и горечи.

Но сегодня он исчерпал себя целиком, чтобы молчать или хитроумно лавировать. Хотелось излить душу, поделиться переполнявшим, встретить теплый, понимающий взгляд.

— Завтра мы пойдем в Будайскую крепость,— сообщил он с открытой улыбкой, сделав вид, что не ощущает размолвки, и распахнул окно, и раздвинул надутые ветром шторы.— Решится, быть или не быть венгерской свободе.

Затаившийся город сонно бредил под сумрачным небом, которое все сильнее затягивали тучи, успевшие запленать прибывающую луну. Не верилось, что через несколько часов все придет в движение и люди, бросив привычную работу, пойдут на выставленные штыки. Рискуя жизнью и достоинством. Отрешившись от повседневных забот. Ради чего? Так ли уж важно для них то, что другие называют свободой? Не заблуждается ли он, впадая в опасный самообман? Пойдут ли?

— Мальчик мой,— мать следила за ним с неусыпной тревогой.— А что, если немцы начнут стрелять? Ты не сердись, я не разбираюсь в ваших делах, но солдаты всегда стреляют. Побереги себя, сын.

«Как она исхудала, мама, как незаметно состарилась».

— Шандор не может отступить,— жестко отчеканила Юлия.— Неужели вы не понимаете? — Ломая спички, она

раскурила погасшую сигару, но вдруг закашлялась и с отвращением выбросила окурок в окно.

Эпатируя литературную богему, расточавшую ей неумеренную хвалу, Юлия Петефи стриглась еще короче, чем раньше, и перешла с сигарет на сигары венского сорта «Империял», но курить так и не научилась.

— Шандор должен, понимаете, должен быть впереди,— наставляла она свекровь.— Если же начнется стрельба, он подаст пример храбрости. Ведь так, Шанико? Даже если придется пасть, то только от первой пули.

— Что ты! — схватилась за голову старая батрачка, с ужасом глядя на экзальтированную невестку. (Разве о такой же мечтала она для сына?) — Ты только вдумайся, бессердечная, какие слова говоришь! Как у тебя язык поворачивается? — Она отвернулась, скрывая слезы.

— Мой муж не выкажет себя трусом,— в голосе Юлии ощутимо звучал металл.— Слава богу, у него еще есть самолюбие...

— Бессердечная,— повторила старая Мария. Ее спина содрогалась от беззвучного плача.— Он же сын мой, сын...

— А мне муж.— Юлия оскорбленно дернула плечиком и выбежала в гостиную, хлопнув дверью. Ее тоже душили рыдания.

Как смела эта совершенно чужая, темная женщина назвать ее бессердечной? Ее, отдавшую всю себя самоотверженному служению долгу. Слава богу, у нее есть чувство ответственности, наконец, интеллект, чтобы подняться над слепой любовью. Это очень легко быть просто женой, просто матерью, но требуется суровое мужество, чтобы стать подругой великого поэта. Что бы там ни болтала свекровь, она, Юлия, сумела возвыситься, преодолеть инстинкт самки. Если бы это было не так, за ней бы не охотились репортеры, чтобы узнать подробности жизни прославленного поэта, и портреты ее не стали бы помещать в журналах на самых видных местах. Разве



может понять полуграмотная крестьянка, что слава — это прежде всего обязанность! Служение идеалу!

О смерти Юлия думала столь же легко, как прежде грезила о восторгах любви. Она рисовалась ей мгновенным возвышенным подвигом, за которым следует сверкающий шлейф благодарной молвы. Жуткую пустоту, щемящую необратимость ухода не дано было ни объять, ни предчувствовать. Самопожертвование, героизм, трусость... Пока это были только абстрактные, вычитанные в романах понятия. Восемнадцатилетняя женщина, которую закружила незнакомая яркая жизнь, еще не знала утрат, не рассталась с детским ощущением личной непричастности к извечной трагедии бытия.

Не для нее звонил пражский колокольчик. Не для нее плясала костлявая гостья в берлинской Мариенкирхе...

Рано утром начал накрапывать дождик.

— Само небо готовится крестить новорожденную свободу, — невесело пошутил поэт.

После бессонной ночи побаливала голова.

— Пошли, — поторопил он собравшихся спозаранку друзей.

— Сейчас, — первно поигрывая тростью, Вашвари кивнул на Мора Йокаи и Дьюлу Буйовски, которые заканчивали воззвание.

— Идем. — Мор нетерпеливо выхватил едва дописанный лист.

— В добрый час. — Пал Вашвари резко поднялся и взмахнул тростью, задев случайно секретный запор. Острый клинок со свистом перелетел через стол. — Что это? — Он вздрогнул от неожиданности. — Штык?

— Смотрите, друзья, он указывает на Вену. — Мор поднял оружие и, вогнав его обратно, перебросил трость Петефи. — К счастью!

— Хорошая примета! — откликнулись остальные в один голос.

— Какой нынче день? Кажется, среда? — спросил Мор.

— Счастливый день, — заключил Петефи. — В среду я женился! Вперед!

«Пильвакс» встретил их восторженным ревом. Йокаи прочел воззвание, Петефи — «Национальную песню», которую многие знали уже наизусть.

— «Никогда не быть рабами, никогда!» — хором подхватили рефрен. — За дело!

— К ратуше, друзья! — позвал поэт. — Потом в Буду!

На улице уже вовсю хлестал ледяной ливень. По мостовым бежал пузырящийся поток. Водосточные трубы изливали молочные ручьи.

— Сначала к медикам. — Вашвари сорвал с головы шапочку с красным пером. — Они уже ждут.

Вместе со студентами медицинского факультета молодые литераторы составили уже внушительный отряд, к которому ежеминутно присоединялись то печатники, то портные или подмастерья с окраин.

Когда же прибавился почти в полном составе инженерный факультет, демонстрация стала расти как снежный ком. Оставили еще горячие булки пекари, погасили вагранки литейщики. С Ракошского поля, где дождь разогнал веселую ярмарку, стали прибывать толпы праздных зевак. Многие — кто проникаясь общим энтузиазмом, кто просто из любопытства — последовали за молодежью.

Из уст в уста передавались слова песни, воззвания, перечислялись двенадцать пунктов петиции, направленной императору. Улицы сделались тесными, и сами собой выстроились шеренги. Топот ног и шум дождя заглушали слова.

— Теперь за юристами, — крикнул Вашвари в самое ухо Петефи. — В семинарию.

Однако у входа в юридическую семинарию демонстрация встретила первую преграду.

Профессор в черной мантии и завитом парике, выпростав из широких рукавов растопыренные пальцы, преградил путь к лестнице.

— Территория учебного заведения неприкосновенна,— патетически воскликнул он, наполняя вестибюль эхом.— Именем закона прошу вас, господа, разойтись...

Ему ответили издевательским хохотом. Лестничные марши уже содрогались под башмаками бегущих студентов. Ученый муж юркнул в боковой коридор, а ликующие юристы, разбрызгивая лужи, вырвались на улицу.

Мор Йокаи охрипшим голосом в который раз огласил воззвание, а Петефи, энергично жестикулируя, продекламировал стихи.

— Клянемся! — отвечала толпа.— Никогда! Никогда! — внимали, как откровению, новые и новые люди.

— Ребенку труднее сделать первый шаг, чем взрослому пройти долгие мили,— бросил Петефи на ходу.— Кажется, ничего необычного, но как доблестно, как прекрасно! Венгрия не забудет этот день...

— Великий день! — подхватил Мор Йокаи на бегу.— Величайший в истории... Куда мы теперь?

— К ратуше, к ратуше,— торопился поэт.

Но так уж складывалось это поразительное утро пятнадцатого марта сорок восьмого славнейшего года, что события разворачивались непреднамеренно, как бы сами собой. Шагающим где-то в последних шеренгах только казалось, что вожди, руководствуясь тщательно продуманным планом, полностью управляют ходом манифестации, ее последовательным течением. Честь и хвала вождям, сумевшим внушить такую воспламеняющую иллюзию! На самом деле не было ни продуманных планов, ни строгой последовательности действий, и стихия случайности равно владела всеми: вождями и рядовыми участ-

никами. Дело решала лишь быстрота и безошибочность реакций на неисповедимую волю момента.

— Пойдемте к цензору, господа! — предложил кто-то в шеренге юристов. — Мы должны заставить их подписать воззвание и «Национальную песню»...

И уже прокатывалось над колышущимся морем голов:

— К цензору! К цензору! — Словно не было у революции более важных задач.

— К цензору не пойдем! — едва успев осознать, отверг неожиданное требование Петефи. — Никаких цензоров мы более знать не желаем! — крикнул он, поднятый на плечах. — Идем прямо в типографию!

И тотчас улицы огласили приветственные крики, и колонна свернула к печатне Ландерера, которая находилась ближе всего. Подобное никак не было предусмотрено, но приходилось делать вид, что нет ничего важнее в эту минуту наборных касс. От этапа к этапу, от победы к победе.

Старик Ландерер, выслав на двор бухгалтера, поспешил сбежать черным ходом. Меньше всего хотелось ему компрометировать себя пособничеством молодым бунтарям. Одного Кошута было более чем достаточно. Кто знает, как обернутся подобные безобразия...

— Я протестую, — на всякий случай заявил наспех проинструктированный бухгалтер. — Вы посягаете на частную собственность, господа.

— Мы занимаем типографию именем народа, — отстранил его Петефи, проходя в цех, где его шумно приветствовали наборщики.

Следом за ним в типографию вступил Йокаи, которого тоже хорошо знали. Несколько человек, чтобы не мешать, поднялись на балкон.

— Имейте в виду, — пригрозил бухгалтер, — что вам придется держать ответ за ваши самовольные действия.

— Как-нибудь ответим,— отмахнулся поэт.— За работу, друзья! — скомандовал он печатникам.— Срочно в набор.— Укрепил на пюпитре текст и заправил бумагу для первого оттиска.— Под мою ответственность и...

— ...без цензуры! — донеслось с балкона, где Вашвари, Эгреши и Дэгре, сменяя друг друга, провозглашали постулаты свободы.

— Поклянемся,— призвал Вашвари,— что не успокоимся до тех пор, покуда с корнем не выкорчем тиранию!

— Сейчас набирается первое произведение свободной венгерской печати,— объявил, появившись на балконе, Йокаи.

— Между нами и печатью нет больше иезуита! — подхватил Вашвари.— Там, в типографии, сейчас впервые работают свободно, и через минуту покажется первенец...

И действительно, вскоре первые отпечатанные листки закружились над мокрыми, запрокинутыми к заплаканному небу счастливыми лицами. Навстречу им взметнулись сотни жаждущих рук. Листки скоро намокали и расплзались в руках, но, как из рога изобилия, продолжали падать на землю вместе с первым весенним дождем.

— Природа поливает новорожденного святой водой,— прокомментировал Пал Вашвари.

Из типографии манифестанты устремились наконец к ратуше. Советники и бургомистр, заранее оповещенные о приближении несметных толп народа, поспешили широко раскрыть двери залы собраний.

Без лишних слов отцы города скрепили подписями отпечатанный у Ландерера документ, озаглавленный с присущим революции лаконизмом: «12 пунктов». Бургомистр сам вынес на площадь скромный листок, обретший отныне силу закона.

«Все получается, все удастся,— горел лихорадкой поэт.— Только б не потерять уверенности, не сбить шага...»

— На Буду! — скомандовал он, сбегая по гранитным ступеням городской ратуши. — Без промедленья!

Неведомыми путями распространился слух, будто навстречу идут войска.

— Оружия! — потребовали отдельные голоса. — Оружия!

Но поздно было вооружаться, да и не рассчитывал никто, хоть такая опасность и существовала, на кровавое столкновение.

Петефи оглянулся, но не встретив ни одного испуганного взгляда, махнул рукой в сторону Дуная.

— Вперед, вперед! — задыхаясь на бегу, обогнал его Вашвари.

— К Наместническому совету! — передавался громогласный призыв. — Откроем двери тюрьмы, освободим Штанчича!

Летний мост еще не был наведен, и демонстранты начали спешно захватывать лодки.

— Сначала депутацию! — распорядился Вашвари, первым достигший набережной.

— Изберем депутацию! — подхватили студенты-медики, помогая навести хоть какой-нибудь порядок. — Не переполняйте лодки, господа, это опасно...

— Петефи! — прозвучало сразу в нескольких местах.

— Шамуэль Эгреши! Мате Дьюркович! Габор Клаузал! Леопольд Роттенбиллер! — посыпались имена. — Лайош Качкович! Пал Няри!..

— Не все сразу, господа, по порядку, пожалуйста, по порядку!

— Пал Вашвари!

— Гашпар Тот!..

— Гашпар Тот? — повторил Петефи за кем-то знакомое имя, ища глазами славного мастера, пожертвовавшего тридцать полновесных пенгё на его первую книгу.

— Здорово, парень! — хлопнул его по плечу старый портной. — Мы еще проживем.

— Я твой должник! — весело отозвался поэт. — Никогда не забуду.

— А как же, — ухмыльнулся в усы дядя Гашпар. — В лодку, малыш, а то для нас не останется места...

Теперь, когда на мутных от ливня дунайских волнах качались десятки утлых суденышек, крепость могла открыть огонь и разом покопчить с мятежом. Если Наместнический совет и вправду решил выставить перед пародом войска, то это лучше всего было сделать в Буде, где все ведущие в город дороги отлично простреливались с высоты.

Генерал фон Ледерер, командующий гарнизоном, вывел солдат из казарм и скомандовал: «Заряжай!» Были приведены в боевую готовность и крепостные пушки, возле которых застыли фейерверкеры с зажженными фитилями. Однако решающей команды так и не последовало. Помогли слухи, распространявшиеся в венгерских столицах с непостижимой быстротой.

— Весь Пешт на ногах, экселенц, — докладывал генералу шпик, не потрудившись даже переправиться на другой берег. — Сюда движутся несметные полчища, многие вооружены... Я слышал, — добавил он простодушно, — будто Петефи держит на Ракошском поле сорок тысяч крестьян с наточенными косами и цепями.

Почему-то последнее сообщение, воскресившее давний призрак «Восстания башмака», произвело на Ледерера особо сильное впечатление. Вернув солдат в казармы, он распорядился погасить фитили.

А лодки, между тем, все прибывали и прибывали. Высадив очередную партию, отправлялись на пештский берег за новой. Когда у подножья горы Геллерт скопилось несколько тысяч повстанцев, депутация двинулась вверх, к Наместническому совету.



Наместник, которому доложили о подходе «возбужденной черни», приказал войскам на провокации не поддаваться и никаких препятствий народным уполномоченным не чинить. Не зная, какой прием приготовила венграм имперская Вена, он мудро предпочел не ссориться с ними здесь, в их собственном доме.

После короткого совещания Наместнический совет принял все требования восставших. Тюремные вахмистры получили указание открыть двери камер.

Петефи, размахивая коптящим факелом, первым ворвался в тюремный коридор, где, вытянув руки по швам, жались к стенам перепуганные надзиратели.

— Где Штанчич?! — гневно подступал он к ближайшему, рассыпая смоляные искры. — Штанчич!

— Извольте сюда, — гремя ключами, бросился указывать дорогу старый служака. — Направо, прошу...

Смахнув с откидной доски глиняный кувшин с водой и заплесневелую корку, Штанчич, до неузнаваемости обросший волосами за долгие месяцы ожидания приговора, сам распахнул окованную железом дверь.

— Я здесь, братья! Кто меня звал?

— Михай Штанчич! — Молодой человек в развеваемомся плаще, отшвырнув пылающий факел, заключил его в тесные объятия. — Вы свободны! За вами пришел народ...

— Да здравствует Штанчич! — слышалось в конце коридора. — Да здравствует первый цветок весны.

Узника вынесли на руках, усадили в первый попавшийся экипаж, откуда выпрягли пару саврасых, и повезли к переправе. Десятки рук подхватили оглобли, обжигаясь о гладкое дерево. Сотни горящих факелов обозначили путь.

Студенты не успокоились, пока не довели коляску до самого порога, где молча плакала рано поседевшая женщина, окруженная притихшими детьми. Второй сын умер,

пока Штанчич томился в казематах, а самый младший подросток и научился говорить без отца.

— Танчич! — неуверенно произнес он, когда над ним склонился бородатый незнакомец.

— Ах ты, мой маленький! — Михай высоко поднял малыша. — Пусть будет Танчич, если тебе так удобней...

И стал Штанчич Танчичем в первый день свободы и подписал затем этим именем первый номер «Газеты рабочих».

— Это настоящая революция! — Петефи благодарно протянул Палу Вашвари обе руки.

— Теперь только не останавливаться... Волна за волной.

— Отправляйся в Пожонь, товарищ, — не иссякал внутри ликующий родник, подсказывая нужные, единственно необходимые слова. — Кроме тебя, некому. Возьми с собой Тополянски.

— А ты? — удивился Вашвари. — Меня там не знают.

— Оно и к лучшему. У нас с Кошутом не выйдет доброй встречи, а без сословного собрания не обойтись.

— Оно представляет только привилегированный класс, не нацию! — отрезал Вашвари. — Но, если нужно, я отправлюсь с первым же пароходом, — склонил он упрямую голову.

— Нужно, — твердо сказал Петефи. — А ты, Мор, спеши на Ракошское поле, — опустил он руку на плечо Йокаи. — И попробуй поднять крестьян. Если говорят, что Петефи держит там сорок тысяч, — добавил под общий смех, — то пусть это хоть наполовину окажется правдой.

Петефи вошел в Комитет общественной безопасности — первый орган революционной власти, возникший в неповторимую ночь пятнадцатого марта. Главной задачей комитета было установление связи с провинцией и создание национальной гвардии. Революция, чьей столицей с первых же дней сделался Пешт, должна была защи-

щать свои завоевания. Чтобы распространить полномочия Комитета на другие города и области, во все концы страны были разосланы воззвания.

В течение двух недель пожоньское собрание разработало законы, определявшие устройство новой, но все еще связанной с габсбургской династией Венгрии. Коалиционное правительство, которое возглавил Лайош Баттяни, вынуждено было все чаще считаться с буйным весенним ветром, веявшим с Пешта.

«Если свободе Пешта или каким-либо завоеваниям 15 марта будет угрожать опасность,— предупреждала петиция городов Альфёльда,— то мы сочтем своим патриотическим долгом встать на их защиту».

## 39

Как светлы и бездонны лужи после весенних дождей! И разверзается под ногами зовущая бездна, впитавшая сияние неба, и кружит головы нектар земного пробуждения.

Еще не отблистала заря воспаленными скважинами и летучими фосфористыми облачками, как вспыхнули факелы, торопя темноту, загорелись фонарики, очертив неземные ворота и арки.

Пешт ликовал, рассыпая огни. Печатники Ландерера — герои дня — в синих рабочих блузах и бумажных колпаках национальных цветов прошли со свечами мимо музея. В театре актеры покинули сцену и, смешавшись с публикой, грянули хором «Национальную песню».

«Встапъ, мадьяр!» — летело над площадями и набережными.

«Зовет отчизна!» — откликались предместья.

Чуткий к перемене ветров Эмих поспешил обновить экспозицию, водрузив в самом центре освещенной витри-

ны портрет Шандора Петефи. «Мартовская молодежь» Пала Вашвари сменила трехцветные кокарды на красные розетки республиканцев.

Кружились карусели на Ракошском поле, и силачи выжимали гири, и факиры глотали огонь, и женщина-русалка стыдливо демонстрировала декорированные неню-фарами<sup>1</sup> груди.

Вот только крестьяне, купив хомутов, горшков и сахарных сердец, начали разъезжаться. Погуляли в городе — и хватит, пора домой, где ждет ожившее, жадное поле.

— Мы обманывали самих себя, — с горечью признался Мор Йокаи, зазвав Петефи к себе в комнату. — Мы полагали, что у нас есть народ. Но его нет. Да и прежде было лишь дворянство. Для огромного числа землепашцев даже слово «родина» незнакомо. Народ любого готов благодарить за малейшее облегчение, только не родину, обещающую свободу. Человек в сюртуке крестьянину ненавистен, ему и закон не закон, покуда нет под ним императорской печати с большим двуглавым орлом. Он не возьмется за оружие, чтобы защитить нас, слову нашему не верит, планов наших не поддерживает. Так наказывает нас господь за грехи отцов наших.

— Что ж, — сурово сказал поэт, — значит, настал час искупления.

— Поздно, — покачал головой Йокаи. За одни сутки лицо его совершенно переменилось: щеки ввалились, обозначились скулы, свинцовая тень залегла под глазами.

— Почему поздно? Революция только начинается.

— Они не знают даже герба своей страны! — Пытаясь согреться, Мор подвинулся ближе к камину, где дымилась промокшая одежда.

---

<sup>1</sup> Так в девятнадцатом веке высоким стилем именовались кувшинки.

— Мы объясним.

— Национальных цветов...

— Они увидят их на боевых знаменах. Сыгран лишь первый акт.

— Я не верю в бои.

— А я не только верю, но твердо знаю, что они на подходе. Поверь мне, вчерашняя бескровная победа скоро будет вспоминаться как последняя улыбка судьбы. Свобода не падает в руки, как спелый плод из райского сада.

«Передо мной кровавой панорамой встают виденья будущих времен».

В Пожони, которая салютовала возвратившимся из Вены победителям, не разделяли ни пештских восторгов, ни опасений. Кошут, поначалу приветствовавший горячий порыв «мартовской молодежи», видя в ней средство давления на неподатливое крыло сейма, вознамерился осадить не в меру резвых юнцов.

Особое раздражение вызывал неугомонный поэт. Если бы он ограничился тем, что согнал вооруженных крестьян на Ракошское поле — слух продолжал действовать, — да самовольно упразднил цензуру, то можно было бы подумать о дальнейшем сотрудничестве. Но в своем безумном, иначе не назовешь, неистовстве он замахивается на самые основы порядка и права.

Кошут с растущим раздражением проглядел заботливо подобранное досье. Хорошеньких дел натворили в Пеште доморощенные якобинцы, пока он отстаивал интересы нации в императорском дворце! Они замахнулись на все разом.

«Объявляем, что из нашего журнала изгнана буква «У» («ипсилон»), — не веря своим глазам, читал он отчеркнутое секретарем оповещение в свежем номере

«Элеткепек». — Отныне ничье имя мы не станем писать с этим аристократическим окончанием».

На первый взгляд — безответственная, дикая выходка расшалившихся школяров. Но хуже всего то, что за ней просвечивает явное намерение продолжить атаки на дворянство — элиту нации, фундамент государственного устройства. Впрочем, и на это можно было бы закрыть глаза. Отнести к неизбежным перехлестам, как-то сгладить, просто высмеять, наконец. Если новым редакторам «Элеткепек» фамилию Széchenyi угодно писать упрощенно, бог с ними. Даже новое — Kosut, вместо аристократического Kossuth, готов простить чуткий к слову создатель «Пешти хирлап». Новоявленным реформаторам венгерской письменности не отнять у него ни древнего имени, ни славы. Иное дело — явный выпад, нацеленный на раскол нации. Такого Кошут не простит никому и никогда.

Тонкие бледные пальцы с неожиданной силой сминают в комок тщательно переписанную копию стихотворения:

Как здоровье ваше, баре-господа?  
Шею вам не трет ли галстук иногда?  
Мы для вас готовим галстучек другой,  
Правда, он не пестрый, но зато тугой.

Нет, избави бог от такого союзничка! Это не поэт, служитель муз, а настоящий бешеный пес, готовый кусать без разбора. Во имя интересов общества подобных субъектов следует изолировать. Грозя другим виселицей, они сами просятся в петлю...

Лайош Кути, который, быстро сориентировавшись после парижских событий и внезапного исчезновения Бальдура, получил место личного секретаря графа Баттани, застал Кошута в угнетенном состоянии духа.

— Мой принципал, — Кути позволил себе снисходительную улыбку, мягкой кошачьей походкой подступая

к столу,— обращается к вам с покорнейшей просьбой...

— Что такое? — все еще думая о своем, озабоченно нахмурился Кошут.

— Прибыла депутация из Пешта, эта «мартовская молодежь» с красными перьями...— Кути, по обыкновению, не договаривал, позволяя собеседнику самому сделать конечный вывод.

— Они хотят встречи со мной?

— С вами, с принципом, с полковником Месарошем, с графом Сечени... Со всеми, коротко говоря.

— Конечно, господин Петефи? — криво усмехнулся Кошут.

— Представьте себе, нет.— Кути держался заискивающе и одновременно чуточку фамильярно.— Некто Вашвари, лидер «мартовцев», присяжный уличный крикун.

— Мне бы не хотелось встречаться с подобными людьми...

— Принципал тоже не в восторге,— поспешил вставить Кути.

— Но если Сечени не откажется прийти, я буду. Пора приструнить кофейных якобинцев.

— «Кофейные якобинцы»? Бесподобно! Это куда лучше, чем «ультрабаррикадисты» и «апостолы паровых гильотин» господина Сечени,— умело польстил Кути.

— Вы находите?

— Никакого сравнения!.. Позвольте обратиться к вам с небольшой просьбой не личного, так сказать, характера.

— Слушаю вас.— Кошут сделал участливое лицо.

— Меня одолевает жена редактора Вахота, ее можно понять, она хлопочет за мужа...

— Это какой Вахот? Тот, кто выпестовал Петефи?

— Увы.— Кути смиренно опустил веки.— Но он наказан за свое благодеяние черной неблагодарностью, будьте уверены. В его лице Петефи нажил страшного



врага.— Он передернулся в шутливом ужасе.— И поделом.

— И чего же просит госпожа Вахот для своего мужа?

— Вахот мечтает о газете.

— Хорошо, я подумаю,— пообещал Кошут.— Значит, Сечени вы берете на себя?

Пал Вашвари, не снимая плаща, гордо вступил в залу Государственного собрания, где за председательским столом уже ожидали его Баттяни, Кошут и Сечени. Следом за ним вошли и заняли передние места остальные посланцы Пешта.

Больше в зале не было никого. Молчаливая троица на возвышении поразительно смахивала на королевский суд.

— Мы уже информированы, господин Вашвари,— без всякого предисловия начал Кошут, желая поскорее покончить с неприятными объяснениями,— о событиях в Пеште и в принципе готовы одобрить ряд выдвинутых горожанами требований.

— Одобрить? — Вашвари вызывающе вскинул голову.— Но «Двенадцать пунктов» венгерской свободы приобрели силу закона и не нуждаются ни в чьем одобрении. Мы исходим из принципа, что делегация революционного Пешта более полномочна представлять венгерский народ, чем все пожоньское собрание.

— Ого! — Сечени многозначительно поднял палец.

— Да, сударь, пожоньские депутаты представляют только самих себя и свои собственные интересы.

— Зачем сразу же начинать с дерзостей, молодой человек? — упрекнул Баттяни.— Если вы хотите хоть о чем-то договориться. Ведь хотите? Это действительно так?

— Я только напомнил господину Кошуту о правах граждан революционного Пешта.

— Нет у Пешта никаких особых, отличных от прочих прав! — взорвался Кошут. — Мы не позволим дробить родину на куски. — И, не сдержав переполнявшего его раздражения, выкрикнул уже совсем несусветное: — Кто не покорится, тот будет вздернут!

Сечени, скрывая усмешку, наклонил голову: судя по всему, поворожденная революция уже готовилась пожрать самое себя.

«Что я делаю? — с запоздалым сожалением подумал Кошут, и тоскливо защемило внутри. — Какие жуткие слова говорю...»

Он вспомнил, как ему самому сулила виселицу державная Вена. Жестокую фразу Сечени — «повесить или использовать», произнесенную, пусть в иных обстоятельствах, вспомнил, и краска стыда полыхнула на белом, как алебастр, лице.

«Что же я делаю? — Прихлынула вновь невыразимая тоска. — Куда нас неудержимо несет?..»

Вашвари, впавший в мгновенное оцепенение, сначала не поверил своим ушам. Чтоб такое позволил себе «отец венгерской свободы»?

— Подобные угрозы не есть свидетельство силы, — с трудом произнес Вашвари, и губы его исказила горькая гримаса. — Скорее напротив — слабости... Мне искренне жаль вас, Кошут, впрочем, я передам ваш ответ.

«Это не ответ, постойте!» — взмыл из глубин умоляющий голос, но Кошут только молча кивнул. Слово сказано, и его не вернешь...

«До чего докатился!» — подумал Вашвари и выжидательно перевел взгляд на Баттяни. Пусть и этот выскажется.

— М-м, любезный господин э... Вашвари, — смущенно пожевал губами Баттяни. — Все мы одинаково заинтересованы в процветании отечества... Лично я счастлив проинформировать делегацию славного Пешта о том, что на

последнем заседании нижней палаты были приняты законы об освобождении крестьян с выкупом земли и об ответственном министерстве. Правда,— он поспешил с оговоркой,— законы еще подлежат утверждению в верхней палате, но прогресс, как вы изволите видеть, налицо.

— Мне также приятно сообщить,— присоединился, заставив себя успокоиться, Кошут,— что большая часть требований Пешта уже фигурирует в программе Государственного собрания. Наши разногласия носят скорее эмоциональный, нежели деловой, характер, и я сожалею, что отклонился от существа. Как и мои коллеги, я считаю, что население Буды и Пешта играет исключительно важную роль, но было бы неверно считать его единственным распорядителем судеб нашей, господа, родины. Нация достаточно сильна, чтобы защитить себя от чрезмерных притязаний,— он бегло глянул на «мартовцев» в зале,— откуда бы они ни исходили.

Вашвари вызывающе усмехнулся.

Сечени, в центральном кресле, важно кивнул.

— Прошу также довести до сведения граждан,— счел необходимым добавить Баттяни,— что вместе с барщиной отныне и на вечные времена упраздняются помещичья девятина и церковная десятина. Вот так, господин Вашвари. Полагаю, что у всех нас есть основания испытывать законную гордость и удовлетворение.

— Что думает сейм о назначении хорватским наместником, с титулом бана, генерал-лейтенанта Елачича, известного мадьярофоба?

— Обещаю вам, что этот вопрос со всей серьезностью будет поставлен перед императором.

— А как быть с посылкой наших солдат в Италию? Вместо того, чтобы охранять завоевания революции, их посылают расстреливать чужую свободу. Не кажется ли это вам несколько странным, сиятельные господа?

— Вы преувеличиваете,— поморщился Сечени.

— Мы обсудим и этот вопрос,— заверил Кошут.

— Несомненно,— заключил Баттяни, которого прочили в премьеры.

## 40

Опустело Ракошское поле, где под отмершими корнями ржавеют в окаменевшем песчанике доспехи и косы. Только колышки шатров и праздничный хлам оставила безобидная весенняя ярмарка. Тень крестьянского восстания тысяча пятьсот четырнадцатого года, когда на Ракошской кочковатой равнине собралась добрая сотня тысяч холопов, нарисовало пугливое воображение. Вместе с туманом, сгустившимся после дождя, она испарилась на солнце.

Едва прошел первый испуг, Наместнический совет начал собирать подробную информацию о действительном положении в стране. На сей раз специалисты по венгерским делам как в Буде и Пожони, так и в самой Вене постарались отсеять вздорные слухи вроде тех, что так напугали немецкую комендатуру.

— Пушек Будайской крепости, ваше величество,— доложил императору Иштван Сечени, прибывший в Хофбург как глава парламентской делегации,— да двух эскадронов кавалерии было бы вполне достаточно, чтоб в корне подавить беспорядки. К сожалению, армия оказалась не на высоте возложенных на нее задач. Теперь же для обуздания молодчиков с красными лоскутами потребуются усиленные контингенты. Ежели господь бог не поможет, то якобинский террор покажется безобидной комедией по сравнению с кошмаром, ожидающим нас.

Венгерскому графу, чье обращение к возлюбленному королю не было санкционировано ни Баттяни, ни тем более Кошутом, и в голову не пришло, что он совершает измену.

В ответ на запрос его апостольского величества эрцгерцог палатин, которого вскользь укоряли за проявленное бездействие, направил подробный отчет о настроениях в Буде и Пеште, подкрепив им сделанные ранее выводы, оказавшиеся пророческими:

«Ваше величество!

Положение в Венгерском королевстве в настоящее время настолько тяжелое, что со дня на день следует ожидать самого опасного взрыва. В Пеште царит анархия... во многих местах взбунтовалось дворянство.

Кратко перечислю три способа действий, которые считаю единственно возможными для того, чтобы хоть как-то сохранить за собой Венгрию. П е р в ы й: отозвать все войска из страны и, оставив таким образом ее на погибель, не вмешиваться даже тогда, когда крестьяне будут жечь дворянские усадьбы. В т о р о й с п о с о б: вступив на основе проекта закона в переговоры с графом Баттани, спасти вместе с ним то, что еще можно спасти... При т р е т ь е м с п о с о б е действий следует направить в Пожонь человека с полномочиями, который, опираясь на мощную военную поддержку, распустит Государственное собрание, а затем войдет в Пешт и будет держать нацию в железном кулаке до тех пор, пока это окажется необходимым.

Первый способ мне противен: он аморален, да и не сто́ит подданных Вашего величества подвергать ужасам революции. Второй способ хорош и может быть успешным, хотя на первый взгляд и кажется, что он приведет к разрыву. И тем не менее это единственная гарантия удержать взбунтовавшуюся провинцию. А когда наступят лучшие времена, многое можно будет изменить... Остается еще и третий способ. Но здесь возникают четыре вопроса: а) хватит ли средств, чтобы послать в Венгрию крупный воинский корпус?.. б) достаточно ли войск вообще?.. в) есть ли человек, который возьмется за это

дело?.. г) наконец, есть ли уверенность, что этот способ оправдаст себя и что остальные провинции останутся мирными?

Откровенно говоря, считаю, что при нынешнем положении дел следовало бы прибегнуть ко второму способу действий.

Вена, 1848 года февраля 24 дня  
Преданнейший слуга Вашего величества  
эрцгерцог *Стефан*»

Коловрат, продолжавший следовать примитивно коварной методе прежнего канцлера, ухватился вначале за способ номер три, прозорливо подсунутый еще провинциалом Общества Иисуса отцом Бальдуром, и незамедлительно направил к Йосипу Елачичу, бану Хорватии, майора Эдэна Зичи, снабженного необходимыми полномочиями и денежными средствами.

Пештские события, однако, не позволяли смиренно дожидаться плодов затеянного эксперимента, побуждая к принятию срочных мер.

Взвесив все «за» и «против», Вена решила приступить параллельно и к разработке варианта за номером два, разумеется, в своей, точнее, меттерниховской интерпретации.

Результатом явился императорский рескрипт от двадцать девятого марта. Соглашаясь с образованием ответственного перед парламентом правительства Венгерского королевства, Фердинанд тем не менее счел возможным оное ответственное правительство подчинить канцелярии императорского двора. Военные и финансовые дела Венгрии, по убеждению императора, должны решаться все-таки в Вене, а не в диких степях Паннонии. Нетерпеливо развернув документ, снабженный сургучной печатью и подписями имперских министров, наместник с первых же слов понял, что это конец. Если учесть, что распо-

ряжение финансами было поручено Кошуту, то занятая Веной позиция выглядела не только вызывающей, но и провокационной. В создавшейся обстановке никакое венгерское правительство — этого в Хофбурге не знать не могли — и дня не просуществует без Кошута. Разрывая отношения с лояльной оппозицией, династия открывала дорогу откровенной анархии, чтобы получить повод для применения военной силы, едва наступит подходящий момент.

Таким образом, и способ за номером один, но чудовищно извращенный, перевернутый с ног на голову, тоже принимался к возможному руководству.

Молодой надор Стефан с ужасом взирал на рескрипт, словно это была бомба, у которой вместо тесьмы с сургучом болтался подожженный фитиль. Но делать нечего, приходилось исполнять монаршую волю. На яхте с наместническим штандартом на фок-мачте срочно развили пары.

Стефан предпочел лично объясниться с мадьярскими лидерами. Только бы не наделали непоправимых глупостей сгоряча. Нужно потерпеть, попробовать еще раз договориться. В крайнем случае, палатин сам возьмет на себя посредничество между венгерскими министрами и венским двором.

— Я подам в отставку, — решительно пресек любые уговоры граф Баттани. — Я честный человек, ваше высочество, и не терплю лицемерия. Подобные игры не для меня.

Сечени, только что вернувшийся из Вены, сделал вид, что крайне огорчен, но, если есть шансы на изменение высочайшей позиции, готов ждать сколько угодно.

Кошут, как и следовало ожидать, высказался с язвительной резкостью. Причем публично, с высокой трибуны.

— Рескрипт, господа, — сказал он, обращаясь к депутатам, которых следовало именовать отнюдь не «госпо-



дами», а «уважаемыми сословиями», — не что иное, как возмутительная насмешка, легкомысленная игра с отчизной и тронem. Независимое министерство в Буде окажется всего лишь второразрядной почтовой конторой, как был Наместнический совет.

Сечени только руками развел и многозначительно взглянул на Ференца Деака и полковника Месароша, стоявших за сохранение связей с династией. Пусть задумаются лишний раз над тем, куда может завести нацию человек, открыто оскорбляющий наместника, приехавшего с самыми благими намерениями, даже императора.

Но и Деак, и Месарош, напустив озабоченность, отвели взгляды. Рескрипт окончательно выбивал из-под ног почву, не позволяя надеяться на компромисс. Лазар Месарош, ответственный за оборону, вообще почувствовал себя оскорбленным. Если император позволяет столь пренебрежительно относиться даже к людям благонамеренным, то ему нечего и надеяться на лояльность открытых противников. Кошут по-своему прав.

— Одумайтесь! — натолкнувшись на враждебное молчание, взмолился наместник. — Проявите достойную сдержанность. На нас с вами, — он всем видом показывал, что не отделяет себя от общей судьбы, — возложена высокая ответственность. Да поможет нам бог оказаться достойными! Иначе прольется безвинная кровь, иначе не будет прощения ни на небе, ни на земле!

— Кому, ваше высочество? — печально спросил Кошут. — Разве я не твердил на каждом шагу, что кровь не должна проливаться? Сама мысль об этом приводит меня в содрогание!.. Но в Пеште, как, впрочем, и в Вене, гуляют разные настроения. Я знаю людей, которые еще неделю назад заявляли о своей приверженности монархии, но это было, повторяю, неделю пазад. Теперь они далеко превзошли в непримиримости самых крайних из сидящих в этой зале. О себе, всю жизнь терпевшем муки

ради высоких принципов человеческого достоинства, я уж не говорю. Несмотря на открытый вызов, брошенный венгерской нации, я по-прежнему питаю надежду, что благородная уверенность в торжество правого дела позволит избежать трагического финала.

Проникаясь, почти против воли, растущей симпатией к человеку, на которого привык возлагать ответственность чуть ли не за все невзгоды и неурядицы своего наместничества, эрцгерцог благодарно прижал руку к сердцу и молча покинул собрание.

Сдержанные, полные гордого достоинства и чувства высочайшей своей ответственности слова Кошута производили глубокое впечатление. Они отнимали последнюю надежду на мирное разрешение спора. Яснее открытых угроз, беспощаднее горестных обвинений.

— Я попробую еще раз обратиться к его величеству,— нарушил общее затянувшееся молчание Сечени.

— Ты уже пробовал,— с присущей ему грубоватой бесцеремонностью осадил Баттяни.— Я сам поеду в Хофбург!

В Пеште и в Буде появились неведомо откуда возникшие личности, подстрекавшие население к беспорядкам. Выдавая себя за вождей революции, они ловко подвуживали распаленную, сбитую с толку публику.

— Виват свободе, друзья! — громогласно вопили одни где-нибудь на углу возле булочной.— Кто голоден, пусть смело забирает свой хлеб!

— Вино,— нашептывали в почлежках для бездомных другие.— Знаете бочки на винокуренном заводе графа Каройи?

— Долой квартирную плату! — науськивали третьи обитателей доходных домов.— Революция отменила ее раз и навсегда...

И, словно замороженная дудочкой крысолова, толпа подвигалась к губительному краю, огрызаясь на предостережения бессильных пророков. Участились случаи избиения «мартовцев», призывавших не поддаваться провокационным соблазнам. И вообще мода на красное заметно ослабевала.

Казалось бы, эрцгерцог Стефан мог лишь радоваться подобному обороту событий, тем более что он догадывался, из каких щелей выползли новоявленные крысоловы. Но именно по этой причине и были бессонны его тяжкие ночи. Со дня на день, изнемогая от собственного бессилия, ждал он начала кровавой бойни. Не выдержав однажды среди ночи напряженного ожидания, послал карету за Кошутом. Только с ним, пусть врагом, но врагом открытым и благородным, можно было хоть о чем-то договориться в столь ответственный, чреватый непоправимыми переменами час.

О венских переговорах сообщений не поступало. Да и не приходилось ждать оттуда сколь-нибудь добрых вестей.

— Простите великодушно, что поднял вас среди ночи.— Стефан усадил Кошута поближе к пылающему камину и сел в кресло напротив, устало свесив набухшие синими жилами кисти рук.— Я совсем не сплю.— Будто снимая невидимую паутину, он провел по лицу.

Редкостный, недавно открытый самоцвет, названный александритом в честь русского цесаревича, сверкнул на пальце кровавым изменчивым бликом.

«Как зрак циклопа»,— подумал Кошут.

— Я встревожен молчанием Баттяни.— Стефан зябко поежился, несмотря на жар потрескивающих поленьев и наброшенный на плечи белый с золотом ментик, подбитый горностаевым мехом.— Вам он ничего не писал?

— Нет,— односложно ответил Кошут.

— Интересно, что сказал император...

— Вы ждете ответа от меня? — дернул плечом Кошут.

— Разумеется, нет, — смешался эрцгерцог. — Это лишь так, к слову, но я не нахожу себе места от волнения... Неужели все наши надежды пойдут прахом?

— Ничего не могу сказать, ваше высочество, ибо не знаю.

— Но если император все же не согласится? Вспыхнет война?

— Не на жизнь, а на смерть, — с бесстрастным спокойствием подтвердил Кошут. — Мы не позволим расчленивать родину.

— Разве на нее кто-то посягает?

— А вы как полагаете, ваше высочество? Или, быть может, Елачича не стоит принимать всерьез?

— Да, вы правы, вы правы, — пролепетал Стефан, мысленно сопоставив погромные заявления бапа и свои собственные советы императору Фердинанду. — Куда все катится? К чему мы придем?

Кошут видел, как мечется зажатый между двух огней влосчастный наместник, как тщится хоть ненадолго отсрочить одинаково губительный для него выбор между приверженностью к династии и доверием страны. От чего-то приходилось отказываться, приносить в жертву главному второстепенное. На его глазах совершался трудный, мучительный процесс окончательной переоценки. Кошут догадывался, чем закончится внутренняя борьба, и не желал вмешиваться, хоть и сочувствовал отчасти прекраснодушному совестливому принцу.

— Скажите же хоть что-нибудь, — тихо попросил Стефан. — Что, по вашему мнению, я, лично я, должен сделать?

— Добиться точного выполнения обещаний, данных венгерской нации.

— Короче говоря, встать на сторону оппонентов его величества?

— На сторону закона, который должен стоять выше государей.

Оба понимали, что спор не имеет смысла, ибо выбор, в сущности, предрешен. Династии, вне которой эрцгерцог не мог и помыслить себя, удалось выиграть главное — время. А раз так, то печего и мечтать о самостоятельных решениях. Преодолев первоначальный шок, консолидируются противостоящие анархии силы, укрепляются гарнизоны в Италии, хорватский бан с каждым днем набирается мощи для решительного броска. Стоит ли бежать из армии победителей? Причем накануне боя?

Что по сравнению с весомыми реалиями тайный голос, взывающий к справедливости, инстинктивное отвращение к чужим страданиям? Страх крови?

— Итак, война? — подвел итог внутренним борениям палатин. — И каковы, по вашему мнению, будут ее последствия?

— Смотря для кого. — Кошут отвел глаза от налитых винным свечением уголков и решительно поднялся. — Если для меня, то вполне возможно — эшафот, для вас — возвращение в Вену... Я, ваше высочество, давно готов отдать жизнь за честь моей родины, вы же, — он помедлил, — вы могли бы надеть на себя корону.

— Что вы говорите? — прикинулся изумленным Стефан. — О чем?!

— О короне святого Иштвана, вашего доброго ангела. — Кошут устремил на палатина проникновенные, расширенные волнением зрачки. — О славной стемме<sup>1</sup> нашей государственности.

— Это безумие, — прошептал палатин. Конечно, он знал, что венгерская аристократия с радостью водрузит на его чело королевский венец. Соблазнительная мысль о том, что при известных обстоятельствах и Вена была бы

---

<sup>1</sup> Тип короны.

вынуждена одобрить подобный выбор, все чаще и чаще приходила ему на ум. Обдумывая ее вновь и вновь, он всякий раз терпел крушение, не находя в себе нравственных сил бросить вызов династии, к которой принадлежал с рождения.

— Неужели вы считаете меня способным на низость? — Стефан поспешно оставил кресло и ответил Кошуту гневным взглядом. — Я не могу оспаривать трон у моего кузена.

— Будьте выше семейной щепетильности, ваше высочество, — сильный, хорошо поставленный голос Кошута внезапно сорвался, — не дайте кровавому наводнению затопить землю. Этим вы не только спасете Венгрию для династии, но приобретете вечную благодарность всех народов империи: и мадьяров, и немцев.

— Безумие! — закрывая руками лицо, повторил Стефан. — Я всего лишь австрийский эрцгерцог. Один из многих... В одиночку я ничего не значу, как Антей без земли, — прошептал он с откровенностью обреченного. — Нет, не могу, не зовите...

— Вы хорошо обдумали? — спросил Кошут, откинув упавшую на лоб прядь.

— Да! Да! — мучительно простонал наместник, не открывая лица. — И пусть свершится, чему суждено.

— Аминь! — сурово откликнулся Кошут.

Фельдъегерь из Вены застал наместника в состоянии, близком к истерике.

— Давайте, давайте! — Он нетерпеливо выхватил черно-желтый пакет, надеясь узнать результаты последних переговоров.

Однако в непроницаемом для света конверте с императорским орлом содержался документ несколько иного рода:

«Милый племянник мой, господин. Наместник и эрцгерцог! С сим посылаю вашему высочеству сочиненное Александром Петефи стихотворение «Королям», кое направлено против существующего правопорядка и на уничтожение королевского авторитета; примите необходимые меры в соответствии с новыми венгерскими законами о печати. Вена, 5 мая 1848. Фердинанд»

«Безумие,— эрцгерцог выронил письмо из рук.— В такую минуту, когда распадается все, они занимаются каким-то рифмоплетом. Воистину господь решил обрушить на нас свой гнев, отказывая в последних искрах здравомыслия. Поделом же, поделом! Пусть поскорее поглотит нас бездна!»

— Что он там написал, этот литературный бетяр? — страдальчески морщась, поинтересовался наместник у спешно вызванного куратора по печати.

Редкостный подарок — откровенность —  
Вам я, короли, преподношу!  
Как хотите: хоть благодарите,  
Хоть казните — выслушать прошу!  
Пусть еще он цел, ваш замок Мункач,—  
Не страшны подвалы и петля!  
Что бы там льстецы ни толковали,—  
Нет возлюбленного короля!

Выделенное курсивом слово было повторено пять раз.  
«Это ответ,— подумал эрцгерцог.— Мне ответ».

## 41

«Королева троицы» в венке из вербы и майских цветов торжественно прошествовала по сельским дорожкам. Девочки сами выбрали маленькую красотку, обрядили в белое платье невесты, развернули балдахин с кружевную белую шаль. Непорочная роза распустилась над одетой в буйную зелень землей.



В ту обманчивую весну было мало красного цвета. Исчезли нарукавные повязки, вызывающие кокарды, пламенеющие на шапках перья. Только в национальном триединстве, в примирительном соседстве с зеленью троицы и белизной невинной королевы мог еще всколыхнуться беспокойный огонь. А так, ни-ни, никаких красных тряпок.

«Сколь небесные чувства пробудило в сердцах наших подобное достижение взаимного согласия! — восторгалась по этому поводу «Национальная газета». — Мы вознесли в душе благодарственные молитвы к небесам за избавление от чудовища межпартийных усобиц».

Страна королей Арпадов, чьи нетленные кости в сешфехерварских курганах решено было раскопать, жаждала успокоения. Она не желала более слышать ни о Елачиче, успевшем набрать и оспаить целую армию, ни о собственных солдатах, начавших вместе с австрийцами понемногу теснить итальянских инсургентов. Вести о коварных интригах Вены набили оскомину и вызывали разве что скуку. Какие там заговоры, какие угрозы, если Хофбург молчит, а молодой представительный Стефан затаился в наместническом дворце? Пора кончать с безобразиями и горлопанством. Пусть правительство потрудится навести в стране надлежащий порядок. Довольно кипения<sup>1</sup>, пора перестать клокотать и придерживаться революцию, заняться хозяйством. Зажатое между озлобленными магнатами и разочарованной «мартовской молодежью», неокрепшее, раздираемое распрями ответственное министерство лихорадочно металось в поисках выхода. Не только Кошут, но и Баттяни, и даже Сечени отдавали себе отчет в том, что хорватский бан не ограничится односторонним объявлением независимости. Со дня

---

<sup>1</sup> По-венгерски слово «революция» — «forradalom» — образовано от слова «fogni» — кипеть, клокотать.

на день ожидалось вторжение направляемых офицерами императорского генштаба серессонов, одержимых ненавистью кроатских жандармов. Защитить страну было некому, ибо отборные мадьярские части одерживали позорные победы в далекой Италии.

Перспектива рисовалась беспросветной. Не только помощи, но даже простого человеческого сочувствия не приходилось ждать ниоткуда. Люди, на которых непосредственно опиралось министерство, ни о чем, кроме должностей, доходных синекур и кулуарного соперничества, даже не помышляли. Революцию не нужно было специально приостанавливать. Ее порыв выдохся, едва определились кандидатуры на мало-мальски влиятельные места. Все, кто только хотел пристроиться, обрели лакомые кормушки.

Лайоша Кути, само собой, утвердили в должности секретаря премьера, Шандор Вахот получил больше, чем ожидал, сделавшись секретарем Кошута, и даже вчерашнему «мартовцу» Буйовски правительство пожаловало влиятельный пост референта.

В этой гнилой атмосфере всеобщего недовольства и жадной погони за материальными выгодами атака Петефи на «возлюбленного короля» прозвучала как вызов. Вся благопамеренная, уставшая клокотать Венгрия ополчилась на одинокого республиканского бунтаря, на жалкого идеалиста, не пожелавшего возвыситься до понимания сложных реалий текущего момента. Приличную должность, на которую вполне мог рассчитывать человек, оказавший нации столь значительные услуги, и ту упустил бессребреник-якобинец, куснув напоследок дарящую руку.

Петефи, на которого вслед за болезнью обрушились и финансовые неурядицы, остался в полном одиночестве. Даже Мор Йокаи, увлеченный всеобщей гонкой, а также актрисой Розой Лаборфалви, отбитой у какого-то графа,

испытывал растущее отчуждение к упрямому, мрачному, как стало казаться, фанатизму. К тому же оплачивать апартаменты на улице Дохань обоим стало не по карману.

По совету недалекого начальства и памятуя о давнем знакомстве, Лайош Кути навел литературного собрата в его добровольном уединении и пришел в ужас, причем совершенно искренне, от убожества, окружавшего столь знаменитую личность. Петефи принял изящного министерского секретаря в полутемной гостиной, откуда хозяин вывез за неуплату большую часть мебели. По случаю простуды он вышел в затрапезном халате, обмотанный, после банок, теплым шарфом.

— Что с тобой? — сердобольно всплеснул руками секретарь премьера. — Ты нездоров?

— Пустяки: затяжная простуда, — недобро нахмурился поэт, стремясь поскорее выпроводить назойливого, надушенного английскими духами франта. — Что тебе?

— Мне? Ничего, — пожал плечами Кути, озирая нищенскую наготу комнаты, где кроме стола и четырех стульев уцелел один лишь запыленный фикус. — У тебя, как я вижу, затруднения? Могу ли я чем-нибудь помочь? — Он инстинктивно потянулся за бумажником. — Нация не оставит на произвол судьбы творца «Национальной песни»!

— Ты берешь на себя смелость говорить от имени нации? — Петефи презрительно усмехнулся. — Ты?!

— Я не обижаюсь на твои слова, — с терпеливой кротостью преуспевающего человека ответил Кути. — Тем более что пришел к тебе с поручением, как лицо вполне официальное.

— Ну, разумеется, как же иначе! — Петефи закивал с уничижительным пониманием. — Я весь внимание, говорите, господин секретарь ответственного кабинета.

— Я уполномочен предложить тебе должность дирек-

тора академической библиотеки,— несколько напыщенно провозгласил Кути, но, уловив в своем голосе фальшь, поспешил поправиться и досказал уже совершенно буднично, без малейшей выпренности: — Жалованье вполне солидное: две тысячи форинтов в год, а обязанностей почти никаких.

— А взамен? — Петефи издевательски прищурил глаз.

— То есть? — не понял или сделал вид, что не понял, Кути.

— Я спрашиваю, что требует правительство взамен за столь роскошную синекуру?

— Ровным счетом ничего,— не без торжественности отчеканил Кути и, щелкнув золотой крышкой, взглянул на часы.— Разумеется,— промолвил он как бы вскользь,— государственная должность предполагает известную лояльность к правительству, хотя бы понимание стоящих перед ним сложностей.

— Ах, так!

— Полагаю, некоторая сдержанность пошла бы на пользу и тебе самому,— мягко заметил Кути.— Видишь, какую бурю негодования вызвал твой непродуманный призыв!

Петефи лишь поцокал в ответ языком. Он уже знал, что редакции газет и журналов завалены горами негодующих писем. Провинциальные чиновники, адвокаты, биржевые маклеры — все, кому не лень, взялись за перо, чтобы дать отповедь зарвавшемуся писаке, осмелившемуся посягнуть на святая святых. Любопытно, что возмущенные подданные сочли за долг защитить «возлюбленного короля» в рифмованных виршах. С поразительным единодушием клеймили роялистские графоманы «низкого предателя», «отмеченного печатью позора смутьяна», «ненавистника отечества и мира» и, наконец, «желторотого изменника поэта с именем бетяра».

Славный Дебрецен, сытый, продымленный шкварками город, еще недавно рукоплескавший поэту-бегляку, выпустил даже листовку, призывавшую венгерский народ «презреть смутьяпа».

«Если же он еще выступит против трона и короля,— предупреждал сей распространенный по почте засаленный меморандум,— пусть обрушится на него проклятие отечества: легче уберечься от трупного яда, чем от воздействия подстрекательских речей. Бесчестен тот, кто от имени верноподданной нации дерзает непочтительно отзывать о короле».

Никто не подстрекал специально добропорядочных граждан изводить горы бумаги. Рифмованный вздор и ритмические, в стиле позднего классицизма, инвективы рождались от чистой совести и благородного гнева. В сравнении с ураганом столь праведных чувств бледным и немощным выглядел действительно скоординированный призыв отцов иезуитов высечь поэта «бичом, сплетенным из языков пламени».

Какая скудость воображения! Только отсутствием направляющей воли провинциала, вроде энергичного Бальдура, можно было объяснить творческое убожество церковных проповедей.

Не проклятия врагов, но слепота сограждан пуще болезни подтачивала решимость поэта, угнетала силы, болезненным ядом разливалась в крови. Терзаясь собственным бессилием, он чувствовал себя единственным зрячим среди слепых, последним пророком, побитым камнями безумцев.

Революционная Франция послала в парламент Беранже.

Уставший от революции Пешт сомкнул враждебную завесу молчания вокруг своего поэта.

«Одного мне жаль,— думал он с растущей обидой.— Если уж захотелось столкнуть, почему вы не сбросили

меня в пещеру ко львам? Пусть растерзали бы меня эти дикие, но благородные звери... Зачем спихнули меня сюда, где кишат гады ползучие? Укус их смертелен, нет, хуже, он отвратителен. Если я уж так грешен, то, ей-богу, ведь скорее заслужил плаху, нежели того, чтобы всякая мразь, нищие духом упражняли на мне свои грязные языки, которыми они пользовались только затем, чтобы лизать, как виляющие хвостами покорные псы, всемилоостивейшие подошвы господствующего тирана...»

— Знаешь, эта должность не для меня,— сказал Петефи, очнувшись от тягостного раздумья.— Пусть лучше твое правительство вернет на родину Регули. Он подарил нам славное прошлое и достоин пожить спокойно. Я же мечтаю о будущем, мне с вами не по пути.

— Прекрасная кандидатура! Мы сегодня же пошлем вызов Анталу Регули. От имени кабинета выражаю тебе благодарность за ценный совет... Но вернемся к твоим проблемам. Если тебе не нравится библиотека, можно изыскать другую возможность. Главное, как ты понимаешь, добрая воля...

— Убирайся-ка ты вон, братец,— устало посоветовал поэт, ощутив прилив болезненного жара.— Я порядком устал от тебя.

— Что? — взвился от неожиданности Кути.— Неправильность убила в тебе все,— не удержался он от злобного выпада, хоть и намеревался, принимая нелегкую миссию, терпеливо снести и обиды, и оскорбления,— тело, душу, зачатки таланта. Твои стихи о любви невозможно читать без смеха. Можно подумать, что ты ни разу не ласкал приличную женщину. Только гулящую девку, только за деньги.

— Разумеется,— поэт ответил злым мстительным хохотом,— ты ведь привык, чтобы женщины тебе платили за ласки. Прочь, сутенер! — И враз обессилив от гневной вспышки, прислонился к холодным изразцам камина.

Не успел он отдышаться, как ворвался расхристан-  
ный, разгоряченный студент, которого Петефи видел  
однажды с Палом Вашвари.

— Только что немецкая кавалерия изрубила в Буда  
манифестантов,— бросил он прямо с порога.— Фон Ле-  
дерер заманил их в ловушку... Почти никто не ушел.

— И это на глазах у ответственного правительства! —  
Петефи разбил костяшки пальцев о глазурованные плит-  
ки, но не почувствовал боли.— Я оденусь сейчас, по-  
дожди...

— Мостовая в лужах крови,— сообщил студент о  
подробностях бойни, когда они выбежали из подворотни  
и понеслись, расталкивая прохожих, по улице.— Даже  
лошадям было скользко.

— Генерал взял реванш за свой испуг пятнадцатого  
марта,— тяжело дыша, бросил Петефи, зализывая со-  
дранную кожу.— Но кто отомстит за убитых? Кто, я вас  
спрашиваю, оплатит кровь мучеников?

Час спустя эти же вопросы он задал на площади  
возле музея, где собрались последние «мартовцы», сту-  
денты из «Клуба равенства», безработные и мастеровые,  
лишенные после похода на Буду патентов.

— Теперь, слава богу, нам есть с кого спросить! —  
Пошатываясь от слабости, Петефи махнул рукой на  
особняк, где собрались приехавшие из Пожони мини-  
стры.— Обратимся же к нашим министрам, несчастные  
венгры. Вперед!

Откуда только силы взялись для бега, как только  
легких хватило для возмущенного выкрика:

— Такому министерству,— мотнул он головой на тем-  
ные окна,— я не только отечество, но даже собаку свою  
и то б не доверил...

Тяжкий угрожающий ропот прокатился над пло-  
щадью, заставив кого-то из чиновников распахнуть раму  
и свеситься вниз.



— В чем дело? — последовал недоуменный вопрос.

— Пригласите министров, — властно распорядился Петефи. — Их хочет видеть народ.

По тому, как быстро захлопнулось окно, Петефи понял, что его узнали.

Через несколько минут на балконе показались Баттани и Сечени, поникший, вялый, безнадежно больной.

— Почему вы медлите? — потребовал ответа поэт. — Неужели не ясно, что нужно немедленно вооружить нацию?!

— У правительства нет для этого средств, — глухо ответил Баттани.

— Слышали? — Петефи обратил к народу пылающее, искаженное бешеной улыбкой лицо.

Болезнь, гнев и горестная обида прорвались неприятным, оскорбительным смехом. Неокрепшее, затравленное, скованное по рукам и ногам правительство стало для него единственной мишенью, заслонившей подлинного врага.

Уже теряя сознание и крелясь к готовым подхватить его чьим-то рукам, поэт понял, что вел бой с тенью, а таящийся за ее смутной завесой враг остался недостижимым.

И еще он подумал в последнюю секунду перед сомкнувшейся вокруг темнотой, что избег поражения ценой болезненной слабости, как некогда Кошут, к которому он, Шандор Петефи, был, пожалуй, не всегда справедлив...

Он уже не слышал, как прошипело в толпе слово «сумасшедший» и еще одно шипящее слово — «шпион».

Прежние, угасшие было слухи о нем стали распространяться с обновленным усердием.

Бальдур находился далеко от Пешта, Эстергома и Балатона, но кто-то усердно раздувал подернутые золой угли.

— Кажется, он арестован за клевету,— небрежно отозвался на вопрос о Петефи секретарь премьера Лайош Кути.— А впрочем, точно не знаю. Правительство не интересуют люди вчерашнего дня.

## 24

Знак Рака на зодиакальном круге Пражской ратуши напомнил о близости праздника солнцестояния. От Балканских гор до Пиренеев, от пальм Лазурного берега до суровых балтийских шхер взметнулись языки жертвенного огня, зажженного во славу единого для всех народов лучезарного божества: Ярилы, Гелиоса, Аммона-Ра.

На каменных островах далекой Северной Пальмиры, плывущей сквозь прозелень белых ночей, летели по ветру золотистые искры, бередящие душу то ли забытым воспоминанием, то ли неясной мечтой.

Папоротник вспыхнет жар-цветом в заповедных чащобах где-нибудь у Янтарного моря, а в Провансе эфирным нимбом займется букетик лиловой лаванды. Властительные связи, протянутые через дали времен и дали пространств. Иван Купала для балтов, Иоанн Креститель для взбудораженных галлов. Здесь и там ароматные травы восходят жертвенным дымом к разбуженным небесам. Что-то подарит миру заклятье Ивановой ночи? Или уже подарило?

В каждом квартале Парижа, на древних площадях и набережных туманной Сены весело потрескивает хворост потешных костров и песни революции «Ça ira» и «Карманьола» не умолкают до ранней зари.

В ту ночь накапуне Сен-Жана пламя выхватывало из темноты нагромождения баррикад, вновь запрудивших русла парижских улиц.

— И вот мы,— пожаловался русский император в интимной беседе с герцогом Лейхтенбергским, потерявшим во Франции добрую треть состояния,— я и мой народ по милости этих мерзавцев снова отброшены в Азию. Франция торжествует на западе, Европа отталкивает нас. Прежде даже, чем вступить в бой, славяне побеждены французской революцией.

Но неожиданно в разбавленном молоке белой ночи блеснул луч надежды, пробудив застывшие пенки, может, утренней, может, вечерней зари.

Телеграмму о кровавой расправе генерала Эжена Кавеньяка над восставшим пролетариатом Николай воспринял как божий дар. Он сразу понял, что, если Париж захлебнется, революция в Европе пойдет на убыль.

— Ай да республиканец,— не скрывал восторга царь.— Ай да молодец! Проучил каналов! — и через посла Киселева передал bravому генералу сердечную благодарность.

Вал революции и вправду начал откатываться. Князю Альфреду цу Виндишгрец, командовавшему императорскими войсками в Богемии, удалось быстро справиться с восстанием в Праге, вспыхнувшим в июне.

Заметно приободрились и германские венценосцы. В соборе святого Павла во Франкфурте-на-Майне представители королевств, княжеств и «вольных» городов в бурных дебатах решали проблему единого немецкого отечества. Уже во время прений по вопросу центральной власти выявились непреодолимые разногласия. Камнем преткновения для всех пятисот восьмидесяти шести представителей германских государств явилась, разумеется, конституция.

Спор, который решался народом на улицах немецких столиц, был умело перенесен на кафедру франкфуртского парламента. Оттеснив возвышенную идею свободы, на передний план выступила мистическая национальная идея.

Фриц де Шампань издал королевский указ, в котором объявил о своем намерении возглавить национальное движение. По обыкновению увлекшись, он сказал:

— Сегодня я показал себя поклонником старинного германского черно-красно-золотого знамени и поставил под его покровительство как себя самого, так и мой народ. С этого момента Германия покрывает собою Пруссию.

Эти, случайно оказавшиеся пророческими, слова предстояло оценить подрастающему поколению, ибо Фридрих-Вильгельм Четвертый котиrowался в глазах современников, как соотечественников, так и соседей, не слишком высоко. Король, который был вынужден снять шляпу перед телами застреленных в уличной схватке революционеров, едва ли мог претендовать на пангерманскую власть в столь тревожное время. Многие полагали, что он не справится с положением даже в собственной столице.

Вена, невзирая на потрясения, не желала уступать главенствующего положения в союзе немецких государств. В минуты просветления, все более и более кратковременные, Фердинанд упрямо твердил, что не отступит перед прусским наглцем, не расстававшимся с коньячным штофом, на котором золотом готических букв сияло: «Мое единственное сокровище».

По глубокому убеждению венского правительства, Австрия была ядром германской нации, и ей одной принадлежала главенствующая роль во всех делах союза. Недаром на башне святого Стефана каждое утро взвивалось то самое черно-красно-золотое полотнище, которое пытался присвоить темпераментный Фриц. В часы, свободные от празднеств и занятий геральдикой, добродушный император и король любил взобраться на башню и стать рядом со знаменем. По стойке смирно.

— Noch! — приветствовали его столпившиеся перед дворцом бурши.

Не удивительно поэтому, что собравшийся во Франкфурте парламент склонился в сторону высшей имперской власти и большинством в четыреста тридцать шесть голосов избрал правителем империи австрийского эрцгерцога Иоганна, не чуждого идеям прогресса мечтателя и идеалиста. Любопытно, что событие это свершилось двадцать четвертого июня, в день летнего солнцестояния, предшествующего празднику Иоанна.

«Johannisfeuer» — «огни Иоганниса» явно склонили удачу на сторону Габсбургов. Пылающее колесо, которое пустили с горы какие-нибудь веселящиеся бюргерские сынки, обернулось колесом фортуны.

Началось с того, что напуганный голодными бунтами, забастовками и самоуправством крестьян, занимавших общинные земли, громивших усадьбы, сжигавших долговые листы, либеральный папа призвал итальянцев прекратить борьбу с Австрией. С мечтой о реформах было покончено.

В итальянской кампании речь понтифика ознаменовала крутой поворот. Аристократия и богатые горожане с восторгом поддержали призыв святого отца. Все устали от разгула озлобленной черни и, предвидя впереди лишь новые опустошительные потрясения, жаждали компромисса.

В Неаполе вспыхнул контрреволюционный мятеж, поддержанный тайными иезуитами и австрийской военной мощью. Умело действуя сравнительно малыми силами, старый вояка Радецкий постепенно отбирал назад оставленные им города.

Шестого мая славный фельдмаршал атаковал около Санта-Лючии шедшего на Верону сардинского короля. В Пьемонте австрийский отряд, состоявший из девятнадцати батальонов и шестнадцати эскадронов, наголову разбил втрое превосходящую его армию. Эта битва, в которой особо отличились цеперские стрелки, принесла

лавры героя Францу-Иосифу, укрепив его шансы на имперский престол. С итальянского театра юный эрцгерцог возвратился овеянным славой. Отпрыски лучших фамилий спешили записаться в какой-нибудь привилегированный полк.

Следующую крупную викторию в послужной список старого фельдмаршала вписало сражение под Кустоцой, после которого Карл-Альберт вынужден был принять унижительные условия перемирия и вернул австрийцам Ломбардию и Венецию.

Одна только Венгрия не сулила австрийскому оружию скорых побед. Да и в самой Вене дела имперского правительства обстояли далеко не блестяще.

Конституция, набросанная с крайней поспешностью, хотя и не без таланта, не привела к умиротворению. Недовольство венцев еще более возросло, когда на пост военного министра был назначен Теодор Балъе граф де Лагур, известный своими бонапартистскими замашками.

Фикельмона, мужа очаровательной Долли, увенчавшего наконец свою карьеру званием министра-президента, забросали гнилым картофелем. Студенты свистали под его окнами, устраивали по ночам кошачьи концерты. Но это было только начало. Соединившись с рабочими, Академический легион ворвался пятнадцатого мая в Хофбург. Не сделав ни единого выстрела, правительство поспешило принять требования повстанцев. Был учрежден центральный комитет демократического союза, дано согласие на созыв однопалатного учредительного рейхстага, призванного разработать новую конституцию.

Через день императорская семья незаметно покинула дворец и выехала в Инсбрук, под защиту действовавшей поблизости итальянской армии Радецкого.

На время отсутствия императора регентская власть была вручена эрцгерцогу Иоганну. Однако дела во Франкфурте не позволяли пангерманскому вождю всерьез за-

няться венскими неурядицами, и он предоставил события их естественному течению. Видимо, это было не худшее из его деяний.

Итак, Инсбрук. Окруженный Тирольскими вершинами старинный город в долине реки Инн. Прохладной синью омыты чистенькие домики с клумбами и дверными молотками. Замшелые ели и быстрые потоки, где стоит, сопротивляясь течению, радужная форель. Альпийские луга с их туманами, пушистые эдельвейсы. Древние суровые церкви с гербами, увенчанными шлемами крестовосцев, и стекловарные фабрики, на которых по секретным рецептам выплавляют цветные глыбы для будущих витражей. Державным величием покоряют францисканский собор в ренессансном стиле, саркофаг императора Максимилиана, казармы из красного кирпича.

Здесь, в охраняемом ротой отборных тирольских стрелков горном замке, императорской семье не угрожали более ни домогательства демократов, ни капризы переменчивой венской толпы. В самом городе встали на постой три эскадрона кирасиров — белые мундиры, ослепительные каски, надраенные панцири, тяжелые палаша.

Движение Рака по звездному кругу чревато, как верят в Штирии и Тироле, днями опасными, роковыми. Нечистая сила слетает тогда на землю вслед прибывающей ночи.

В один из таких дней, когда в церквях зажигают «Wetter kerzen» — «свечи погоды», Инсбрук удостоил посещением бан Хорватии Йосип Елачич, имперский барон и генерал-лейтенант императорской армии.

К сожалению, его величество кайзер находился не в том состоянии, чтобы порадовать долгожданного гостя плодотворной беседой. Он мог только улыбаться и мило-

ство кивать смуглому черноглазому господину с устрашающими, щедро нафабранными усищами.

Зато эрцгерцогиня Софья, чувствовавшая себя полновластной хозяйкой двора, приняла хорватского наместника с должным вниманием и всеми положенными почестями.

Пока события благоприятствовали честолюбивым планам эрцгерцогини. Меттерних — главное препятствие на пути к единоличной власти — был устранен. Перед Францем-Иосифом, дорогим сыночком, пропахшим пороховым дымом героем Санта-Лючии, открывалась дорога к власти. Все более погружавшийся в сумеречное состояние Фердинанд продемонстрировал полную неспособность к управлению государством. Чего же еще желать?

Правда, темным облачком на радужном горизонте вырисовывалась неугомонная Венгрия, но, говорят, бан именно тот человек, который загонит мадьярских бычков в стойла. У Софии, таким образом, были все основания встретить Елачича милостивой улыбкой.

Прием был обставлен с почти королевской пышностью. Эрцгерцогиня вышла в робе белого муара и расшитой золотом карминно-алой мантии, тяжелыми складками спадавшей до самого пола. Безукоризненную прическу венчала усыпанная бриллиантами диадема.

Елачича, допущенного к руке, представили и кронпринцу, который, едва церемония совершилась, поспешил упрятать вечно зябнущие пальцы в длинные рукава простого, как и подобает фронтовику, офицерского сюртука.

— Как он хорош! — растроганно прошептала стоявшая справа от кресла Софии красавица Долли. — Это воин! Это герой!

Трудно сказать, что нашла Дарья Федоровна в Елачиче. На первый взгляд это был совершеннейший янычар с дурными манерами и выпученными глазами. Едва



ли утопченная патрицианка, сострадавшая польским повстанцам, могла всерьез увлечься подобным субъектом, который к тому же еще имел привычку кусать ногти. Но женское сердце непостижимо. Она таяла в его присутствии и признавалась сестре: «Этот бан — мой герой». Увлечение, впрочем, вскоре рассеялось, уступив место преклонению перед мужским очарованием юного Франца-Иосифа. Это случится в тот самый день, или вскорости после него, как герой Санта-Лючии будет провозглашен императором. Долли всю жизнь привлекали знаменитые люди.

— Каковы ваши ближайшие намерения, любезный барон? — поинтересовалась Софья, царственно вскинув увенчанную княжеской коронкой голову. — Говорят, у вас уже сорок тысяч войска?

— Das Mongolentum muß mit Stumpf und Stiel ausgerottet werden!<sup>1</sup> — ничтоже не сумняшися, произнес свою историческую фразу бан, грозно вращая похожими на маслины глазами.

Эрцгерцогиня и молодой наследник лишь пошпрительно улыбнулись в ответ.

— В Праге, — вскользь заметил новый шеф австрийской дипломатии фон Вессенберг, — венгров считают прирожденными бунтарями. Утверждают, будто даже венские беспорядки спровоцированы мадяро-еврейскими агитаторами. Господин генерал-лейтенант справедливо назвал их монголами. Упорное нежелание венгров считаться с правами славянских национальностей и румын создает нам ненужные проблемы.

Станным эхом докатился до Инсбрука колокольный звон с пражской ратушной башни. Требовал, требовал свежего мяса ненасытный скелет, приплясывая над усмирленным и вечно таинственным городом.

---

<sup>1</sup> Этих монголов нужно уничтожить огнем и мечом! (нем.).

Итак, свершилось... Конница Елачича перешла через светлую реку Драву. Гремел под обозными телегами дощатый настил моста. Глинистой мутью расплылись взбаламученные броды. Белым гноем сочились бесчисленные вмятины от копыт.

Серессоны в коротких штанах и расшитых красным кантом куртках двигались в арьергарде, замыкая сопровождавший ставку обоз и кавалькаду из офицеров императорского генштаба. Не слезая с седел, лихие кроаты сovali горящие факелы под соломенные кровли, с плеча рубили кривыми саблями, хватали за косы приглянувшихся девушек. В крытой жандармской кибитке мюжились набитые отсеченными головами джутовые мешки.

Рядом с баном покачивался на атласных подушках лакированной берлины майор Эдён Зичи. За зеркальными стеклами окон дымилась дорога, трещали в огне деревянные балки крестьянских домов, летел по ветру горячий пепел. То ли судорога, то ли брезгливая усмешка кривила отмеченную шрамом щеку.

— Зачем ты это делаешь? — спросил Зичи отяжелевшего от вина Елачича, бывшего однополчанина и соперника в конкур иппик. — Нужно ли восстанавливать против себя чернь?

— Нужно, — уверенно подтвердил бан. — Пусть повсюду разносится слух о возмездии. Пусть заранее трещет пештская и пресбургская сволочь.

В пештском театре Вигадо собрался на срочное заседание венгерский парламент. Взмолнованный, негодующий люд заполнил набережную, еще мокрую после утреннего дождя. Из рук в руки передавали свежие номера

«Элеткепек», где экстренно было напечатано воззвание опального, оклеветанного поэта:

«Семь месяцев истекло со времени февральской революции во Франции, и моя душа пребывает в постоянном волнении и колебании. Каждый день новая надежда, новое напряженное ожидание, новое воодушевление, новая тревога, новый гнев.

Неслыханное дело! Какой-то немец дает венгерской нации пощечину,— и я не плакал от отчаяния, не извергал пламя гнева, не стыдился, не краснел оттого, что я венгерец, и даже не крикнул: «Да здравствует республика!»...

И теперь я, тот самый, кто шесть месяцев назад писал, что «нет возлюбленного короля», тот самый, которого за это мои венгерские собратья объявили изменником родины, я теперь спрашиваю: «Так, значит, есть еще «возлюбленный король»? — и при этом не смеюсь...»

Депутаты занимали места под сильным впечатлением горьких, но справедливых слов поэта...

Рескрипт наместника огласил председатель палаты. Заключительные слова: «...в соответствии с законом, все бразды правления беру в свои руки» потонули в негодующих выкриках. Депутаты бросились к столу президиума, над которым свисало трехцветное полотнище с девой Марией.

— Довольно! — как всегда, громче других кричали левые.— Покончим с политиканством! Сколько времени безвозвратно упущено! Какой выигрыш дали врагу!..

Теперь даже сам Кошут, постоянно призывавший к терпению, не смог бы унять разбушевавшуюся стихию. Но он и не помышлял о том, чтобы пойти наперекор народному гневу. Ведь недаром именно ему приписывали фразу о том, что политика — это наука понимать требование момента.

Кошут знает — минута пришла. Глаза всей Венгрии

устремлены на него. Баттяни в полной растерянности, Деак сражен недугом, исстрадавшуюся душу Иштвана Сечени преследуют невидимые голоса.

Ласло Мадарас успокаивающе кивнул налево своим и поднял руку, прося тишины.

— Рескрипт наместника объявляю незаконным! — провозгласил он в полную силу легких. — В соответствии с параграфом третьей статьи закона сорок восьмого года, любое постановление может вступить в силу лишь с согласия венгерского министерства...

— Но правительство подало в отставку, — раздался одинокий голос, который заглушили протестующие возгласы.

— Кошута! — потребовало собрание. — Пусть говорит Кошут!

Кошут, по обыкновению бледный, но внешне очень спокойный, сидел среди депутатов оппозиции. Едва было названо его имя, он поднялся, зорко огляделся и направился к трибуне под нарастающие аплодисменты.

— Я отрицаю право эрцгерцога управлять страной без согласия министерства. — Искусно играя голосом, Кошут подтвердил заявление Мадараса и, не дав никому опомниться, решительно прошел к министерской скамье. — Вчера я подал в отставку с поста министра финансов, — сказал он, берясь за спинку резного кресла, — но сейчас вновь занимаю принадлежащее мне место, — и сел, акцентируя каждое движение, подчеркивая неповторимость происходящего отточенными жестами и выразительной мимикой.

И хотя Кошут всего лишь повторил заявление Мадараса, депутатов словно вихрем сорвало с мест.

— Эльен! — в едином порыве грянул театр. — Веди нас!

Мадарас подошел к окну, рванул на себя тяжелую раму и обернулся к Кошуту.

— Долой предателей! — полетело над запруженной набережной. — Смерть Елачичу! — пронеслось над ленивой зыбью Дуная. Но как только Мадарас подтащил слабо упиравшегося Кошута, негодующие требования сменились восторженным скандированием: — Ко-шут! Ко-шут!..

Казалось, возвратились незабвенные дни марта. Красные розетки и перья на шляпах вновь полыхали над городом. Словно маки в ковыльной степи, над которой волнами прокатывается ликующий ветер.

Ласло Мадарас надел на голову Кошута свою красную перую шапочку и на цыпочках отступил в тень.

Кошут остался один на один с народом. Огонь восстания, жгучий цветок баррикад властно бросил свой отблеск на черную аттилу, на алебастровый скорбный лик. Невозмутимый и сострадающий, как ангел господень, возвышался вождь над притихшей стихией людской.

Стоявший впереди «мартовец» с красной повязкой на рукаве первым преклонил, как на присяге, колено. И медленно, гребень за гребнем, вся набережная начала опускаться на землю:

— Веди нас, Кошут!

— Глас народа — глас божий, — печально, но твердо провозгласил Баттяпи, страдая от тяжелых предчувствий. — Пусть Кошут возглавит нацию в сей трудный час... Да поможет нам бог!

— Аминь! — как тогда, в разговоре с надором, сурово откликнулся Кошут и высунулся в окно. — С пророчеством обращаюсь к вам, венгры, сыны отчизны моей. — Его красивый, насыщенный неуловимыми оттенками голос ощутимо набирал силу, расходящимися кругами излучая магнетическое воздействие. — Бедные венгры — жертвы измены. Из вторжения Елачича — я предвижу — родится наша свобода. Верьте мне, венгры, во имя бед-

ной и преданной родины, верьте! К оружию! За нашу землю, за нашу честь, за наш древний очаг!

— Но ведь это мятеж! — воскликнул эрцгерцог палатин, узнав, что венгерский парламент дезавуировал рескрипт. — Революция? — спросил, словно прислушиваясь к звучанию слова, которое избегал называть даже наедине с собой. Все эти долгие, наполненные тревогой и роковыми переменами месяцы он жил ожиданием некого знака, способного бесповоротно определить происходящее.

Спокойно по мере возможности обдумав свое незавидное положение, Стефан решил искать встречи с Елачичем, чтобы убедить бана убраться восвояси. Только так можно было попытаться приостановить губительное нарастание кризиса.

Эрцгерцог интуитивно понял, что для власти, тем более власти чужеродной, самоубийственно оскорблять целый народ. Вторжение кроатских дружин уязвило мадьяров в самое сердце. Карательная экспедиция императорских войск и то не вызвала бы столь единодушного возмущения.

«А что есть революция, — подумал молодой эрцгерцог, — если не доведенное до крайности стремление к справедливости?»

Паровая яхта «Кишфалуди», служившая для прогулок по Балатону, бросила якорь в виду ставки хорватского предводителя. Раздвинув медные колена зрительной трубы, Стефан внимательно оглядел лагерь. В окруженном кострами стражи шатре, судя по всему, справляли разнузданную оргию. Серессоны таскали бочонки с вином, волокли упиравшихся, со связанными назад руками, длинноволосых пленниц.

— Генерал-лейтенант Елачич, — почтительно доложил офицер, называя лишь армейское звание бана, — уполно-

мочил меня передать вашему высочеству приглашение на переговоры.

— Что?! — Кровь бросилась эрцгерцогу в лицо. — На переговоры?! Меня?!

— Барон Елачич, по-видимому, склонен опасаться недружественных действий, — дернув изуродованной щекой, высказал предположение офицер, чувствуя себя перед разгневанным палатином не совсем ловко.

— Он что же, — терзая лайковую перчатку, спросил Стефан, — боится, что его похитят или прикажут убить?

«Неужели этот бандит, — едва сдерживая праведную ярость, думал эрцгерцог, — и вправду считает, будто принц крови способен на предательство? Это же форменное оскорбление. Такое неслыханно между порядочными людьми...»

— Так каков будет ответ? — вскинув два пальца к треуголке, напомнил Зичи.

— Для меня невозможен визит к главарю наемников, — презрительно отказался эрцгерцог. — Попробуйте все же уговорить его прибыть на «Кишфалуди», дорогой Зичи, можете передать мое честное слово, — добавил нехотя. — Кстати, — удержал вновь козырнувшего офицера, — вы-то сами что делаете у этого бана?

— Приставлен к особе генерал-лейтенанта, — уклончиво ответил Зичи.

— Приставлены? Вы, императорский офицер и венгерский граф, приставлены к атаману наемной армии? — не скрывая негодования, переспросил Стефан.

— Смею уверить, ваше высочество, — с достоинством парировал Зичи, — что это сделано с ведома военного министра де Латура и генерала Ламберга, который назначен главнокомандующим венгерской королевской армией.

— Так, — слегка побледнев, произнес эрцгерцог, и не в силах далее говорить, кивком отпустил офицера.

Он, конечно, подозревал о тайных сношениях бана с Веной, но не хотел и мысли допустить о том, что возможно столь открытое, бесстыдное, если называть вещи своими именами, сотрудничество. Притом за его, надора, спиной. Ни сам император, ни граф де Латур даже не потрудились известить о назначении Ламберга! Какое низменное коварство! Какой цинизм! Эдак, чего доброго, венгры заподозрят его, Стефана, в предательстве! И будут правы, хотя он здесь совершенно ни при чем и сам сделался жертвой гнуснейшего из обманов. Единственное, что ему остается, это умыть руки и поскорее покинуть страну. Пусть Вена изыщет другого сатрапа, под стать бану Елачичу, для своих игр. Для принца крови они чересчур компрометантны.

— Господа! — Выслушав возвратившегося Зичи, банглянул на сидевших за пиршественным столом высших офицеров императорской армии воспаленными от пьянства глазами. — Хотелось бы знать ваше мнение. — Он нетерпеливо толкнул с колен плясунью в прозрачных шальварах, уплетающую рахат-лукум. — Могу я покинуть свой лагерь для встречи с эрцгерцогом? — спросил с явным намеком. — Или же нет?

— Ни в коем случае! — запротестовали порядком ословевшие гусары и уланы из лучших австрийских семей. — Не позволим! — Они дружно взметнули кубки. — Нашему генералу, хох!

— Живео, Елачич! — пришли в неистовство отяжелевшие от сливовицы серессоны, срывая с себя красные колпаки.

— Вот видишь? — Бан удовлетворенно перевел выпущенные, в кровавой сетке белки на Эдэна Зичи. — Увы, граф! Так и передай его высочеству палатину. — Он сделал знак приблизиться. — И сразу скачи в Вену. — Вынул запечатанный сургучом пакет из походной тапки. — Его превосходительство, очевидно, забыл свое обещание



немедленно перевести нам шестьсот тысяч флоринтов... Так большие дела не делаются. Словом, седлай коня.

Зичи привычно вскинул два пальца, спрятал пакет и, нагнув голову, вышел из шатра.

Эрцгерцог палатин, так и не дождавшись парламента, велел развести пары. В Шюфюке его дожидалась запряженная шестеркой коней карета. Стефан решил отбыть в свое поместье, даже не заезжая для доклада в Вену, куда вновь перебрался из Инсбрука императорский двор.

«Его превосходительству графу де Латур, имперскому военному министру, фельдцейхмейстеру, кавалеру ордена Марии-Терезии и других орденов, действительному тайному советнику и рыцарю Золотого ключа...

Имею честь сообщить, что мои войска без малейшего сопротивления победоносно продвигаются вперед. Через несколько дней я буду в Пенште, и оттуда, из гнезда мятежа, мы продиктуем условия капитуляции.

Генерал-лейтенант *Елаичч*»

#### 44

Дни революции подобны месяцам, месяцы равнозначны годам. Время сжато, как газ в оружийном стволе, события нарастают, подобно лавине, дух человеческий пылает невероятной ускоренной жизнью, подчиняя себе бrenную плоть, властно чертя невиданные письмена на скрижалях судеб.

В неповторимые дни сентября, когда вопреки круговороту созвездий ветер марта вновь всколыхнул поникшие травы духмяной альфёльдской степи, Кошут забыл про отдых. Отказывая себе даже в короткой передышке, он

спал и ел на ходу, где-нибудь в экипаже, везущем с одного митинга на другой. Пять, семь, девять речей ежедневно. На последнем пределе волнения, в унисон с сотнями нетерпеливых сердец, которые, повинувшись громopodobным раскатам чудесного голоса, то разрывались от боли, то сжимались от сладостной гордости за единственную в мире отчизну.

Вождь знал до последних тайных глубин гордую душу народа, боготворившего слово, свято верившего в порыв. Нет, не даром нация выбрала Кошута. Только он мог вернуть ей то, без чего стыдно быть человеком на грешной земле: справедливость. Извечную, снедающую сердца мечту, кормчую звездочку, мерцающую на недоступном горизонте.

Увлеченный магией собственных слов, Кошут беззаветно верил во все, что требовал и обещал. И вера передавалась. Электрическим флюидом бежала по живой цепи, заряжая всех и каждого нестерпимым накалом страсти.

— Я прошу у нации,— потребовал он, плавно выбросив руку,— двести тысяч флоринтов военного кредита и сорок два миллиона солдат.

Речь, разумеется, шла о тысячах солдат и миллионах флоринтов. Кошут явно оговорился, поменяв цифры местами, но замороженные речью депутаты уже не отделяли себя от вождя, и никто не заметил ошибки.

Национальное собрание единогласно одобрило требование правительства. Вместе с депутатами — многие плакали от восторга — Кошуту рукоплескали с хоров и лидеры «Общества равенства»: Петефи и Вашвари.

В тот же день началась запись в гонведы — армию защитников родины. Главнокомандующим избрали Морица Перцеля, одним из девяти капитанов — поэта.

Длятся неправдоподобно растянутые дни, отягченные грузом роковых происшествий, но мелькают, умножая число перемен, календарные даты.

На судовом мосту между Будой и Пештом патруль гонведов задержал карету с габсбургским орлом.

— Да как вы смеете! — возмутился сидевший в ней желчный, слегка перепуганный господин. — Я Ламберг, наместник и верховный главнокомандующий!

Набежавшая толпа выволокла опрометчивого генерала и темной тучей сомкнулась над ним. Когда все было кончено, начальник патруля вынул из кожаной сумки королевские грамоты. Покойный Франц Филипп граф фон Ламберг не лгал. Фердинанд действительно утвердил его своей бессмысленной закорючкой военным надором взбунтовавшегося Венгерского королевства.

— Да здравствует республика! — сам собою родился протестующий крик, и ключья гербовых листов, кружась на ветру, полетели в Дунай.

На следующий день гонведские полки встретили между Пакоздом и Шукоро наступающие колонны Елачича.

Прав был поэт. Вооруженные цепами, вилами и прочими орудиями мирного труда, крестьяне в боях узнали свое мадьярское знамя. Прошагав под проливным дождем двое суток без перерыва, ополченцы из Толны не отступили под артобстрелом врага. Неповоротливые, в отяжелевших от мокрой глины кожухах, они выдержали и отразили две штыковые атаки. Сражаясь одними косами, принудили к сдаче десятитысячный отряд. Разгром сил вторжения довершили гусары в новеньких, расшитых золотом гонведских мундирах.

Елачич запросил о перемирии, и оно, вопреки здравому смыслу и логике войны, было ему дано. Когда же затем потрепанные кроатские части неожиданно оставили боевые позиции и обратились в бегство, великодушные победители отказались от преследования. Гусары, действовавшие в бою блистательно и безупречно, не сдвинулись с места, несмотря на категорический и совершенно обоснованный приказ:

«Во имя нации вам строжайше предписано в соответствии с решением депутатов Государственного собрания организовать преследование войск Елачича повсеместно, даже и в Австрии, и не останавливаться до тех пор, пока вы его не уничтожите».

Враг ускользнул, сохранив боеспособность, угрожая важать восставшее королевство в клещи.

По счастливой случайности бывший обер-лейтенант Артур Гёргей — вскоре он станет революционным военачальником, а затем могильщиком революции — перехватил гонца Елачича к де Латуру. Располагая лишь прежними победными реляциями бана, австрийский министр пребывал поэтому в блаженном неведении и поспешил назначить своего протеже венгерским наместником. Гонец же, граф Эдён Зичи, болтался в это время на дубовом суку, повешенный как изменник по приговору военно-полевого суда.

Упоенный докладной о форсированном марше от Дравы к Дунаю, Латур отдал приказ имперским войскам вступить на территорию Венгрии.

О поражении Елачича министр не знал, нового восстания в Вене, как это водится, не предвидел. Из такой двойной ошибки и составила для него, вслед за Эдёном Зичи, петля. Отряды рабочих и Академический легион преградили дорогу в Венгрию полкам карателей, которым были приданы военные суды и жандармские части. Потомок же древнего рода граф де Латур, третий по счету граф, расставшийся с жизнью в эти грозные дни, был вздернут на фонаре.

Шандор Петефи откликнулся на его смерть нетерпеливым призывом: «Нет больше Ламберга — кинжал покончил с ним. Латура вздернули. Теперь черед другим. Все это хорошо, прекрасно — спору нет! Народ заговорил, и вот залог побед. Но мало двух голов! Смелей, друзья, смелей! На виселицу королей!»

Жутко, пусто, темно в продуваемой осенними ветрами Вене. Изрытые баррикадами улицы освещает только осколок месяца, раздувающего ледяным светом пепельные смятенные клочья. Все газовые фонари либо разбиты, либо с корнем выворочены из мостовых. Стены домов — в оспинах от пуль и кавернах от ядер. В развалинах прячутся бродячие псы и опасный, готовый на преступление люд. Городское отребье, облюбовавшее канал между улицами Шмельц и Гернлас, служивший для отвода горной воды в половодье, рассредоточилось по подвалам и брошенным домам.

Пылают костры в непроглядные лютые ночи прямо на драгоценном паркете. Трещат в каминах гнутые кресла в стиле бидермайер, краснодеревые столики, порубленные бюро. Поезда, само собой разумеется, не ходят. На вокзале Северной дороги, где рабочая дружина обратила против правительства готовый к отправке в Венгрию батальон гренадеров, расположились добровольцы, готовые отдать жизнь за чужую свободу. Легион так и называется «Мертвая голова». На шляпах приколоты жестянки с изображением черепа, жестко отсвечивающие в ночи.

По невежественному капризу попавшей в дурные руки истории эмблема эта и само наименование послужат в грядущем самой отчаянной контрреволюции — гитлеровскому нацизму... Но это случится потом, потом, в следующем столетии. Пока же студенты, мастеровые и бывшие гренадеры, согреваясь горячим грогом, не теряя надежды, ждут поезда на Буду и Пешт.

Скупно лоснятся пустые сходящиеся колеи. Не дрожат рельсы. Подстрекаемые подозрительными шептунами, голодные люмпены разрушили за городом полотно. Горит вся линия Мариахильф, взрываясь сирпцевым пламенем, полыхают гранихштедские спиртозаводы. Огненные ручьи весело бегут по скованной ранними заморозками земле. Совершенно случайно пылающий спирт уберег от

насилия монахинь из обители святой Бригитты, перерезав дорогу к монастырю.

Медленно приближается к затаившейся, темной столице толпа насильников и убийц. С балаганной поспешностью сменяют друг друга министры-президенты, но принцип Меттерниха действует с неукоснительным постоянством. Мутный, грязной пеной вскипающий вал пущен навстречу красной волне.

Пугая бюргеров, распространялись слухи о пожарах и грабежах, диких расправах над таможенниками, погромах на фабриках Зексхауса, Фюнфхауса и Браунхиршенгрундена.

Все ближе и ближе подкатывала к Вене опасная накипь. Даже правительство, науськавшее громил, было встревожено.

Голубые гусары, охранявшие дорогу между кладбищами Мариахильф и Лерхенфельд, получили приказ пустить в ход оружие и рассеять преступную чернь. Не успел, однако, командир отдать соответствующую команду, как прибыл гонец с новыми инструкциями. Вторая бумага не только отменяла прежний приказ, но и сообщала о смещении лица, его отдавшего.

Ощутимо веяло истерией. Не выдерживали напряжения нервы. Кромешной трещиной прорезала город обезлюдевшая Кайзерштрассе, молчала на городской башне веселая бронза колоколов. Только треньканье того, пражского, колокольчика мерещилось и преследовало неотвратимо.

В создавшейся обстановке императорская фамилия решилась вновь бежать из охваченной смутой столицы. Покинув Шенбрунн, загородный дворец для отдыха и увеселений, кайзер укрылся в замке ольмюцкого архиепископа. Под защитой распятия и каменных, пятиметровой толщины, стен. Правительство в Ольмюце представлял уже не Фикельмон, чья звезда окончательно закатилась,

а барон фон Вессенберг, которого вскоре оттеснил спешно прибывший из лагеря Радецкого князь Шварценберг. Приближалась заключительная стадия замысленного эрцгерцогиней Софией переворота. Она одна осталась верной себе в эти чреватые неожиданностью дни, продолжая терпеливо плести нити давно затеянной интриги.

— Чем хуже, тем лучше, — твердила сквозь стиснутые зубы. — Пусть наши милые компатриоты всерьез сожмутся по сильной руке.

Феликс Шварценберг всеми силами стремился показать, что долго искать эту вожделенную руку никак не придется. Взяв на себя часть забот Вессенберга по обороне, он не отказался и от обременительных обязанностей посланника в Неаполе и Турине, оставив тем самым открытой дорогу в Италию.

Стараниями князя фельдмаршал Виндишгрец, назначенный главнокомандующим имперскими силами на итальянском театре, не получил диктаторских полномочий. Ему было поручено только — императору по-прежнему подобная задача рисовалась простой — подавление беспорядков в Венгрии и умиротворение имперской столицы.

С. Веной фельдмаршал справился сравнительно легко. Форсировав Дунай у Нусдорфа, он стянул войска к линейным валам, широкой дугой окружавшим город. К этому моменту пехотный гарнизон, ведомый генералом фон Ауэршпергом, уже соединился с недобитыми войсками стоявшего на Лейте бана Елачича и тихой сапой двинулся к предместьям.

Командующий национальной гвардией Венцель Мессенгаузер отверг ультиматум фельдмаршала и начал спешно готовиться к обороне. В аптеках смешивали ингредиенты для пороха, резали бумагу на пыжи. Даже часть монашеской братии решилась присоединиться к сопротивлению. Посланцы франкфуртских демократов

Роберт Блюм и Юлиус Фребель как могли старались поднять боевой дух отрядов самообороны.

В это время генерал революционных венгров Янош Мога, отразивший Елачича, находился в Парндорфе. По его приказу войска дважды пересекали австрийскую границу и дважды отзывались обратно. Генерал отказывался понимать поведение Комитета обороны. В интересах Венгрии было спасти восставшую Вену, которая столь славно выручила мадыарскую революцию; но армия так и не выступила.

Вместе с Мором Йокаи, единственным из молодых, кого приблизил к себе, скакал Лайош Кошут в черной шляпе с черным пером по проселкам Альфёльда, раскисшим от частых дождей.

— Я хочу спросить у венгерской пации, — вырвав саблю из ножен, молнией проносился он вдоль строя, — чего она желает: умереть с позором или жить со славой?

Полки, над которыми реял трехцветный с Пречистой Девой стяг, отвечали хором, что выбрали славу и жизнь.

Смертельное кольцо контрреволюции между тем туже стягивалось вокруг осажденной Вены. Двадцать восьмого октября под пение кавалерийских рожков начался общий штурм.

Существенное сопротивление императорская армия встретила лишь в Пратерштерне, в Егерском ряду и в предместье Виден. Еще засветло были взяты баррикады в предместьях и улицы, ведущие к бастионам внутреннего города.

Вена агонизировала, но крепко держалась за последний пяточок. Даже бомбы, которые исторгли в дыме и пламени осаждающие пушки, не принудили остатки рабочего легиона сложить оружие.

— Эти безумные пролетарии держатся дольше всех, — констатировал фельдмаршал и дал знак трубить кавалерийскую атаку.



Лишь на рассвете первого ноября имперские части овладели центром. Горели дворцы придворной библиотеки и музея естественных наук. Среди засыпанных каменной пылью руин стонали умирающие.

Армия потеряла при штурме шестьдесят офицеров и тысячу рядовых. Но многие тысячи венцев, кто с оружием в руках, а кто безоружный, сложили головы в то непроглядное серое утро, когда лужи подернулись кровавым ледком. Командира национальных гвардейцев казнили через неделю после того, как был расстрелян франкфуртский посланец Блюм. «Mitgefangen, mitgehungen» — действовал старый немецкий принцип. — «Вместе пойманы, вместе и...»

Теперь у дома Габсбургов оставалась единственная забота: усмирение Венгерского королевства. Запоздалая битва при Швехате закончилась отступлением тридцатитысячной, хорошо оснащенной стволами армии Мога. Если бы триколер с богородицей одолел двуглавого орла, была бы спасена не только восставшая Вена, но почти наверняка выиграна война за независимость.

Судьба, суммировавшая ошибки одних и удачи других, все приводящая к общему знаменателю богиня Фортуна решила, однако, иначе...

«Не так надо действовать в революционные времена, — писала пештская «Марциуш тизенетедике»<sup>1</sup>. — Нужно было преследовать Елачича... Потом объединиться с венской демократией и одним страшным ударом сокрушить всю реакцию».

У венгров, впрочем, оставалась рвущаяся в бой почти сотысячная армия и все, за исключением Арада и Темешвара, укрепленные форты. Еще продолжали пребывать в неустойчивом колебании чаши надмирных весов, и ни-

---

<sup>1</sup> «Пятнадцатое марта» — радикальная газета.

чьи вещие знаки не читались на заволоченном дымом огневом горизонте.

Лишь ольмюцская трагикомедия приблизилась к подготовленному финалу.

Второго декабря отрекся от престола император и король Фердинанд и отбыл в Богемию, чтобы на покое заняться геральдикой и, как мечталось, гуляя в парке по утрам, приподнимать шляпу в ответ на приветствия милых пражан. Натянута еще при Бальдуре, посланном генеральским повелением в Парагвай, пружина не заржавела, и мышеловка захлопнулась в надлежащий момент. Брат императора эрцгерцог Франц-Карл отказался от своих наследственных прав, и на престол вступил восемнадцатилетний Франц-Иосиф, не связанный с венгерской автономией ни словом, ни подписью.

Осушив в честь нового государя бокал, Виндишгрец двинул к Лейте пятьдесят две тысячи штыков и двести шестнадцать орудий. Генерал Шлик ворвался в венгерскую степь из Галиции. Генерал фон Зимуних повел кавалерию на Нийтру.

Временное правительство оставило Пешт и перенесло столицу в Дебрецен.

Четырнадцатого апреля Кошут огласил перед депутатами Государственного собрания «Декларацию независимости». Заполнившие зал солдаты и вооруженные граждане Дебрецена вырвали из ножен сабли, когда вождь — в эти исторические минуты, как никогда, проявилось его истинное величие — провозгласил Венгрию свободным и независимым государством.

— Габсбургско-Лотарингская династия объявляется низложенной! — перекрывая бурю оваций, выкрикнул Кошут и прямо с трибуны шагнул в зал. Капитулянты из недавно оформившейся «Партии мира», быстро набиравшей влияние, почувствовали, что почва уходит у них из-под ног.

— Чему они радуются? — с горькой усмешкой шепнул Ковач кому-то из притихших единомышленников. — В пору рыдать неразумному плебсу. Зубами стучать от ужаса. Поверьте, что нынешний день знаменует трагедию...

Но трехцветные платочки, взметнувшиеся над головами восторженных гопведов, рабочих, крестьян, пророчили иное. Пусть были разобраны баррикады в Париже, Берлине и Вене, венгерская революция продолжала победный шаг. Так отчаянно, так упоительно пахла свободой эта победная весна.

Кампания обещала быть кровопролитной и затяжной. Новый император, дабы ускорить желательную для Австрии развязку, спешно выехал в Варшаву на свидание с русским царем.

Николай принял молодого монарха в роскошном Бельведере, который столь рьяно штурмовали в тридцатом году польские инсургенты. Царь ничего не забыл и горел желанием поскорее затоптать последние головешки.

Он был готов с грубоватым дружелюбием опытного военачальника наставить на путь истины почти необстрелянного юнкера, который вел себя так почтительно, даже раболепно.

— Признавая высокие достоинства и блестящие качества великолепной армии вашего величества, — униженно просил молодой Габсбург, — мы надеемся в короткий срок подавить мятеж.

Короче говоря, он молил о помощи и, как почтительный сын, облобызал царскую руку.

Польщенный Николай Павлович пообещал послать корпус под началом самого Паскевича, одного из немногих, кому доверял беспредельно. Конечно же, дружественную Австрию следует поддержать. Тем более что

Меттерниха, которого он терпеть не мог, слава всевышнему, более нет, а на Феликса Шварценберга царь взирал почти как на собственного генерал-губернатора. Надежный малый. И в деле себя славно зарекомендовал, и перед канальями не растерялся: расстрелял-таки этого Блюма, распространителя конституционной заразы.

Нет, не раскусил русский государь ни юнкера, которого именовал по протоколу братом, ни лихого вояку Феликса. Францу-Иосифу суждено было долго жить и долго править. Уже в новом столетии этот юнец, ставший Мафусаилом, ввергнет Европу в кровавое месиво мировой войны... Но это случится не скоро, лет через шестьдесят после кончины царя Николая. Раскаяться же в поспешном решении, продиктованном более сердцем, чем разумом, государю императору предстоит в ближайшие годы.

— Знаешь,— спросит он незадолго до Крымской кампании графа Ржевуского, генерал-адъютанта,— кто из польских королей был самым глупым?.. Я тебе скажу, что самый глупый король был Ян Собеский, освободивший Вену от турок. А самый глупый из русских государей я, потому что помог австриякам подавить венгерский мятеж.

Польский граф, разумеется, почтительно промолчит. Лишь тень улыбки тронет его красиво очерченные губы.

Все это тоже случится потом, потом. За пределами повести о витязе чести.

Еще не была взята Вена и не оставлен правительством Пешт и вообще война с Габсбургами лишь начиналась на дальних границах, когда Петефи подсунули под дверь конверт.

Расставшись с Мором Йокаи, он снял небольшую квартиру на улице Лёвес и перевез в город обоих стари-

ков. Его беспокойная совесть па время примолкла, но жизнь зато сделалась нестерпимой. Тем более что на двести флоринтов в месяц — деньги печатались на обычной бумаге в несметных количествах — почти ничего уже нельзя было купить. Юлия, ожидавшая ребенка, тяжело переносила беременность, и отношения в семье стали еще напряженнее, чем прежде.

Пошатываясь после очередного приступа болезни, поэт запахнул старенький красный халат, затканый смешными цветочками, и поднял подброшенное письмо. В нем была только вырезка из новой газеты Вахота, который в связи с неясной ситуацией на фронтах поспешил оставить службу при министерстве.

Заплясали набранные петитом строки, стало тесно в груди и темно в глазах:

«...в каждом стихотворении ты жаждешь крови угнетателей свободы нашей, наших врагов. Но вот война уже у порога — ты был солдатом, детей у тебя нет, — и все же твой пресловутый меч, которым ты так любил бряцать в дни марта, все еще ржавеет в ножнах. Ну что ж, милый братец, не завидую я твоим поэтическим лаврам».

— Я хочу перевестись из национальной гвардии в армию, — объявил поэт на следующий день Юлии, уютно устроившейся с французской книжкой в кожаном кресле. — По крайней мере, там хоть платят офицерам.

— А на что я, вернее, мы будем жить? — быстро поправилась она, подняв на мужа томные страдальческие глаза. — Ты об этом подумал? Ведь скоро тебе предстоит стать отцом!

— Я жду этого с радостью, дорогая. — Он опустился у ее ног, возле санюлотского колпака, набитого мотками шерсти. Когда-то, вызвав шумный восторг, Юлия появилась в нем в Национальном театре. Как олицетворение революции, как утренняя заря.

— Да, я знаю, ты ждешь, — утомленно кивнула она. — Но ведь этого так мало... Страдать, да еще думать за всех должна почему-то я одна.

— Я попрошу Эмиха открыть мне кредит. Я вырубил достаточно строк за последние месяцы, чтобы рассчитывать хотя бы на две тысячи флоринтов. Этого должно хватить на первое время.

— Поступай как знаешь. Я слишком устала от всего. — Юлия зябко повела плечами. — Кровь, нищета, кошмарные зверства. Я совершенно иначе представляла себе революцию.

— Что знаешь ты о революции, девочка? — с проникновенной жалостью и печалью спросил поэт.

— Подумай лучше о себе, Шандорка. Раньше, я имею в виду мирное время, тебя и то больше уважали, чем теперь. Ты остался совсем один.

— Это не так.

— Ну разве что вместе с Палом Вашвари, таким же безумным мечтателем. А где остальные? Мор Йокаи? Вёрёшмарти, твой искренний друг?

— Между мною и Йокаи все кончено. Он присоединился к продажным душонкам из «Партии мира», которые готовы пойти на любое предательство, лишь бы вымолить у Габсбурга прощение.

— Так-так, — отстраненно прокомментировала Юлия.

— А Вёрёшмарти... Ты же знаешь, что я любил и уважал его бесконечно. Но принципы свои я уважаю и люблю еще больше. Мне очень тяжело, однако это так.

— О, я знаю, Шандорка, знаю! Ради принципов ты, не задумываясь, принесешь в жертву даже семью.

— Не говори так, дорогая, ты причиняешь мне боль. Поверь, что я ничего не могу поделать с собой. Если меня сломать, вывернуть наизнанку, я не только перестану писать, но и вообще погибну.

— Бедный мой,— она рассеянно провела рукой по жестким его волосам.

— Я и так слишком медлил, Юлишка. Каждый порядочный человек сейчас на войне.

— Езус-Мария! Хоть это ты понял! Тут я с тобой полностью согласна. Все, кому дорога честь, сражаются на поле брани.

— Прекрасные слова! — прошептал поэт непослушными губами. Непонятная жалость, словно раскаленная спица, пронзила его. С приливом слез пришла мысль, что живой он не нужен более никому, только мертвый, да и то в зависимости от того, где и как найдет его смерть. Исторгнутое из кровоточащих глубин слово жило самостоятельной жизнью и требовало, чтобы его не заглушило молчание вечности, заклания.

Пересиливая горячий солоноватый прилив, он не удержал, не оформил мысленный проблеск, лишь ощущение от него сохранил. Откровение и потерю странным образом соединило оно в себе.

Поцеловав жену в лоб, Шандор Петефи тихо, чтоб никто ни о чем не спросил, прошел в свою комнату, где висели его офицерский мундир и сабля с трехцветным темляком. «Вот эта женщина, сестра прекрасных фей, теперь женою сделалась моей».

Сестра фей. Не фея, а только земная сестра... Благослови ее господи и всех, кого приютили стены этого дома. Да не коснутся их невзгоды и тяготы, да минуют потери. Если родится сын, пусть назовут Золтаном, если девочка — Юлией. «Удушлив зной, блуждают в небе тучи, растут заботы, жизнь мою тесня. Как темен был бы мир, мой светлый ангел, когда б не полюбила ты меня».

Круг за кругом обходят стрелки хоровод зодиака. Час за часом приоткрываются шторы, и неугомонный скелет начинает шествие раскрашенных кукол. Потряхивая песочком в стеклянной колбе часов, тренькая колокольцем, ведет за собой покорных апостолов, словно овец на убой.

Но где смерть, там и жизнь с ее краткой радостью и несбыточными мечтами. Петушок, прогоняющий адски порождения ночи, нет-нет и выскочит из верхней ниши, прокукарекает нам в утешение. Хоть всего час остается до нового шествия, но он наш, этот час, и мы можем вдыхать сладкий воздух, видеть дивное небо над древней ратушей Староместской, греться на солнышке вместе с жадными голубями.

Опадают каштаны. Удаляются башни. Меркнет змеиная кожа в таверне «У золотого гада». Угасает в бокале вино.

Прощай же, Прага, прощай... Оставив Пешт, захваченный врагами, простившись с дымящейся Веной, мы расстаемся с тобой.

Пассажиры, прибывших в Пожонь на пироскафе, встречали у трапа жандармы. Одних пропускали, лишь бегло скользнув по лицу цепким взором, других останавливали вопросом и, сверясь со списком, требовали у них документы.

— Ваше имя, сударь? — обратился офицер к безбородому господину, ступившему на берег с небольшим саквояжем в руке.

— Регули Антал.

— Понятно. — Офицер сделал галочку в списке и многозначительно взглянул на жандармов, держащих ружья с примкнутыми штыками «к ноге».



— Куда изволите следовать?

— В Пожонь, разумеется, и далее в Пешт, где приглашен занять должность директора университетской библиотеки.

— Приглашение с собой?

— Прошу.— Регули щелкнул замочками и раскрыл саквояж.— Вот письмо господина министра культуры.

— Нет такого министра.— Офицер тщательно сложил приглашение и спрятал в сумку.— На территории Австрийской империи автографы бунтовщиков,— он пренебрежительно скривил рот,— не имеют законной силы. Более того, служат настораживающей уликой... Словом, вы арестованы, господин Регули.

Жандармы, звякнув оземь окованными прикладами, встали по обе стороны от арестованного, и буйное солнце расплавило острия их примкнутых байонетов.

В Праге мы оставили рисующего каракули Фердинанда и императрицу, которой несостоявшаяся владычица София присылает за счет казны только черные платья. В Пожони — узника старой терезианской тюрьмы, навсегда опаленного сверканьем и стужей бескрайнего Севера.

Уходят от нас памятные места, ускользают в прошлое друзья и враги. Может быть, перед тем как прибиться к последним причалам, хоть одним глазком попытаться взглянуть на Петербург?

Только жаль, не успеем. Время гибели столь же неистово сжато, как и время рожденья. Властное течение подхватило и несет к бушующему порогу. Не уклониться, не повернуть вспять. Да и незачем. Чтобы проститься с Павлушей Массальским, не нужно мчаться на перекладных за тридевять земель. Он где-то здесь поблизости, в стрекочущей кузнечиками, мелькающей голубыми мотыльками молдаванской степи.

— Позвольте войти, ваша светлость? — обратился к

светлейшему князю Варшавскому фельдмаршалу Паскевичу Эриванскому одетый в полевую форму поручик, переступая порог походного шатра, и вытянулся в струнку.

— Входите, поручик, входите,— пригласил фельдмаршал, не отрываясь от разложенной на столике ландкарты.— Но если опять по поводу капитана Гусева, то можете даже не начинать... Так в чем дело, Павел свет Воинович? Чего молчишь? — осведомился Паскевич, не дождавшись ответа, и метнул на вошедшего колючий, умудренный скорбью познания взгляд.

— Я все понимаю, ваша светлость,— с трудом выдавил из себя Массальский.— Но мы товарищи с Гусевым с детства и...

— Ни черта ты не понимаешь! — с грубоватой нежностью старого служаки оборвал фельдмаршал.— У капитана Гусева вензель государев на погоне, как и у нас с тобой, братец. Он присягу давал. Виданное ли дело, чтоб офицер во время похода солдат на бунт подбивал?! Куда послали, зачем — нас не касается. Мы воины. Нам либо выполнить приказ, либо умереть. Третьего не дано.

— Оно понятно,— попытался было вновь вставить слово Массальский, но фельдмаршал, не желая слышать никаких возражений, оборвал его нетерпеливым жестом:

— Мадьяров ли этих он пожалел с непонятной их фанаберией или против существующего порядка измену замыслил — разбираться не стану! Недосуг, милостивый государь! По условиям военного времени рота, отказавшаяся выполнить приказ вышестоящего начальника, подлежит расформированию. Солдат заковать в кандалы, закоперщиков и особо заядлых среди них — расстрелять... Устав знаешь, Массальский?

— Да, Иван Федорович, но...

— Так чего же ты хочешь от меня? Чтоб служилых, которые, может, и не ведают, что творят, я наказал, а офицера, приятеля твоего, помиловал? — Отбросив перо,

коим делал пометки на карте, Паскевич решительно подошел к адъютанту и обнял его за плечи.— Не могу, братец, не в моей это власти. Спасти Гусева нельзя. Пусть бога благодарит, что такое в походе с ним приключилось. По крайней мере, помрет как достойно. В Варшаве его бы повесили.— Он торопливо перекрестился.— Ей-богу... Ну, что? — проницательно заглянул Массальскому в страдающие глаза.— Тяжело, братец? Понимаю. Мне и самому смутно. Но ведь я ничего — служу. И ты, братец, служи, а не вмоготу станет, проси отставки. Тут для нас тоже третьего не дано. Ступай, голубчик.

К последнему для венгерской свободы лету в различных комитатах и пограничных провинциях страны сосредоточилось около ста шестидесяти тысяч неприятельского войска. Прибавить к ним хоть одного рекрута исчерпавшая все мыслимые ресурсы, близкая к краху Австрия уже не была способна.

Реорганизованная, приспособленная к новым условиям войны армия гонведов, оснащенная артиллерией и опытным инженерным составом, могла еще долго изматывать численно превосходящего врага. Перелом, наметившийся в ходе военных действий, когда пополненная свежими силами венгерская армия выиграла несколько сражений подряд, окрылил Кошута и заставил приумолкнуть явных капитулянтов из «Партии мира». Тем более что Виндишгрец ни на какие переговоры не шел, требуя лишь полной сдачи.

Временно сгладились и острые столкновения между Кошутым и его выдвиженцем Гёргеем, требовавшим для себя диктаторских полномочий.

Профессиональный кондотьер, готовый предложить свою шпагу любому правительству, лишь бы оно признало за ним право вести войну по своему разумению, Гёр-

геи только что зубами не скрежетал, когда комиссары из Комитета обороны осмеливались докучать ему непрошеными советами. Замыслив отстранить Кошута от руководства и прибрать к рукам не только армию, но и страну, он не переставал интриговать против наиболее способных военачальников: Дамьянича, Клапки, Шандора Надя и в первую голову против революционеров-эмигрантов Дембинского и старика Бема, отмеченного шрамами на баррикадах Парижа, Лиссабона, Варшавы и Вены.

С холодной беспощадностью честолюбца Гёргей ради мгновенного тактического успеха готов был сдать любую столицу и гнал солдат на верную смерть. Спокойно покуривая в седле, собственноручно рубил отступающих, загубив, как говорили у него за спиной, больше мадьярских душ, чем австрийцы.

Едва военное счастье изменило венгерцам и вслед за весенним подъемом наступил период растерянности и спада, Гёргей поспешил продемонстрировать всю глубину опасного своеволия.

Он с ходу отвергал военные планы Кошута, издевательски высмеивая попытки штатских руководить военными операциями издалека. Вырвав у правительства чуть ли не силой пост военного министра, Гёргей предпринял авантюристический рейд на Буду. Взятие города не принесло ему желаемых результатов. Франц-Иосиф, получив обещанные царем войска, на примирение не пошел. Лавры освободителя одной из столиц, однако, позволили Гёргею провести давно задуманные реформы: разделить на несколько частей гонведскую армию — основной оплот революции и удалить от руководства Дембинского, Перцеля и Гюйона.

Одновременно новый военный министр предпринял решительную атаку против Кошута. Приехав в Дебрецен, он созвал тайное совещание, на котором среди других сторонников «Партии мира» оказался и Лазар Месарош,

где выдвинул идею военного переворота. Лайоша Кошута предполагалось сместить и объявить незаконной его «Декларацию независимости», провозглашавшую Венгрию суверенным государством, а дом Габсбургов — «низложенным, лишенным трона и изгнанным».

От подобных предложений слишком пахло изменой, чтобы их, не теряя последних капель самоуважения, можно было принять. Собрание разошлось, так ни до чего и не договорившись. Отложив сведение счетов с Кошутым до более благоприятного случая, Гёргей сосредоточил холод бездушной расчетливой ненависти на Беме, хромом полководце с простреленной рукой.

К началу июля Бем оставался единственным генералом, продолжавшим творить чудеса. Обложенный в Эрдёе объединенными силами монархических армий, он успешно отражал атаки втрое, вчетверо превосходящего врага. Местное население, которому были обещаны свободы и равноправие, стояло за него горой. К тому же он обещал после победы землю всем обездоленным беднякам. Разве не для этого атаковал поседевший в битвах и тюрьмах борец троны чуть ли не всей Европы?

— Monsieur le Général! <sup>1</sup> — лихо щелкнув каблуками, приветствовал старого инсургента Петефи и доложил о прибытии.

— Mon fils <sup>2</sup>, — прослезился доблестный воин, обнимая возвратившегося после долгих скитаний по разным фронтам любимца. — Извини, что левой. — Он глянул на забинтованную правую руку и обнажил в улыбке мелкие, черные от никотина зубы. — Зато она ближе к сердцу.

---

<sup>1</sup> Мой генерал! (фр.).

<sup>2</sup> Мой сын (фр.).

— Mon père<sup>1</sup>, — заморгал и поэт растроганно, вспомнив, что те же слова произнес добряк Бем, прикалывая ему на грудь военный орден. — Вы подарили мне больше чем жизнь. Вы подарили мне честь.

— Kehrt euch<sup>2</sup>, — скомандовал Бем. — Чтоб я вас больше не видел без галстука и майорских петличек. — Ни слова не зная по-мадьярски, генерал предпочитал изъясняться на языке великой революции, а приказания отдавал на немецком. Благо, пожилые солдаты успели усвоить основные команды еще под палкой австрийских капралов.

Утро зато наступило скорее, чем было назначено природой. Еще не побелела луна и медведки не смолкли в сырых, сладкой таволгой отдающих низинах, как начался обстрел. Пушки с немецкой педантичностью били с трех сторон, накрывая квадрат за квадратом. Несмотря на то что солдаты сидели в укрытиях, потери были немалые.

После полудня, когда стало ясно, что неприятель не перестанет вести огонь до самой темноты, а на рассвете тоже, кто знает, возобновит бомбардировку, Бем решил вырваться из долины и бросил своих гонведов в штыковую атаку.

Скоро, однако, для вражеских генералов стала очевидна слабость противостоящего войска, обескровленного в непрерывных боях.

— Вы нарушили мой приказ! — взъярился Бем, когда выбежавший из дома при первых выстрелах поэт попался ему на глаза. — В таком виде не воюют, сударь! Извольте немедленно отойти к резервным отрядам и ждать меня там.

— Позвольте остаться с вами, мой генерал. Адъютант не должен покидать своего командира.

---

<sup>1</sup> Мой отец (фр.).

<sup>2</sup> Кругом (нем.).

— Eh, ventrebleu! — чертыхнулся Бем. — Выполняйте приказ. Я не могу, не смею рисковать вашей жизнью. — И отвернулся и поскакал туда, где гонведам приходилось особенно худо.

Но даже он не мог остановить начавшегося повального бегства. Уланы с пиками наперевес, улюлюкая, гонялись за рассеянными, спотыкающимися о кочки гонведами. Потрясенные глумливой охотой, не дожидаясь команды, снялись с мест и бросились бежать незнамо куда солдаты резервных частей.

Поэт оказался на деревянном мосту, где столкнулись два противоположно устремленных потока. В сумятице свалки люди потеряли ориентацию и последние остатки здравомыслия. Казалось, что враг везде и нет избавления от смерти.

— Спасайся! — крикнул поэту полковой врач и махнул рукой на дорогу, по которой в облаке пыли отступала сомкнувшаяся вокруг Бема армия.

Но вскоре суতোлка разлучила их, и Петефи вновь остался один, продолжая упорно пробиваться к дороге. Уже там, на полевой обочине, его догнал какой-то секейский гусар и помог взобраться на взмыленную лошадь. Некоторое время они скакали вдвоем, обгоняя пешую рать, но уставшая лошадь, не выдерживая двойной тяжести, начала спотыкаться. Шумно и судорожно ходили тощие ребра.

— Спасайся, брат, сам! — Петефи заставил себя разжать пальцы, намертво вцепившиеся в гусарский ремень, и прыгнул на землю. — Двоих ей не унести...

Он затравленно огляделся, разом успев ухватить деревеньку, вроде как вымершую, кукурузное поле и ракиты, сверкающие зеркальной листвой. Преследователи приближались с пугающей, сковывающей волю к спасению быстротой. Нечеловеческая, пробудившаяся внезапно зоркость позволяла различить малейшие подробности: фла-

жок на пике, травяную зеленую пену, стекающую с мундштука, дикий глаз вороной горбоносой лошади и темную дичь в ненавидящих человеческих глазах. Два всадника, опередив остальных, казалось, целили пиками прямо в сердце, и сделалось ясно, что от них-то не спрятаться, не убежать.

От места, где спешился Петефи, дорога круто брала на подъем. Что-то встрепенулось в нем и подсказало, будто там, за горой, выклинивается из обрыва источник. Он рванулся туда из последних сил и вдруг вспомнил и дорогу, и кукурузное поле, и деревенскую околицу эту, и даже источник, до которого так и не добежал в том давно позабытом сне.

Опустив руки, вышел поэт на самую середину дороги и, вскинув голову, улыбнулся убийцам, заслонившим собой горизонт.

Обрушился непостижимый занавес, и все погасло.

Франца-Иосифа судьба наградила завидным долголетием, поэта, как часто бывает, поспешила убить молодым. «Неблагодарна судьба!» — восклицают осиротевшие современники, разом позабыв над могильным холмом, что любая развязка — лишь итог повседневных деяний. Он складывается ежечасно и повсеместно. К нему равно причастны близкие и далекие, любящие, ненавидящие и равнодушные.

Петефи, чье тело так и не было найдено, судьба — скажем так по привычке — обделила даже могилой.

А может, не обделила? Может, и впрямь вознесла не меркнувшей звездой прямо в зенит, где уготовано место богам и героям?

Не будем же сетовать на судьбу. Неблагодарность — прерогатива скорее монархов. Больше того — их непременная обязанность перед подданными, если верить



Николо Макиавелли, тончайшему знатоку политики и сердец,

Однако и здесь не без исключений.

Я держал в руках любопытный документ из личного архива императора Франца-Иосифа, разобранного лишь в тысяча девятьсот восемнадцатом году, после окончательного развала Австро-Венгерской монархии и, как следствие, Габсбургско-Лотарингского дома.

Это был список, поименно перечислявший заклятых врагов упомянутого дома и, соответственно, монархии. На первом месте там стояло имя Карла Маркса, на третьем — Шандора Петефи.

По-моему, это единственный случай в истории, когда император воздал должное барду.

**Парнов Е. И.**  
**П18** Витязь чести: Повесть о Шандоре Петефи.—  
Политиздат, 1982.— 431 с., ил.— (Пламенные революционеры).

0901000000—004  
П—233—82  
079(02)—82

84Р7 + 83. 3Вн  
Р2 + 8И (Венг.)

*Еремей Иудович  
Парнов*

**ВИТЯЗЬ ЧЕСТИ**

Заведующий редакцией *В. Г. Новохатко*  
Редактор *Г. Е. Щербакова*  
Младший редактор *Н. Б. Чунакова*  
Художник *И. В. Данилевич*  
Художественный редактор *В. И. Терещенко*  
Технический редактор *Н. К. Капустина*

**ИБ № 1620**

Сдано в набор 14.07.81. Подписано в печать  
23.12.81. А 00213. Формат 70×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага типо-  
графская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая».  
Печать высокая. Условн. печ. л. 19,51. Условн.  
кр.-отт. 23,3. Учетно-изд. л. 20,0. Тираж 300 тыс.  
экз. Заказ № 549. Цена 1 р. 60 к.

Политиздат. 125811, ГСП, Москва, А-47,  
Миусская пл., 7.

Типография изд-ва «Уральский рабочий»,  
г. Свердловск, пр. Ленина, 49.

БУДА V. 1849.





